ДЖЕК ЛОНДОН

СМОК БЕЛЛЬЮ

*

СМОК И МАЛЫШ



Смок Беллью. Смок и Малыш. Принцесса

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
СМОК БЕЛЛЬЮ
- Вкус мяса
- Мясо
- На Бабий ручей
- Малыш видит сны
- Человек на другом берегу
- Состязание на первенство

СМОК И МАЛЫШ
- Повесть о маленьком человеке
- Как вешали Калтуса Джорджа
- Ошибка мироздания
- Яичная афера
- Ферма Тру-Ля-Ля
- Тайна женской души

ПРИНЦЕССА
- Принцесса
- Красное божество
- Как аргонавты в старину
- Золотой самородок

Комментарии

Аннотация

Бóльшая часть книги посвящена Смоку (Кристоферу) Беллью — интеллигентному юноше из типичной буржуазной семьи, которого жажда приключений толкнула на полный смертельных опасностей путь отчаянных золотоискателей, покорителей Клондайка. Писатель утверждает, что именно в подобных испытаниях закаляется характер и проявляются истинные качества человека.

Джек Лондон

СМОК БЕЛЛЬЮ


108

Вкус мяса

I

Вначале он был Христофором Беллью. Со временем в колледже его переделали в Криса Беллью. Позднее богема Сан-Франциско прозвала его Кит Беллью. А под конец никто не называл его иначе, как Смок Беллью. И эта история эволюции его имени тесно связана с историей его собственной эволюции. Но ничего подобного не случилось бы, если бы судьба не послала ему нежной матери и железного дяди, а также если бы он не получил письма от Джиллета Беллами.

«Я только что видел номер „Волны“, — писал Джиллет из Парижа. — О'Хара, несомненно, добьется успеха. Однако я заметил кое-какие пробелы (тут следовали подробные указания относительно того, какие улучшения необходимо произвести в новом еженедельнике). Отправься к нему и укажи на все эти недочеты. Внуши ему, однако, что все эти соображения исходят лично от тебя. Не упоминай обо мне ни словом, ни намеком. Если он узнает, что в этом деле замешан я, он непременно сделает меня своим парижским

корреспондентом. А я ни в коем случае не могу согласиться на это, ибо получаю за свои статьи наличными в толстых журналах. Главное — не забудь сказать ему, чтобы он выставил поскорее осла, которому поручил музыкальную и художественную критику. Укажи ему также, что у Сан-Франциско всегда был свой собственный литературный стиль, который, однако, пришел за последнее время в упадок. Пусть О'Хара порыщет кругом и откопает какого-нибудь не совсем бездарного писаку, который мог бы регулярно снабжать „Волну“ рассказами; необходимо, чтобы в них нашли отражение подлинная романтика, блеск и колорит Сан-Франциско».

И Кит Беллью отправился в редакцию «Волны» и добросовестно выполнил возложенное на него поручение. О'Хара выслушал. О'Хара поспорил. О'Хара согласился. О'Хара выставил осла, который писал критические статьи. Наконец, О'Хара прибег к приемам, которых так опасался Джиллет в далеком Париже. Дело в том, что когда О'Хара чего-нибудь желал, ни один человек не мог ему отказать. Он действовал мягко, но так настойчиво, что сокрушал всякое сопротивление. Прежде чем Кит выбрался из редакции, он оказался его соредактором и обещал заполнять еженедельно

несколько столбцов критического отдела, пока О'Хара не подыщет другого сотрудника. Кроме того, Кит обязался давать для каждого номера фельетон в десять тысяч слов — и все это без всякого вознаграждения.

— В настоящее время «Волна» не в состоянии платить своим сотрудникам, — объяснил О'Хара и тут же с неотразимой убедительностью заявил, что в Сан-Франциско имеется только один талантливый человек, настоящий фельетонист по призванию, и что человек этот — Кит Беллью.

— Черт побери! Выходит, что осел-то я! — горестно простонал Кит, спускаясь по узкой лестнице.

И с этого момента началось его рабское служение О'Хара и ненасытным столбцам «Волны». Он почти не выходил из редакции, сражался с кредиторами, ругался с типографскими рабочими и поставлял еженедельно двадцать пять тысяч слов на самые разнообразные темы. Но время шло, а облегчения не наступало. «Волна» была честолюбива. Она решила, что не может обойтись без иллюстраций. Иллюстрации — вещь дорогая. Журнал был не в состоянии оплачивать даже Кита Беллью и уж, конечно, не мог позволить себе никакого расширения штата.

— Вот что значит быть покладистым, — проворчал однажды Кит.

— В таком случае мы должны воздать хвалу небесам за то, что они посылают нам покладистых, — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пожимая Киту руку. — Вы спасли меня, Кит! Не будь вас, я вылетел бы в трубу. Потерпите еще чуточку, старина, и вы увидите, как все наладится.

— Никогда этого не будет, — жалобно простонал Кит. — Я ясно вижу свою судьбу. Мне суждено торчать здесь до конца моих дней.

Скоро ему показалось, что он нашел выход. Дождавшись удобного момента, он в присутствии О'Хара споткнулся о стул. Через несколько минут он ударился об угол стола и опрокинул дрожащими пальцами баночку с клеем.

— Кутнули вчера? — осведомился О'Хара.

Кит протер глаза обеими руками и, прежде чем ответить, бросил на него испуганный взгляд.

— Нет, дело не в этом. У меня что-то неладно с глазами. Словно туман какой-то. Не пойму, с чего бы это?

В течение нескольких дней он продолжал натыкаться на все предметы конторской обстановки. Но сердце О'Хара не смягчалось.

— Послушайтесь меня, Кит, — сказал он од-

нажды, — пойдите к окулисту. Тут есть некий доктор Хасдэпл. Собаку съел на этом деле. И лечение ни гроша не будет вам стоить. Мы заплатим ему объявлениями. Я сам переговорю с ним.

— Ваши глаза в полном порядке, — заявил доктор после внимательного осмотра. — Сказать правду, мне редко приходилось встречать такие здоровые глаза — одна пара на миллион.

— Только не говорите этого О'Хара, — взмолился Кит. — И пропишите мне темные очки.

В результате О'Хара выразил Киту сочувствие и снова с жаром стал распространяться о том времени, когда «Волна» станет на ноги.

К счастью для Кита, у него были кое-какие доходы, правда, довольно скромные, но все же они давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в Латинском квартале. С того времени, как он сделался соредактором «Волны», расходы его сильно сократились. У него попросту не хватало времени на то, чтобы тратить деньги. Он не переступал больше порога мастерской и перестал устраивать свои знаменитые, приготовленные на жаровне ужины, которыми он угощал прежде местную богему. Однако это не мешало ему теперь вечно сидеть без гроша, ибо «Волна», постоянно

садившаяся на мель, поглощала вместе с его духовными силами и всю его наличность. Для этого имелись иллюстраторы, которые периодически отказывались давать иллюстрации, наборщики, время от времени отказывавшиеся набирать, и мальчишки-рассыльные неоднократно прекращали выполнять свои обязанности. Во всех этих случаях О'Хара умоляюще смотрел на Кита — и тот все оплачивал.

Когда пароход «Эксцельсиор» прибыл из Аляски и привез весть о клондайкских россыпях, вся страна точно обезумела, а Кит сделал своему издателю чрезвычайно легкомысленное предложение.

— Послушайте, О'Хара, — сказал он. — Эта золотая лихорадка примет, несомненно, грандиозные размеры — должно быть, снова повторятся дни сорок девятого года. Не отправиться ли мне в Клондайк в качестве корреспондента «Волны»? Издержки я возьму на себя.

О'Хара покачал головой.

— Я не могу отпустить вас, Кит. Подумайте, что станется с рассказами? Кроме того, около часа назад я встретил Джексона. Он уезжает завтра в Клондайк и дал согласие еженедельно присылать нам оттуда корреспонденции и снимки. Я

не отпускал его до тех пор, пока он не пообещал мне; главное же, что это нам ни гроша не будет стоить.

В тот же день Кит снова услышал о Клондайке — от своего дяди, с которым встретился в библиотечном зале клуба.

— Здорово, дядюшка! — приветствовал он его, опускаясь в кожаное кресло и с наслаждением вытягивая ноги. — Не хотите ли составить мне компанию?

Он заказал себе коктейль, а дядя удовольствовался своим излюбленным жиденьким красным вином местного производства. Он то и дело переводил неодобрительные, раздраженные взгляды с коктейля на лицо племянника, и Кит чувствовал, что над ним висит угроза неминуемой морали.

— У меня только одна минута, — поспешно заявил он. — Нужно побывать на выставке Кейта в галерее Эллери и написать полстолбца.

— Что это с тобой? — спросил дядюшка. — Лицо бледное, вид измученный…

Кит только простонал в ответ.

— Я, кажется, буду иметь удовольствие похоронить тебя. Это ясно как день.

Кит грустно покачал головой.

— Благодарю вас. Я не охотник до червей. Со-

жгите меня в крематории.

Джон Беллью принадлежал к тому старому, крепкому и энергичному поколению, которое в пятидесятых годах пересекло прерию в фургонах, запряженных волами. В нем была железная закваска, заложенная в детстве, которое прошло в пору освоения новой земли.

— Ты ведешь недостойную жизнь, Кристоф. Мне стыдно за тебя.

— Куч**у**? Так, что ли? — усмехнулся Кит.

Старик пожал плечами.

— Перестаньте так жестоко скорбеть о моих грехах, дядюшка. Я сам был бы рад, если бы я кутил. Но с этим все давно покончено. У меня на это не хватает времени.

— Тогда что же?

— Переутомление.

Джон Беллью разразился отрывистым, недоверчивым смехом.

— В самом деле? — Новый приступ смеха.

— Человек есть продукт окружающей среды, — заявил Кит, указывая на дядюшкин стакан. — Ваше веселье такое же терпкое и жидкое, как и ваш напиток.

— Переутомление! — насмехался дядюшка. — Да ведь ты за всю жизнь и цента еще не

заработал.

— Вы сильно ошибаетесь. Заработал я немало, только мне не удается получить то, что я зарабатываю. Как раз теперь я зарабатываю до пятисот долларов в неделю и работаю за четверых.

— Малюешь картины, которых никто не покупает? Или занимаешься еще какой-нибудь ерундой в том же роде?.. Ты умеешь плавать?

— Когда-то умел.

— Ездить верхом?

— Пробовал и это в свое время.

Джон Беллью фыркнул с отвращением.

— Я рад, что твой отец умер и не может видеть тебя во всем блеске твоего ничтожества, — сказал он. — Это был настоящий мужчина, до кончиков ногтей. Понимаешь? — Мужчина! Думается мне, что он живо выколотил бы из тебя все эти музыкальные и артистические бредни.

— Увы! В наши упадочные дни… — вздохнул Кит.

— Я понял бы тебя и, может быть, даже примирился со всей этой белибердой, если бы ты добился хоть в чем-нибудь успеха. Но ты не заработал в жизни ни единого цента и не сделал ничего мало-мальски путного.

— Гравюры, картины, веера, — признался Кит.

— Ты просто мазилка, да еще и неудачник к тому же. Что ты называешь картинами, хотел бы я знать? Бесцветные акварели да ужасные плакаты? Ведь тебе никогда не удавалось пристроить ничего из этой мазни на выставку хотя бы даже здесь, в Сан-Франциско.

— Ага, вот вы и забыли! Ведь одна из моих картин висит в этом самом клубе.

— Нелепейшая штука! А музыка? Твоя милейшая, но недалекая мамаша выбрасывала на твои уроки сотни долларов. Но ты и тут оказался бездарностью и неудачником. Ты ни разу не заработал хотя бы пяти долларов, проаккомпанировав кому-нибудь в концерте. А твои песенки! Жалкие пустячки, которых никто не желает издавать. Их распевают только твои же товарищи, прикидывающиеся богемой.

— Я выпустил книгу… сонеты, помните?

— А что это тебе стоило?

— Всего двести долларов.

— Чем ты еще можешь похвастаться?

— Я поставил пьесу в летнем театре.

— А что она дала тебе?

— Славу.

— А ведь ты когда-то плавал и пробовал ездить верхом!.. — Джон Беллью энергично опустил ста-

кан на стол. — На что же ты все-таки годен, черт возьми? Ведь ты всегда был здоровым малым, а между тем я не помню, чтобы ты даже в университете увлекался футболом. Ты не греб. Ты не…

— Я занимался боксом и фехтовал… немного.

— Когда ты боксировал в последний раз?

— Да давно уже, в университетские времена. Считали, что у меня превосходный глазомер и чувство дистанции… только я… как бы это сказать…

— Ну, что?

— Товарищи, видите ли, находили, что я рассеян…

— Ты хочешь сказать — ленив?

— Мне самому казалось, что это то же самое.

— Мой отец, сэр, а ваш дедушка, Исаак Беллью, убил человека ударом кулака, когда ему было шестьдесят девять лет.

— Кому, убитому?

— Твоему дедушке, поганец. Но ты в шестьдесят девять и комара не убьешь.

— Времена изменились, дорогой дядюшка! Теперь за убийство сажают в тюрьму.

— Твой отец проскакал однажды сто восемьдесят миль верхом, ни на минуту не сомкнув глаз, и загнал трех лошадей.

— Если бы он жил в наши дни, он спокойно прохрапел бы всю дорогу в пульмановском вагоне.

Дядюшка чуть не задохнулся от негодования. Овладев собой, он с трудом выговорил:

— Сколько тебе лет?

— У меня есть основание думать…

— Я знаю. Двадцать семь. Когда ты окончил университет, тебе было двадцать два. Целых пять лет ты только и делал, что малевал, бренчал и фанфаронил. Ну, сознайся же перед Богом и людьми — на что ты теперь годен? В твоем возрасте у меня была одна-единственная смена белья. Я был объездчиком в Колузе. Я был крепок как камень и мог спать на голом камне. Питался я солониной и медвежатиной. И вот даже теперь физически я намного крепче, чем ты. В тебе, должно быть, около ста шестидесяти пяти фунтов весу, а я хоть сейчас могу повалить тебя и превратить в лепешку вот этими кулаками.

— Что же! Для того, чтобы поглощать коктейли и жидкий чай, не требуется богатырской силы, — смиренно согласился Кит. — Разве вы не видите, дядюшка, что времена изменились. Кроме того, меня воспитывали не так, как следовало. Моя милейшая, но бестолковая мама…

Джон Беллью сердито поморщился.

— …как вы сами охарактеризовали ее, была слишком добра ко мне; она, что называется, держала меня в вате и воспитывала, как девочку. Вот видите, если бы я принимал участие в тех героических эскападах, которые вам так по душе… кстати — почему вы никогда не брали меня с собой? Ведь захватили же вы Холла и Робби, когда отправились в Сьерру и Мексику?

— Мне казалось, что ты слишком нежен.

— Это ваша вина, драгоценный дядюшка, — ваша и моей милейшей, гм… мамаши. Скажите на милость, — как же я мог закалить себя? Ведь я был всего-навсего ребенком. Что мне оставалось в жизни, кроме гравюр и вееров? Разве я виноват в том, что мне никогда не пришлось как следует попотеть?

Старик с нескрываемым презрением посмотрел на своего племянника. С него было достаточно всей этой болтовни.

— Ну, хорошо, я как раз собираюсь предпринять одну из тех эскапад, которые ты называешь героическими. Что, если бы я позвал тебя на этот раз?

— Немного поздновато, нужно признать. Куда это?

— Холл и Робби едут в Клондайк, и я собираюсь проводить их через перевал до озер. Оттуда я

поверну обратно…

Он не кончил фразы: Кит вскочил на ноги и схватил его за руку.

— Спаситель мой!

Джон Беллью окинул его недоверчивым взглядом. Ему и в голову не приходило, что Кит примет его приглашение.

— Ты шутишь! — сказал он.

— Когда мы едем?

— Это тяжелое путешествие. Ты станешь обузой для нас.

— Не стану. Я буду работать. Я научился работать, поступив в «Волну».

— Каждый должен взять с собой припасов на целый год. Туда нахлынет такая уйма народу, что индейцы не справятся с переноской багажа. Мальчикам придется самим перетаскивать свое снаряжение через перевал. Вот я и хочу помочь им в этом деле. Если ты поедешь с нами, тебе придется делать то же самое.

— Я еду с вами.

— Но ведь ты не сможешь переносить тяжести, — возразил Джон Беллью.

— Когда мы отправляемся?

— Завтра.

— Не думайте, пожалуйста, что на меня так

подействовала ваша проповедь, — сказал Кит на прощание. — Мне просто необходимо скрыться куда-нибудь от О'Хара.

— Кто этот О'Хара? Япошка?

— Нет. Он ирландец, рабовладелец и к тому же один из моих лучших друзей. Это издатель, собственник и величайший тиран «Волны». Все повинуется ему. Он мог бы, если бы захотел, командовать привидениями.

В этот же вечер Кит Беллью написал О'Хара записку.

«Я беру отпуск на несколько недель, — объяснял он. — Подыщите на это время кого-нибудь, кто мог бы закончить мой последний рассказ. Мне очень жаль, старина, но дело в моем здоровье. Вернувшись, я возьмусь за работу с удвоенной энергией».

II

Среди безумной суматохи Кит Беллью высадился на берег Дайи, заваленный тысячепудовым багажом тысяч людей. Эти огромные массы снаряжения и продовольствия, которые пароходы целыми грудами выбрасывали на берег, только теперь начинали понемногу переправлять вверх по долине Дайи и через Чилкут. Совершить этот

переход в двадцать восемь миль можно было только на собственных ногах, перенося тяжести на спине. Индейцы-носильщики были нарасхват, несмотря на то, что цена за переноску фунта багажа подскочила с восьми центов до сорока, и всем было ясно, что наступающая зима застигнет б***о***льшую часть путешественников по эту сторону перевала.

Самым неприспособленным из всех неженок, высадившихся с парохода, был Кит. Подобно множеству других новичков он надел пояс с патронами, на котором болтался огромный револьвер. Дядя его, переполненный воспоминаниями о прежних опасных странствованиях, был также повинен в этом грехе. Но Кит Беллью, кроме того, был романтиком. Его пленяла игра и блеск золотой лихорадки, и он наблюдал за движением бурного людского потока глазами художника. Все это путешествие казалось ему чем-то вроде веселой экскурсии, и он еще на пароходе заявил, что не собирается похоронить себя на Севере. Он просто хотел использовать свой отпуск для того, чтобы «заглянуть» через перевал, а затем снова вернуться в лоно цивилизации.

Оставив своих спутников следить за выгрузкой багажа, Кит направился вверх по песчаному

берегу к старой фактории. Сам он шел твердой поступью и с удивлением заметил, что другие, увешанные такими же револьверами, путешественники спотыкались на ходу. Его обогнал статный индеец шести футов ростом, с огромным тюком за плечами. Кит пошел за ним следом, любуясь великолепными икрами этого малого, а также грацией и непринужденностью, с которой он двигался, несмотря на тяжесть поклажи. Индеец опустил свой тюк на весы перед факторией, и Кит присоединился к толпе восхищенных зрителей, окруживших носильщика. Тюк весил сто двадцать фунтов, и эта цифра благоговейным шепотом передавалась из уст в уста.

— Не шутка! — решил Кит и тут же задал себе вопрос, сможет ли он поднять такую тяжесть да еще пойти с ней.

— На озеро Линдерман, приятель? — спросил он.

Индеец с гордым видом пробормотал что-то утвердительное.

— Сколько вы берете за такой тюк?

— Пятьдесят долларов.

Но на этом разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Не в пример другим женщинам, высадившимся с

парохода, она была в юбке нормальной длины и без спортивных брюк. В общем, она была одета так, как обычно одеваются женщины в дорогу. Но больше всего Кита поразила непринужденность, с которой она держала себя в этой обстановке. Он сразу почувствовал, что она здесь своя и все окружающее — родная ей стихия. К тому же она была молода и красива. Сияющая красота и прелесть ее овального лица приковали его взгляд, и он долго не отрывал его, до тех пор, пока она не почувствовала, что на нее смотрят. Ее темные, осененные длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С лица Кита она перевела насмешливый взгляд на большой револьвер, болтавшийся у его бедра. Затем с нескрываемым презрением она снова посмотрела на него. Этот взгляд подействовал на него, как удар хлыста. Девушка обернулась и указала на Кита своему спутнику. Тот в свою очередь взглянул на Беллью, и на его лице тоже появилась презрительная усмешка.

— Чечако, — сказала девушка.

Спутник ее, похожий на бродягу в своих дешевых брюках и разодранной шерстяной куртке, сухо усмехнулся, и Кит, сам не зная почему, почувствовал себя оскорбленным. Но что бы там ни было, а она необыкновенно красивая девушка,

решил он, когда те стали уходить. Он обратил внимание на ее походку и постарался запечатлеть ее в памяти, чтобы узнать девушку хотя бы через тысячу лет.

— Приметили вы этого человека с девушкой, — с жаром осведомился у Кита его сосед, — знаете, кто это?

Кит покачал головой.

— Карибу Чарли. Мне только что указали на него. Ему здорово повезло в Клондайке. Он — старожил, сидит на Юконе уже лет десять. Теперь он уезжал на время.

— Что значит чечако? — спросил в свою очередь Кит.

— Вот вы как раз и будете чечако, да и я тоже, — последовал ответ.

— Может быть, и так, но я все же не понимаю, что это значит.

— Это значит новичок, неженка.

Возвращаясь обратно на берег, Кит не переставал повторять про себя это слово. Не очень-то приятно мужчине, когда молоденькая хрупкая женщина называет его неженкой.

Зайдя за гору тюков, Кит, все еще полный воспоминаний о могучем индейце-носильщике, решил тут же испытать свои силы. Он выбрал

мешок муки, в котором, как он знал, было сто фунтов весу, широко расставил ноги, нагнулся и попробовал взвалить его себе на плечи. Первой его мыслью было, что сто фунтов — порядочная тяжесть. Второй — что спина его не достаточно крепка. И наконец после пяти минут бесплодных усилий он со стоном свалился под тяжестью груза, который старался поднять. Кит вытер со лба пот и в ту же минуту увидел над грудой мешков с продовольствием лицо своего дядюшки Джона Беллью, с нескрываемой насмешкой следившего за ним.

— Подумать только, — возгласил этот апостол мужества, — что от нас произошло такое жалкое потомство! Когда мне было шестнадцать лет, я играючи справлялся с такими пустяками.

— Но вы забываете, дядюшка, — возразил Кит, — что меня-то не кормили с детства медвежатиной.

— И играючи справлюсь с ними, когда мне стукнет шестьдесят.

— Я не прочь бы взглянуть на это.

И Джон Беллью показал ему. Дядюшке было сорок восемь лет, но он нагнулся над мешком, схватил его твердой рукой, немного раскачал и быстрым движением выпрямился, перекинув

стофунтовый груз через плечо.

— Сноровка, мой мальчик, сноровка и крепкая спина!

Кит почтительно снял шляпу.

— Вы чудо, дядюшка, поразительное чудо! Как вы думаете, сумею ли я приобрести такую сноровку?

Джон Беллью пожал плечами.

— Ты запросишься домой прежде, чем мы тронемся в путь.

— Ну, нет, этого не случится, — пробурчал Кит. — Там меня ждет О'Хара, рыкающий лев, и я не вернусь к нему, пока будет хоть какая-нибудь возможность оставаться здесь.

III

Первое испытание Кита прошло успешно. Им удалось подрядить до Финниганского брода индейцев, которые взялись перенести две тысячи пятьсот фунтов снаряжения. Начиная с этого места, путешественникам предстояло нести поклажу самим. Они решили проходить ежедневно по одной миле. Это очень легко… на словах. Джон Беллью должен был оставаться на стоянках и стряпать, поэтому он лишь изредка мог помогать в переноске груза. Таким образом, каждому из

трех молодых людей нужно было ежедневно перетаскивать на одну милю восемьсот фунтов. Поднимая по пятидесяти фунтов зараз, каждый из них должен был бы сделать в день шестнадцать миль с поклажей и пятнадцать налегке. «Потому что в последний раз нам ведь не придется возвращаться!» — сделал приятное открытие Кит. Увеличив поклажу до восьмидесяти фунтов, они сократили бы свой переход до девятнадцати, а навьючивая на себя по сто фунтов — до пятнадцати миль в день.

— Я не большой любитель моциона, — заметил Кит. — Поэтому я буду перетаскивать по сто фунтов сразу. — Он подметил недоверчивую усмешку на лице дяди и поспешно добавил: — Конечно, мне придется потренироваться сначала. Всякое дело требует некоторой сноровки и навыка. Я начну с пятидесяти фунтов.

Он так и сделал и, взвалив на себя тюк, бодро двинулся в путь. Пройдя милю, он сбросил груз и легким шагом вернулся обратно. Это оказалось легче, чем он думал. Но две мили порядком утомили его непривычные мускулы. Второй его тюк весил шестьдесят пять фунтов. Это было уже значительно труднее, и Кит утратил свою первоначальную прыть. Несколько раз за время

перехода он, по примеру всех остальных носильщиков, присаживался на землю и прислонял груз, не сбрасывая его с плеч, к камню или пню. Когда дело дошло до третьего тюка, Кит окончательно возгордился. Он прикрепил к ремням мешок бобов в девяносто пять фунтов и двинулся в путь. К концу первых ста шагов он почувствовал, что силы покидают его. Он присел и вытер с лица пот.

— Короткие переходы и короткие привалы, — пробормотал он, — в этом весь фокус.

Иногда Киту не удавалось сделать даже полных ста шагов, и всякий раз, как он, передохнув, снова поднимался на ноги, ноша казалась ему все тяжелее и тяжелее. Он с трудом переводил дыхание и весь обливался потом. Не пройдя и четверти мили, он снял свою шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Немного погодя он сбросил шляпу. К концу первой полумили Кит почувствовал, что должен сдаться. Никогда в жизни он не испытывал такой мучительной усталости: он был уверен в этот момент, что окончательно надорвал свои силы. Он опустился на землю, стараясь отдышаться, как вдруг взгляд его упал на огромный револьвер и тяжелый пояс с патронами.

— Десять фунтов лишку, — ухмыльнулся он, отстегивая пояс.

Он даже не потрудился повесить его на дерево, а просто швырнул в придорожный кустарник. Наблюдая за потоком навьюченных людей, тащившихся мимо него вверх и вниз, Кит увидел, что и другие новички отстегивали свое оружие. Кит все больше и больше сокращал свои и без того короткие переходы. Подчас он с трудом, спотыкаясь, проходил шагов сто и, совершенно обессиленный, опускался на землю. Сердце его зловеще колотилось, кровь стучала в висках и барабанных перепонках, а колени предательски дрожали. Остановки же, наоборот, с каждым разом становились все длиннее. Однако мозг его не переставал работать. Перед ним лежало еще двадцать восемь миль пути, то есть двадцать восемь дней такого труда, причем самое трудное ожидало его, несомненно, впереди.

— Вот доберемся до Чилкута, — говорили ему спутники, останавливаясь, чтобы поболтать и передохнуть, — так вы еще не то запоете: придется карабкаться на четвереньках.

— Никакого Чилкута я не увижу, — отвечал он. — Мне ни за что не добраться туда. Задолго до Чилкута я спокойно улягусь в маленькой уютной могилке у дороги.

Раз он поскользнулся и сделал отчаянное

усилие, чтобы удержаться. Это маленькое приключение сильно напугало его. Ему почудилось, будто у него все внутри оборвалось.

— Если я свалюсь когда-нибудь с этим грузом за спиной, пиши пропало, — поделился он с одним из своих спутников.

— Это что! — ответил тот. — Вот когда мы доберемся до Большого Ущелья, узнаете, то ли еще бывает. Вам придется перебираться через бешеный поток по сосновому стволу в шестьдесят футов длины. Никаких поручней, никаких веревок — ничегошеньки! А вода под вами брызжет, пенится, переливается через ствол и захлестывает вас до колен. Если вы свалитесь с мешком на спине, не останется никакой возможности освободиться от ремней. Тогда прощайтесь с жизнью и спокойно погружайтесь на дно.

— По-моему, это не так уж плохо, — отозвался Кит; безумная усталость вынуждала его почти мечтать о таком конце.

— Там ежедневно тонет три-четыре человека, — продолжал его собеседник. — Я помог раз выудить оттуда одного немца, на нем нашли четыре тысячи долларов.

— Весело, нечего сказать, — произнес Кит, с трудом поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь.

Кит Беллью и его мешок с бобами слились в какую-то ходячую неразрешимую трагедию. Сам Кит мысленно сравнивал себя с Синдбадом-мореходом, обреченным таскать на плечах морского старца. «Так вот она, работа, достойная мужчины, — размышлял он. — Да по сравнению с ней рабство у О'Хара — блаженство». По временам он готов был поддаться искушению — швырнуть мешок с бобами в кусты, обогнуть крадучись стоянку, помчаться к берегу и сесть на первый попавшийся пароход, который вернул бы его в цивилизованный мир.

Однако он не сделал этого. Где-то в глубине его существа таилось влечение ко всему сильному и мужественному, и он беспрестанно твердил про себя, что раз это проделывают другие, то, следовательно, может проделать и он. Эта мысль навязчиво преследовала его, точно в кошмаре, и он делился ею со всеми, кого встречал по пути. Иногда, в минуты отдыха, он с завистью рассматривал крепких быстроногих индейцев, которые проходили мимо, нагруженные несравненно большими тяжестями. Они, по-видимому, никогда не отдыхали и двигались с твердостью и уверенностью, которая казалась ему почти чудесной.

Кит сидел и бранился (на ходу у него не хватало на это дыхания), борясь с искушением удрать обратно в Сан-Франциско. Но прежде чем кончилась миля, он перестал браниться и принялся плакать. Эти слезы были вызваны усталостью и отвращением к самому себе. Существовал ли когда-нибудь на свете более слабый, более жалкий человек! Когда вдали показался лагерь, он сделал последнее отчаянное усилие, добрался до стоянки и повалился ничком на землю, так и не сняв со спины мешка с бобами. Он не умер, но пролежал минут пятнадцать, прежде чем собрался с силами, чтобы освободиться от ремней. Чувствуя себя смертельно разбитым и больным, он так и остался лежать в полной прострации. В этом состоянии его нашел Робби, самочувствие которого было отнюдь не лучше, чем у кузена. Но как ни странно, состояние Робби вернуло Киту утраченное мужество.

— То, что могут делать другие, можем сделать и мы, — сказал ему Кит, хотя в глубине души у него шевелилось сомнение, не пустое ли это бахвальство с его стороны.

IV

— Мне двадцать семь лет, и я мужчина, — неоднократно повторял он в следующие дни. — И я должен стать сильным.

За первую неделю, в течение которой он ежедневно переносил восемьсот фунтов груза на милю вперед, Кит потерял пятнадцать фунтов собственного веса. Лицо его вытянулось и приобрело страдальческое выражение. И тело, и мозг утратили всякую упругость. Он уже не ходил, а тащился, и на обратных переходах, идя налегке, волочил ноги почти с таким же трудом, как и под тяжестью стофунтовой ноши.

Кит окончательно превратился во вьючное животное. Он засыпал над едой, и сон его сделался тяжелым и крепким, как у измученного животного. Просыпаясь, он вскрикивал от мучительных судорог, которые сводили его ноги; все тело болезненно ныло. Ступни покрылись сплошными волдырями, но это было ничто по сравнению с ужасными ранами, которые появились на них в долине Дайи. В этой местности путь на протяжении двух миль был покрыт сглаженными водой камнями, которые сдирали кожу и разрезали тело до самых костей. А ведь эти две

мили означали тридцать восемь миль ходьбы с грузом туда и обратно. Он мыл лицо только раз в день, а ногти свои, сломанные, изуродованные и обросшие заусенцами, никогда не чистил. Боль в плечах и руках от глубоко врезавшихся ремней заставила его в первый раз задуматься над ощущениями лошадей, которых он столько раз видел на городских улицах.

Еда была для него вначале сущей пыткой и чуть не извела его вконец. Огромная физическая работа требовала усиленного питания, а желудок его не был приспособлен к непомерным порциям свинины и тяжелых коричневых бобов. В результате желудок отказался работать, и в течение нескольких дней боли и раздражение, вызываемые голодовкой и расстройством, едва не сломили Кита окончательно. Но настал, наконец, радостный день, когда он оказался в состоянии есть как прожорливое животное и с жадными волчьими глазами требовать еще и еще.

Благополучно переправив у входа в ущелье весь груз через поток по мосткам из неочищенных стволов, путники изменили свой план. Из-за перевала дошли слухи, что в окрестностях озера Линдерман не осталось ни одного дерева, пригодного для постройки лодки. Тогда оба кузена,

нагрузив на себя инструменты, пилы, одеяла и запасы продовольствия, двинулись вперед, оставив Кита с дядей перетаскивать остальной багаж. Теперь Джон Беллью стряпал вместе с Китом и помогал ему переносить поклажу. Время летело быстро, и вскоре на вершинах выпал первый снег. Если бы зима застигла их по эту сторону перевала, они потеряли бы целый год. Поэтому дядюшка подставил свою железную спину под стофунтовую тяжесть. Кит почувствовал вначале некоторое смущение, но затем стиснул зубы и прикрепил к своим ремням такой же груз. Это было тяжело, но он успел уже порядком приспособиться, и тело его, окрепшее и избавившееся от лишнего жира, начинало покрываться броней твердых и гибких мускулов. К тому же он умел наблюдать и не был лишен изобретательности. Он сразу обратил внимание на приспособление из ремней, которое индейцы носили на голове, и смастерил себе такое же, чтобы пользоваться им одновременно со спинными ремнями. Это значительно облегчало дело и давало ему возможность класть на тюк еще какой-нибудь добавочный, не тяжелый, но громоздкий груз. Таким образом, он научился переносить по сто фунтов на ремнях и одновременно какой-нибудь пятнадцати-двадца-

тифунтовый предмет, который свободно лежал на тюке, упираясь в его затылок. Не довольствуясь этим, он брал в одну руку топор или пару весел, а в другую — вложенные друг в друга походные котелки.

Но как ни старались дядюшка и племянник, а работы с каждым днем все прибывало и прибывало. Дорога становилась все хуже и запущеннее, тюки все тяжелее, а снежная линия на горах с каждым днем опускалась все ниже. При этом плата за переноску багажа подскочила до шестидесяти центов за фунт. От кузенов не доходило никаких вестей; из этого они заключили, что Холл и Роберт все еще заняты рубкой и распилкой леса. Джон Беллью начинал не на шутку тревожиться. Встретив на пути нескольких индейцев, возвращавшихся с озера Линдерман, он уговорил их взяться за переноску груза. Они потребовали по тридцати центов за фунт, чтобы донести поклажу до вершины Чилкута. Делать было нечего, пришлось согласиться, хотя деньги у них были на исходе. Но, несмотря на помощь носильщиков, около четырехсот фунтов груза — одежда и лагерное снаряжение — все же осталось на месте, и Джон Беллью взялся перенести их собственными силами вслед за Китом и индейцами, которые

ушли вперед. Они сговорились на том, что Кит, добравшись до Чилкута, станет понемногу переносить груз дальше, поджидая дядюшку, который должен был нагнать его со своими четырьмястами фунтами.

V

Кит шагал по дороге с носильщиками-индейцами. Сообразив, что до вершины Чилкута расстояние немалое, он сократил свой груз до восьмидесяти фунтов. Индейцы кряхтели под своими вьюками, но шли быстрее, чем привык ходить Кит. Однако теперь это его не пугало: он уже считал себя почти таким же выносливым, как индейцы.

Через четверть мили у него появилось желание передохнуть. Но индейцы еще не чувствовали в этом никакой потребности, и Кит пошел дальше вместе с ними. Пройдя еще полмили, он решил, что не в силах сделать больше ни единого шага. Тем не менее он стиснул зубы и продолжал путь, а к концу мили с удивлением убедился, что все еще жив. Затем, как это ни странно, вторая миля показалась ему немного легче первой; зато третья миля чуть не убила Кита. Но, теряя сознание от усталости и боли, он все же не позволял себе

издать стон или вздох, и в ту минуту, когда он почувствовал, что теряет сознание, индейцы сделали привал. Вместо того, чтобы опуститься на землю вместо с грузом, как это делали обычно белые, индейцы освободились от плечевых и головных ремней и растянулись на земле, куря и болтая в свое удовольствие. Прошло около получаса, прежде чем они снова двинулись в путь. Кит с большим удивлением почувствовал себя совершенно посвежевшим и с этой минуты сделал своим правилом: «долгие переходы и долгие отдыхи».

Чилкут вполне оправдал те отзывы, которые Киту довелось о нем слышать, и он немало поработал руками и ногами, чтобы добраться до его вершины. Тем не менее он все же проделал это наравне с индейцами в жестокую снежную метель и в глубине души почувствовал большую гордость оттого, что ни разу за все время пути не отстал от них и ничем не проявил своей слабости. Теперь у него появилась новая, честолюбивая мечта — стать таким же выносливым и сильным, как индейцы.

Расплатившись с носильщиками и отпустив их, он остался один среди наступающей темноты, на вершине хребта, на тысячу футов выше

лесной полосы. Промокший до пояса, голодный и измученный, Кит с удовольствием отдал бы в эту минуту весь свой годовой доход за то, чтобы погреться у огня и выпить чашку кофе. Но вместо этого он съел несколько холодных оладий и зарылся в полуразвернутую палатку. Перед сном он успел только со злорадством представить себе, как Джон Беллью станет карабкаться на вершину Чилкута со своими четырьмястами фунтами. Задача Кита была теперь куда легче и проще, несмотря на его две тысячи фунтов багажа: ведь его-то путь лежал под гору!

Утром, с трудом размяв онемевшие от работы и окоченевшие от холода члены, он выполз из палатки, уничтожил фунта два сырого бекона, привязал к ремням стофунтовый тюк и начал спускаться по скалистой тропинке. На несколько сот ярдов ниже тропа пересекала небольшой ледник и сбегала дальше к озеру Кратер. Какие-то люди переправлялись через ледник, перенося на себе часть груза. Однако Кит не последовал их примеру. Весь этот день он складывал свои тюки у верхнего края ледника, и незначительность расстояния позволяла ему переносить по сто пятьдесят фунтов зараз. Выполняя эту работу, он с трудом верил в свой успех и не переставал

дивиться своей выносливости. За два доллара он купил у индейца три окаменевших морских сухаря и съел их в течение дня с огромным количеством сырого бекона.

Не умывшись и не согревшись, он свалился в промокшей от пота одежде и проспал, завернувшись в палатку, вторую ночь.

Рано утром Кит разостлал на льду брезент и погрузил на него три четверти тонны. Затем он потащил его по скользкой поверхности. В том месте, где спуск ледника становился круче, груз Кита стал развивать все большую скорость и, наконец, обогнал его. Тогда остроумный изобретатель вскочил на груду тюков и помчался вниз с быстротой пули.

Сотни нагруженных поклажей носильщиков останавливались, чтобы взглянуть на Кита, восседавшего на верхушке своей поклажи. Он кричал во все горло, предостерегая тех, кто находился на его пути, и зазевавшиеся люди, спотыкаясь, отскакивали в сторону, очищая перед ним дорогу. У нижнего края ледника стояла маленькая палатка; она с такой быстротой вырастала перед Китом, как будто приближалась к нему прыжками. Он свернул с проезжей тропы в том месте, где она отклонялась влево, и понесся по нетронутому

снегу. Целое облако морозной пыли окружило его, замедляя скорость движения. Он увидел палатку только в ту минуту, когда врезался в нее, сорвав боковые колышки. И в тот же миг, прорвав лицевое полотнище, Кит, сидя на своем брезенте среди груды мешков с продовольствием, влетел внутрь палатки. Палатка закачалась, как пьяная, и в облаке морозной пыли Кит вдруг увидел перед собой изумленное лицо молодой женщины. Она сидела, завернувшись в одеяла, и он тотчас же узнал в ней ту самую девушку, которая назвала его в Дайе чечако.

— Видели вы, какой я поднял дым? — весело осведомился он.

Девушка окинула его неодобрительным взглядом.

— Рассказывайте после этого о коврах-самолетах, — продолжал Кит.

— Не потрудитесь ли вы убрать с моей ноги этот мешок? — холодно спросила она.

Он осмотрелся и быстро привстал.

— Это не мешок, а мой локоть. Простите.

Эта поправка, однако, нисколько не смягчила девушку, и она произнесла все с той же вызывающей холодностью:

— Спасибо хоть за то, что вы не перевернули

печку.

Он проследил за ее взглядом и увидел железную печурку и гревшийся на ней кофейник, за которым присматривала молодая индианка. Кит с наслаждением втянул в себя аромат кофе и снова перевел взгляд на девушку.

— Ведь я чечако, — сказал он.

По презрению, отразившемуся на ее лице, он понял, что это для нее ясно и без его слов, но Кит нисколько не смутился.

— Я бросил по дороге свой револьвер, — прибавил он.

Только тут она узнала его, и взгляд ее смягчился.

— Не думала, что вы заберетесь так далеко, — сказала она.

Он снова с жадностью втянул воздух.

— Даю голову на отсечение, что это кофе! — Он повернулся к девушке и прямо обратился к ней: — Я отдам свой мизинец — можете отрубить его сейчас же, я сделаю все, что вы прикажете, я стану вашим рабом на один год и один день или на сколько вы пожелаете, и все это за одну чашку кофе!

И, прихлебывая горячий кофе, он назвал ей свое имя и услышал, что ее зовут Джой Гастелл.

Он узнал также, что она уже давно живет здесь. Джой Гастелл родилась на одной из факторий у Большого Невольничьего озера и, еще ребенком переправившись с отцом через Скалистые Горы, спустилась в бассейн Юкона. Девушка объяснила, что путешествует в этот момент со своим отцом. Сначала дела задержали его в Сиэтле, а затем он потерпел крушение на злополучном «Чантере» и был доставлен обратно в пролив Пьюджет-Саунд подоспевшим на помощь пароходом.

Поскольку девушка продолжала сидеть закутанная в одеяло, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки, извлек из палатки вместе с собственной персоной три четверти тонны своего груза. Сверх того он вынес с собой оттуда еще много впечатлений, а именно — что у нее прелестное имя и прелестные глаза, что лет ей, наверное, двадцать, самое большее двадцать два года; что отец ее, должно быть, француз, и что она женщина с характером и темпераментом, а воспитание получила, несомненно, где угодно, только не здесь.

VI

Тропа проходила по обледенелым скалам над полосой леса и, обогнув озеро Кратер, спускалась

по скалистому ущелью к Счастливому Лагерю и первым жалким тощим соснам. Нужно было потратить немало сил и времени, чтобы переправить этим путем тяжелое снаряжение. На озере стояла парусная лодка, которой пользовались для перевозки грузов. «Достаточно будет двух рейсов, которые займут не больше двух часов времени, — рассудил Кит, — чтобы переправить на ту сторону меня самого и тонну багажа». Но Кит был разорен дочиста, а лодочник просил сорок долларов за тонну.

— Для вас, мой друг, эта жалкая лодка настоящая золотая россыпь, — сказал ему Кит. — Не хотите ли приобрести еще одну такую же?

— Покажите! — заявил лодочник.

— Я покажу вам ее, если вы согласитесь переправить за это мой багаж. Идея превосходная, и патент на нее еще не выдан, так что вы сможете взяться за дело, как только я объясню вам, в чем заключается фокус. Идет?

Лодочник согласился; лицо его внушало Киту доверие, и он тут же изложил ему свой проект:

— Прекрасно. Видите вон тот ледник? Берите кирку и отправляйтесь туда. За один день вы прорубите прекрасный желоб сверху донизу. Смекаете, в чем дело? Чилкутское и Кратеровское

Консолидированное Транспортное Общество с ограниченной ответственностью. Вы можете брать по пятьдесят центов за сто фунтов и переправлять по сотне тонн в день. А весь ваш труд будет заключаться только в том, чтобы собирать монеты.

Через два часа Кит со своим грузом находился на противоположном берегу, выиграв таким образом целых три дня. Поэтому, когда Джон Беллью нагнал племянника, тот был уже вблизи Глубокого озера — другой вулканической впадины, заполненной ледяной водой.

VII

Последний переход от Долгого озера до озера Линдерман равнялся трем милям, и тропа — если только это можно было назвать тропой — взбиралась кверху, переваливала через тысячефутовый хребет и сбегала вниз по скользким скалам, пересекая по пути широкую полосу болот. Увидев, что Кит привязал за спину стофунтовый тюк и положил на него дополнительный груз — пятидесятифунтовый мешок муки, который должен был упираться в его затылок, — Джон Беллью попробовал запротестовать.

— Будет вам, поклонник выносливости, —

огрызнулся Кит. — Вспомните свою медвежатину и единственную смену белья!

Но Джон Беллью покачал головой.

— Боюсь, что я начинаю стареть, Кристоф.

— Вам всего сорок восемь лет. Разве вы забыли, что мой дедушка, а ваш отец, старый Исаак Беллью, в шестьдесят девять лет одним ударом кулака уложил человека?

Джон Беллью, ухмыльнувшись, проглотил пилюлю.

— Между прочим, дядюшка, я должен сообщить вам чрезвычайно важную новость. Несмотря на то, что меня воспитывали, как недотрогу и неженку, я могу в любой момент перещеголять вас в выносливости и ходьбе, а также уложить вас на обе лопатки или обработать вот этими кулаками.

Джон Беллью протянул племяннику руку и торжественно произнес:

— Кристоф, мой мальчик, я уверен, что ты говоришь истинную правду. Я убежден, что тебе не понадобится даже снять для этого тюк со спины. Ты изменился к лучшему, мальчик, и так сильно, что я никогда не поверил бы этому, если бы не видел этой перемены собственными старыми глазами.

За последний переход Кит за день прошел четыре раза в оба конца, а это значило, что он за один день одолел двадцать четыре мили, карабкаясь по горам, а из них двенадцать — со стопятидесятифунтовой поклажей на спине. Он был исполнен гордости, бодр и, несмотря на усталость, физически чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал, как никогда еще не ел и не спал в своей жизни, и видя, что работа приближается к концу, почти жалел об этом.

Одно только тревожило Кита. Он знал, что уцелеет, если свалится со стофунтовым грузом за спиной, но его мучила мысль о добавочных пятидесяти фунтах, которые, как ему казалось, должны непременно сломать ему при падении шею. Все тропинки, пересекавшие болото, очень быстро и бесследно затаптывались тысячами путников, и людям приходилось беспрестанно прокладывать все новые. Прокладывая однажды такую новую тропу, Кит разрешил свою проблему о добавочных пятидесяти фунтах.

Мягкая топкая поверхность подалась под ним; он пошатнулся и упал ничком. Груз в пятьдесят фунтов вдавил его голову в грязь и шлепнулся в болото, не причинив Киту никакого вреда. Он поднялся на четвереньки со своей стофунтовой

поклажей за спиной, но дальше этого дело не пошло. Одна рука его тотчас же погрузилась по плечо в трясину, заставив Кита прикоснуться щекой к грязи. Когда он вытащил эту руку — моментально погрузилась по плечо другая. Это лишало Кита возможности освободиться от ремней, а стофунтовая поклажа не давала ему подняться на ноги. Он сделал попытку подползти на четвереньках к тому месту, куда свалился мешок с мукой, но руки его поочередно увязали в топкой грязи, и скоро он выбился из сил, не подвинувшись ни на шаг. При этом топкий травянистый покров прорвался, и в опасном соседстве с его носом и ртом начала образовываться крошечная лужица. Кит попробовал перевернуться на спину так, чтобы тюк оказался под ним, но от этого движения обе руки его погрузились по плечи, и он почувствовал, что тонет. С изумительным терпением он медленно вытащил сначала одну, потом другую руку и положил их плашмя на поверхность болота, чтобы создать опору для подбородка. Затем он начал звать на помощь. Через некоторое время он услышал звук шагов, чавкавших по болоту, и догадался, что кто-то приближается к нему сзади.

— Эй, приятель, помогите! — крикнул он. —

Бросьте мне веревку или что-нибудь в этом роде.

В ответ он услышал женский голос и тотчас же узнал его.

— Если вы развяжете мои ремни, я смогу сам подняться на ноги.

Стофунтовый груз, громко чавкнув, шлепнулся в грязь, и Кит медленно, с трудом поднялся на ноги.

— Ну и вид у вас! — расхохоталась мисс Гастелл, увидев его покрытое грязью лицо.

— Совсем не плохой, — возразил он весело. — Это мое любимое гимнастическое упражнение. Попробуйте как-нибудь — замечательно укрепляет грудную клетку и позвоночник.

Он вытер лицо и бодрым движением стряхнул с руки грязь.

— О! — воскликнула она, только теперь узнав Кита. — Да ведь это мистер… мистер… Смок Беллью?

— Премного благодарен вам за своевременную помощь и за это имя, — ответил Кит. — Я получил второе крещение. Отныне я потребую, чтобы меня всегда называли Смок[1] Беллью. Это славное имя, и я вижу в нем глубокий смысл.

---

[1] notes: 1

Смок (smoke) — здесь: прокопченный.

Он остановился, затем заговорил вдруг с неожиданной силой.

— Знаете, что я намерен сделать? — спросил он. — Я вернусь в Штаты, женюсь там и обзаведусь многочисленной семьей. А затем как-нибудь вечерком я соберу вокруг себя детей и расскажу им про те мытарства и испытания, через которые я прошел на этом Чилкутском пути. И если они не заревут, — я повторяю, если они не заревут, я вышибу из них дух.

VIII

Арктическая зима быстро надвигалась. Выпавший снег лежал шестидюймовым слоем, и спокойные горные озера постепенно затягивались льдом, несмотря на неистово дувшие ветры. Раз в сумерки, под завывание метели, Кит и Джон Беллью помогли кузенам нагрузить лодку и долго следили потом, как она исчезала в снежном вихре.

— А теперь нужно как следует выспаться и завтра встать пораньше, — сказал Джон Беллью. — Если вьюга не задержит нас на перевале, мы придем в Дайе завтра к вечеру. А если нам посчастливится застать какой-нибудь пароход, то через неделю мы будем в Сан-Франциско.

— Вы довольны своей прогулкой? — рассеянно спросил Кит.

Их стоянка в эту последнюю ночь у озера Линдерман имела грустный вид. Все более или менее пригодное для употребления было увезено кузенами. Дырявый брезент, натянутый для защиты от ветра, лишь местами прикрывал их от метели. Ужин они сварили на костре, использовав для этого несколько поломанных и разрозненных лагерных принадлежностей. У них оставались только одеяла да запас пищи на несколько дней.

Проводив лодку, Кит стал рассеянным и задумчивым. Дядя заметил в нем эту перемену и приписал ее реакции на сильное напряжение. За ужином Кит произнес только одну фразу.

— Дядюшка, — сказал он вдруг ни с того ни с сего, — я хочу, чтобы отныне вы называли меня Смоком. Я, кажется, порядочно прокоптился за это путешествие, не так ли?

Через несколько минут он вышел и направился к палаткам золотоискателей, занятых снаряжением или постройкой лодок. Кит пропадал несколько часов, и когда он вернулся и лег под одеяло, Джон Беллью давно уже спал.

В темноте ветреного утра Кит выполз, отогрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе

и поджарил бекон. Это был скудный завтрак, остывший прежде, чем они успели съесть его. Покончив с едой, дядя и племянник связали свои одеяла. Но в тот момент, когда Джон Беллью повернулся, чтобы пуститься в обратный путь по Чилкутской дороге, Кит протянул ему руку.

— До свиданья, дядюшка, — сказал он.

Джон Беллью посмотрел на него и выругался от неожиданности.

— Не забывайте, что меня зовут Смок, — поддразнил его Кит.

— Да что ты задумал?

Кит сделал неопределенный жест в сторону севера, где бушевало озеро.

— Какой смысл возвращаться назад после того, как я уже забрался так далеко? — спросил он. — Я отведал медвежатины, и она пришлась мне по вкусу. Я иду дальше.

— Но ведь у тебя нет ни денег, ни снаряжения, — возразил Джон Беллью.

— Я нашел работу. Ну, порадуйтесь: ваш племянник Кристоф Смок Беллью наконец нашел себе работу! Теперь он будет прислуживать джентльмену и получать за это сто пятьдесят долларов в месяц и продовольствие. Он отправляется в Доусон с двумя господами и еще одним слугой —

в качестве походного повара, лодочника и всего такого прочего. А что касается О'Хара и «Волны» — пусть провалятся к черту! До свидания!

Джон Беллью был так поражен, что мог пробормотать только одно:

— Ничего не понимаю.

— Говорят, в бассейне Юкона водится много медведей, — объяснил Кит. — А у меня, видите ли, всего одна смена белья, и я отправляюсь за медвежатиной. Вот и все.

Мясо

I

Ветер то и дело налетал неистовым ураганом, и Смок Беллью с трудом пробирался вдоль берега. В сером предутреннем свете десятки лодок нагружались драгоценным снаряжением, которое люди с таким трудом переносили через Чилкут. Это были неуклюжие, самодельные лодки, сколоченные неумелыми руками. Золотоискатели собственноручно рубили и распиливали молодые сосны на доски, а затем мастерили из них свои незатейливые суда. Одна лодка, нагруженная доверху, как раз отчаливала от берега, и Кит остановился на минуту, чтобы поглядеть на нее.

На озере было довольно тихо, но зато у берега бушевал неистовый ураган, подхлестывавший мелкие злобные волны. Люди с отъезжавшей лодки, обутые в высокие непромокаемые сапоги, вошли в воду, чтобы столкнуть лодку в более глубокое место. Им пришлось проделать это дважды: как только они садились в лодку и брались за весла, ветер снова относил ее назад к берегу. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро

превращались в лед. В третий раз они добились некоторого успеха. Последние два пассажира, влезшие в лодку, были мокры по пояс, но зато лодка тронулась с места. Они изо всех сил налегли на тяжелые весла и стали медленно удаляться от берега. Ободренные успехом, они поставили парус, сшитый из одеял, но лишь только ветер надул его, лодку в третий раз отнесло к замерзающему берегу.

Кит ухмыльнулся про себя и пошел дальше. Вот с чем ему придется столкнуться в новой роли слуги: ведь ему предстояло не далее как сегодня отплыть в такой же лодке.

На берегу кипела работа; люди трудились не покладая рук, выбиваясь из сил, ибо все понимали, что зима воцарится не сегодня — завтра, и никто не знал, успеет ли он пробраться через цепь озер до ледостава. Тем не менее, когда Кит подошел к палатке мистеров Спрага и Стайна, он не заметил там никаких признаков суеты.

У огня, под защитой брезента, сидел, поджав ноги, коротенький толстый человек, куривший самокрутку из коричневой бумаги.

— Алло, — сказал он. — Так вы, значит, новый слуга мистера Спрага?

Кит утвердительно кивнул. Ему показалось,

будто толстяк сделал ударение на словах мистер и слуга, и он готов был поклясться, что маленький человечек при этом подмигнул ему.

— Так, так! Ну, а я слуга доктора Стайна, — продолжал он. — Во мне пять футов и два дюйма росту, и меня зовут Джеком Малышом, для краткости — Малышом, а иногда величают и Джонни-на-все-руки.

Кит протянул руку и обменялся со своим новым коллегой рукопожатием.

— Выросли, небось, на медвежатине? — осведомился он.

— Разумеется, — ответил тот, — хотя, насколько я помню, в раннем детстве меня кормили больше молоком буйволицы. Присядьте и закусите со мной. Хозяева еще не прочухались.

Кит уселся под брезентом и, несмотря на то, что утром уже позавтракал, с утроенным аппетитом уничтожил все, что предложил ему Малыш. Изнуренный тяжелым трудом в последнее время, он приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно и в каком угодно количестве, нисколько не заботясь о своем пищеварении. Малыш показался ему разговорчивым, но пессимистично настроенным человеком. Кит получил от него весьма любопытные сведения о хозяевах и

выслушал мрачные предсказания относительно предстоящего путешествия. Томас Стэнли Спраг, новоиспеченный горный инженер, был сыном миллионера. Родители доктора Адольфа Стайна были также очень состоятельные люди.

— Денег у них куры не клюют, уж это я вам говорю, — продолжал Малыш. — Когда они высадились на берег в Дайе, индейцев было очень мало, и они драли по семьдесят центов за фунт. Случилась там как раз одна компания из Восточного Орегона — настоящие старатели[2], скажу вам, не нашим чета; сложились это они вместе и наняли несколько индейцев по семьдесят центов за фунт. Индейцы взялись уже за ремни, чтобы забрать снаряжение — около трех тысяч фунтов, — как вдруг появляются Спраг и Стайн. Они предложили восемьдесят центов, затем девяносто и, наконец, доллар за фунт. Ну, индейцы, разумеется, послали орегонцев к черту и побросали поклажу. И вот Спраг и Стайн добрались сюда. Плевать, что это влетело им в три тысячи! А орегонская компания, извольте видеть, до сих пор сидит на берегу. Теперь им не выбраться оттуда до будущего года.

---

[2] notes: 2

Рабочие на золотых приисках, работающие не по найму, а за свой счет.

— О, это парни хоть куда — наши с вами хозяева, когда дело касается того, чтобы обойти человека или попросту наплевать ему в лицо. Знаете ли, что они сделали, как только добрались до озера Линдерман? Плотники на берегу как раз вколачивали последние гвозди в лодку, которую они должны были сдать одной компании из Сан-Франциско за шестьсот долларов. Спраг и Стайн отвалили им тысячу, и те, не задумываясь, нарушили договор. Лодка славная, что и говорить, но это сильно подвело тех молодцов. Они перетащили сюда все свое снаряжение, а лодки-то и нет. Хочешь не хочешь, а уж придется застрять здесь до будущего года. Выпейте-ка еще чашку кофе. Поверьте, я не связался бы с этими франтами, если бы меня чертовски не тянуло в этот Клондайк. Что и говорить — подлые люди. Если им понадобится, они вытряхнут мертвого из гроба. Вы подписали с ними какой-нибудь контракт?

Кит отрицательно покачал головой.

— В таком случае, друг, мне очень жаль вас. В этой местности продовольствие ценится на вес золота, и они отправят вас на все четыре стороны, как только доберутся до Доусона. Немало народу в эту зиму перемрет там с голоду.

— Они обещали… — начал Кит.

— На словах, — резко оборвал его Малыш. — На ваши слова они ответят словами — вот и все. Ну да ладно, не так страшен черт... А как вас звать, дружище?

— Зовите меня Смок, — сказал Кит.

— Ну, Смок, вам придется здорово попотеть, несмотря на то, что у вас только словесный договор. Теперь уже ясно, что нам предстоит. Они умеют сорить направо и налево своими проклятыми деньгами, но не способны ни работать, ни хотя бы даже рано вставать с постели. Нам уже час назад следовало закончить погрузку и отчалить, а они еще и глаз не продрали. Вся тяжелая работа ляжет на нас с вами. Не беспокойтесь, скоро вы услышите, как они начнут ругаться и требовать кофе — подумайте только: эти взрослые бугаи пьют кофе в постели! Вы имеете какое-нибудь представление о лодке? Я ковбой и старатель, но на воде ни черта не стою, а они уже само собой ни аза не смыслят в этом. Ну-ка, выкладывайте, что вы знаете.

— Да не больше вашего, — ответил Кит, плотнее прижимаясь к брезенту, чтобы укрыться от бурного порыва ветра. — Последний раз я катался на лодке, когда был еще мальчишкой. Но мне думается, что мы справимся.

Ветер сорвал угол брезента и насыпал снегу за ворот Малышу.

— Да уж справишься тут поневоле, — сердито проворчал он. — Велика премудрость, подумаешь. Ребенок и тот одолеет. Но я готов отдать голову на отсечение, что мы не двинемся сегодня с места.

Было уже восемь часов, когда из палатки потребовали кофе. И прошел битый час, прежде чем хозяева выползли оттуда.

— Алло, — сказал Спраг, краснощекий, упитанный молодой человек лет двадцати пяти. — Пожалуй, уже время двигаться, Малыш. Вы с… — тут он вопросительно взглянул на Кита. — Я не разобрал вчера как следует вашего имени.

— Смок.

— Так вот, Малыш, вы с мистером Смоком можете начать грузить лодку.

— Просто Смок, без всякого мистера, — поправил Смок.

Спраг кивнул и зашагал, лавируя между палатками, в сопровождении доктора Стайна, стройного бледного молодого человека. Малыш бросил красноречивый взгляд на своего товарища.

— Там полторы с лишним тонны продоволь-

ствия, а эти лоботрясы и не подумают помочь нам. Вот увидите.

— Это потому, что они платят нам за работу, — весело заметил Кит. — Я уверен, что мы отлично справимся сами.

Перенести три тысячи фунтов на сотню ярдов — дело не легкое, но проделать это в метель, шагая по снежным сугробам, в тяжелых непромокаемых сапогах — занятие чрезвычайно утомительное и требующее немалой выносливости. Кроме того, нужно было еще свернуть палатку и уложить всякую походную мелочь. Затем началась погрузка. По мере того как лодка оседала под тяжестью снаряжения, Кит и Малыш все дальше и дальше отталкивали ее от берега, увеличивая таким образом расстояние, которое приходилось проходить по воде. К двум часам все было закончено, и Кит, несмотря на два завтрака, почувствовал, что едва держится на ногах от голода. Малыш, испытывая то же, принялся шарить по горшкам и кастрюлям и с торжеством извлек порядочный котелок холодных вареных бобов, между которыми виднелись большие ломти солонины. В их распоряжении была только одна ложка с длинной ручкой, и они по очереди погружали ее в горшок. Кит готов был поклясться, что никогда

за всю свою жизнь не ел ничего вкуснее.

— Господи, — бормотал он в редкие промежутки, когда рот его освобождался от пищи. — Только здесь, в пути, и понял, что такое аппетит.

В самый разгар пиршества к ним подошли Спраг и Стайн.

— Чего мы ждем? — недовольно осведомился Спраг. — Ведь нам давно уже пора двинуться.

Малыш — это была его очередь — зачерпнул бобы ложкой, а затем передал ее Киту, и никто из них не произнес ни единого слова, пока горшок не был очищен до дна.

— Ясно, мы тут отдыхали, — сказал Малыш, вытирая рукой рот. — Вот и выходит, что мы сидели сложа руки, а вам нечем теперь закусить. Разумеется, это непростительная небрежность с нашей стороны.

— Ничего, ничего, — быстро вставил Стайн, — мы уже поели в одной из палаток у наших друзей.

— Я так и думал, — проворчал Малыш.

— Ну, а теперь, когда вы наелись, пора трогаться, — торопил Спраг.

— Лодка уже нагружена, — сказал Малыш. — А только интересно, как вы думаете взяться за нее, чтобы отчалить?

— Да просто перелезем через борт и оттолкнем ее. Ну, идем.

Все пошли по воде. Хозяева сели в лодку, а Малыш и Смок начали отталкивать ее от берега. Когда волны стали переливаться через верхушки их сапог, они влезли тоже. Но хозяева не подумали о том, чтобы вовремя взяться за весла, и лодку снова отнесло к берегу. Так повторялось несколько раз, и каждая попытка требовала огромных затрат энергии.

Малыш, придя в полное уныние, уселся на корме, взял щепотку табаку и погрузился в мировую скорбь, в то время как Кит вычерпывал из лодки воду, а хозяева обменивались не совсем любезными замечаниями.

— Если вы исполните в точности мое приказание, мы сдвинем ее с места, — сказал Спраг.

План был недурен, но прежде чем молодой человек успел взобраться в лодку, его окатило до пояса водой.

— Придется высадиться и развести огонь, — сказал он, когда лодку снова отнесло к берегу. — Я совсем замерз.

— Теперь не время бояться насморка, — язвительно усмехнулся Стайн. — Другие же отчалили сегодня, хотя, наверное, промокли побольше ва-

шего. Теперь я займусь лодкой, и вот вы увидите, что мы сдвинем ее.

На этот раз промок Стайн и, стуча зубами, заявил, что необходимо высадиться и развести огонь.

— Чепуха, — мстительно возразил Спраг, — из-за такой ерунды не стоит задерживаться.

— Малыш, — приказал Стайн, — вытащите мой чемодан с вещами и разведите огонь.

— Малыш, я запрещаю вам делать это! — воскликнул Спраг.

Малыш переводил глаза с одного на другого, выжидая, чем кончится спор, и не двигался с места.

— Я нанял его для себя, и он должен исполнять мои приказания, — возразил Стайн. — Малыш, берите чемодан и высаживайтесь на берег.

Малыш повиновался, а Спраг, дрожа от холода, остался в лодке. Кит, не получив никаких распоряжений, спокойно наблюдал за ними, радуясь отдыху.

— Лодка, на которой царит раздор, далеко не уедет, — пробормотал он, рассуждая сам с собой.

— Что такое? — зарычал на него Спраг.

— У меня привычка разговаривать вслух с самим собой, — ответил Кит.

Хозяин бросил на него злобный взгляд и еще

несколько минут продолжал смотреть волком. Наконец он сдался.

— Вынесите мой чемодан, Смок, — приказал он, — и помогите развести огонь. Мы никуда не тронемся до завтрашнего утра.

II

На следующий день вьюга не унималась. Озеро Линдерман представляло собой не что иное, как узкое горное ущелье, заполненное водой. По этой воронке проносился порывистый, дувший с гор ветер, который то вздымал в ней огромные волны, то почти затихал.

— Если вы столкнете лодку с места, я, пожалуй, сумею отвести ее от берега, — заявил Кит, когда все было готово.

— Что вы смыслите в этом? — огрызнулся Стайн.

— Ну, как знаете, — ответил Кит и умолк.

Ему в первый раз приходилось работать по найму, но он быстро усваивал правила дисциплины. Он покорно и весело принял участие в нескольких безрезультатных попытках сдвинуть лодку.

— Что же вы собираетесь делать? — спросил его наконец Спраг, задыхаясь и чуть не плача от отчаяния.

— Сядьте все в лодку и отдыхайте, пока не настанет минута затишья, а тогда отталкивайтесь от берега что хватит сил.

Как ни была проста эта мысль, все же она пришла в голову только Киту. С первого же раза все пошло как по маслу; они прикрепили к мачте взамен паруса одеяло и понеслись по озеру. Стайн и Спраг тотчас же повеселели. Малыш, несмотря на свой беспросветный пессимизм, никогда не утрачивал бодрости, а что до Кита, то он был слишком заинтересован всем происходящим, чтобы упасть духом. Спраг около четверти часа мучился с рулем, затем бросил умоляющий взгляд на Кита, и тот сейчас же сменил его.

— Я чуть не вывихнул себе руки от напряжения, — пробормотал Спраг в оправдание.

— Ведь вы никогда не ели медвежатины, не правда ли? — сочувственно осведомился Кит.

— Что вы хотите этим сказать?

— О, ничего. Мне просто было интересно узнать.

Но когда хозяин повернулся к ним спиной, Кит увидел одобрительную усмешку на лице Малыша, отлично понявшего смысл его слов. Все время, пока они плыли по озеру, Кит с таким искусством управлял лодкой, что молодые люди, с тугими

кошельками и отвращением к труду, удостоили его звания опытного рулевого. Малышу это тоже было на руку, и он охотно предоставил заботу о лодке товарищу, взяв на себя хлопоты по кухне.

Озеро Линдерман отделялось от озера Беннет небольшим рукавом. Разгруженную лодку ввели в узкий, но бурный проток, соединявший оба бассейна, и тут Киту пришлось немало потрудиться. Зато он многому научился. Когда дело дошло до переноски груза, Спраг и Стайн куда-то исчезли, а слуги два дня работали как каторжные, чтобы переправить багаж. Та же история повторялась всякий раз, когда они попадали в затруднительное положение, — Кит и Малыш выбивались из сил, а хозяева их ровно ничего не делали и требовали ухода за собой.

Однако безжалостная полярная зима все приближалась, а путников то и дело задерживали в пути самые разнообразные препятствия. В Рукаве Ветров Стайну вдруг вздумалось сменить Кита у руля, и менее чем через час лодку выбросило на бурный подветренный берег. Они потратили целых два дня, чтобы устранить повреждения, и когда на третье утро все четверо спустились к берегу, чтобы двинуться дальше, по борту лодки от носа до кормы тянулась нацарапанная углем

надпись: Чечако.

Кит ухмыльнулся, ибо никогда еще это ненавистное слово не казалось ему более уместным.

— Еще чего, — возразил Малыш, когда Стайн заподозрил в этом деле его. — Я, конечно, грамотный, умею читать по складам и знаю, что чечако значит белоручка, а только не такой уж я ученый, чтобы написать эдакое трудное слово.

Оба хозяина в упор уставились на Кита; их жестоко оскорбила эта насмешка; но тот, конечно, и не заикнулся, что накануне вечером Малыш попросил его написать на бумажке это самое слово.

— Это задело их еще почище твоей медвежатины, — поделился с ним позднее Малыш.

Кит насмешливо фыркнул. По мере того как росла его уверенность в собственных силах, он все сильнее проникался презрением к хозяевам. Это была даже не неприязнь, а скорее отвращение. Кит попробовал медвежатины, и она пришлась ему по вкусу. Они же продемонстрировали, к чему ведет отказ от этой пищи, и благодарил Бога, что не создан по их подобию. Его раздражала не столько их придирчивость, сколько полная беспомощность и неспособность к работе. В нем, помимо воли, все больше проявлялись наследственные черты, переданные ему старым

Исааком и другими мужественными Беллью.

— Знаешь, Малыш, — сказал он однажды товарищу во время обычной суеты перед отъездом. — Я с удовольствием проломил бы им веслом головы и сбросил бы обоих в реку.

— Руку, приятель, — одобрил Малыш. — Эти молодчики не охотники до медвежатины. Они больше насчет той самой рыбки, которая водится в мутной воде. Я уверен, что внутри у них одна гниль.

III

Они подошли к порогам. Прежде всего им предстояло одолеть ущелье, прозванное Ящичным, а затем пороги Белой Лошади. Ущелье Ящичное вполне заслуживало свое название. Это был настоящий ящик-западня. Раз попав в него, нужно было пройти все его до конца: другого выхода не было. С обеих сторон поднимались стены неприступных скал. Река в этом месте сильно суживалась и с ревом прорывалась через мрачный коридор. Она мчалась с такой бешеной быстротой, что посредине вздымалась гребнем футов на восемь выше, чем у скалистых берегов. Этот гребень был увенчан злобными крутыми волнами, которые со стороны казались неподвижными,

несмотря на седые шапки пены. Это ущелье справедливо пользовалось дурной славой. И немало золотоискателей, пытавшихся пробраться через него, сложили там свои головы.

Пристав к берегу немного повыше ущелья, в том месте, где уже находилось несколько причаливших лодок, все четверо отправились пешком на разведку. Они подползли к самому краю скалы и заглянули вниз на бурлящую воду. Спраг с содроганием отшатнулся.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Никакой пловец не справится с этим течением.

Малыш многозначительно подтолкнул Кита локтем и шепнул ему:

— Животики со страху подвело. Чтоб мне провалиться, если у них хватит духу пробраться через этот Ящик.

Кит едва слышал слова товарища. С самого начала путешествия на лодке он с изумлением приглядывался к необузданной, непостижимой злобе стихий, и картина, увиденная внизу, подействовала на него как вызов.

— Надо будет во что бы то ни стало держаться гребня, — сказал он, — если мы скатимся с него, то неминуемо налетим на скалы…

— И даже не узнаем, обо что разбились, — фило-

софски изрек Малыш. — Умеешь плавать, Смок?

— Уж лучше бы не умел, если нам суждено перевернуться.

— Вот и я так же думаю, — мрачно заметил какой-то человек, заглядывая рядом с ними в ущелье. — Дорого бы я дал, чтобы оказаться уже по ту сторону.

— А я ни за что не отказался бы от попытки переправиться через эти пороги, — отозвался Кит. Он говорил искренно, но при этом хотел хоть немного подбодрить незнакомца. Он встал и направился к лодке.

— Вы собираетесь провести лодку через этот ад? — спросил незнакомец.

Кит кивнул головой.

— Хотел бы я обладать таким мужеством, — признался тот. — Я уже несколько часов торчу здесь и чем больше смотрю вниз, тем сильнее боюсь отважиться на это. Я моряк липовый, никогда не занимался этим делом, а со мной только племянник, совсем еще мальчик, да жена. Не возьметесь ли вы провести мою лодку, если вам удастся благополучно переправить свою?

Кит посмотрел на Малыша, который медлил с ответом.

— Не забудь, что с ним жена, — напомнил Кит,

успевший хорошо изучить своего товарища.

— Правильно, — заявил тот. — Над этим-то я как раз и думал. Чувствую, что есть какая-то причина, чтобы согласиться, а в чем она — хоть убей, сообразить не могу.

Они снова повернулись, чтобы идти, но Спраг и Стайн не двинулись с места.

— Желаю вам удачи, Смок, — крикнул ему вслед Спраг. — Я… э… — он запнулся. — Я постою здесь и посмотрю, как вы справитесь.

— Нужно, чтобы в лодке было трое: двое на веслах и один на руле, — спокойно сказал Кит. Спраг и Стайн переглянулись.

— Будь я проклят, если сделаю это, — заявил Стайн. — Раз вашей храбрости хватает только на то, чтобы смотреть со скалы, то и я не желаю рисковать большим.

— Уж кто бы говорил о храбрости… — вызывающе заметил Спраг.

Стайн ответил в том же тоне, и слуги оставили их в самый разгар перепалки.

— Справимся и без них, — сказал Кит товарищу. — Ты станешь с веслом на носу, а я сяду на руль. Главное, старайся держаться прямой линии. Когда мы тронемся, ты уже не сможешь слышать меня, так вот запомни: держись прямо,

середины.

Они спустили лодку и вышли на середину реки. Навстречу им из ущелья доносился грозный рев, становившийся все сильнее по мере того, как они приближались к ужасной щели западни. Река вливалась в ущелье гладкой упругой струей, напоминавшей расплавленное стекло, и тут-то, под нависшими мрачными скалами, Малыш положил в рот щепотку табаку и налег на весла. Лодка взлетела на первый гребень хребта, и их тотчас же оглушил рев бушующих волн, который гулко отражали близко надвинувшиеся стены скал. Брызги и пена заливали их с головы до ног. По временам облака распыленной воды скрывали от Кита сидевшего на носу товарища. Все путешествие заняло не более двух минут. За это время они успели сделать по хребту три четверти мили и, благополучно выйдя из ущелья, пристали к песчаному берегу.

Малыш выпустил струю табачного сока — от волнения он забыл своевременно сплюнуть его — и с восторгом воскликнул:

— Вот уж медвежатина, так медвежатина! Послушай, Смок, а ведь мы и в самом деле молодцы хоть куда. Я должен сказать тебе, дружище, по секрету, что, перед тем как двинуться в путь, я

трусил не меньше самого паршивого трусишки по эту сторону Скалистых Гор. А теперь, брат, я за медвежатину. Ну, идем, мы протащим и вторую лодку.

Возвращаясь назад пешком, они встретили на полпути своих хозяев.

— А вот идут мозгляки, — сказал Малыш. — Держись от этого запаха наветренной стороны!

IV

Кит и Малыш благополучно проделали путь во второй раз и, пристав к берегу, познакомились с женой хозяина лодки — его звали Брэк — стройной молодой женщиной; она со слезами на глазах поблагодарила их за помощь. Брэк попробовал всунуть Киту пятьдесят долларов и, получив отпор, попытался проделать это с Малышом.

— Послушайте, приятель, — возразил тот. — Я забрался в эту страну, чтобы выкачивать деньги из земли, а не из себе подобных.

Брэк порылся в своей лодке и вытащил оттуда полбутылки виски. Малыш протянул было к ней руку, но тотчас же отдернул ее. Он покачал головой.

— Там впереди нас ждет еще проклятая Белая Лошадь, а она, говорят, будет еще похуже этого

Ящика. Пожалуй, лучше воздержаться пока от горячего.

Пройдя несколько миль по течению, они высадились на берег и отправились посмотреть на Белую Лошадь. Изобиловавшая порогами река отклонялась в этом месте к правому берегу, так как слева ей преграждал путь скалистый риф. Вся масса воды бешено устремлялась в узкий проход и, грозно ускоряя свой бег, вставала на дыбы злобными пенящимися волнами. Это и была ужасная грива Белой Лошади, где смерть пожинала еще большую жатву, чем в западне Ящика. По одну сторону гривы был пенящийся засасывающий водоворот, а с другой — быстрины, и, чтобы благополучно миновать то и другое, нужно было одолеть самую гриву.

— Да, эта штука почище Ящика, — решил Малыш.

Как раз в то время, когда они разглядывали гриву, у начала порогов показалась лодка. Это было судно футов тридцати в длину, нагруженное несколькими тоннами снаряжения и управляемое шестью мужчинами. Приближаясь к гриве, оно то взлетало, то ныряло и подчас совсем скрывалось из виду в облаках пены и брызг.

Малыш искоса многозначительно взглянул

на Кита:

— Гляди, как здорово треплет, а ведь главное-то еще впереди. Они убрали весла. Вот теперь в гриве! Господи! Погибла! Нет, плывет!..

Несмотря на свои внушительные размеры, лодка совершенно скрылась из виду в вихре водяной пыли между пенистыми гребнями. Но в следующий момент она качалась уже на верхушке волны в самой гуще гривы. К своему удивлению, Кит увидел вдруг как на ладони все дно лодки; на какую-то долю секунды она повисла в воздухе, но все бывшие в ней люди остались спокойно сидеть на своих местах, кроме одного, стоявшего у руля на корме. Затем лодка нырнула вниз под гребень и снова скрылась из виду. Трижды она взлетала и ныряла таким образом. Как вдруг, в тот самый момент, когда лодка слетала с гривы, наблюдавшие с берега люди увидели, что нос ее погрузился в водоворот. Рулевой напрасно старался помешать этому, налегая всей своей тяжестью на руль; убедившись, что делу не поможешь, он сдался и дал лодке завертеться на месте.

Судно трижды описало круг, всякий раз проносясь так близко от скал, что Кит и Малыш легко могли бы перепрыгнуть в него с берега. Рулевой, мужчина с рыжеватой недавно отпущенной бо-

родкой, помахал им рукой. Единственный путь из водоворота вел через гриву, и лодка, сделав еще один круг, косо врезалась в верхний конец ее. Рулевой, опасаясь, как бы лодку не затянуло в водоворот, замешкался и недостаточно быстро выпрямил ее. Когда он это сделал, было уже слишком поздно. Лодка взлетела вверх и зарылась носом; затем, вонзившись в гриву, она перевалила через крутую стену водоворота и отлетела на другую сторону реки. На сто футов ниже всплыли ящики и тюки, затем показалось дно лодки и в воде замелькали головы людей. Двоим из них удалось выбраться на берег. Остальных затянуло в водоворот, и вскоре быстрые воды скрыли из виду все следы крушения. Наступило долгое молчание. Первым заговорил Малыш.

— Пойдем, — сказал он. — Мы достаточно насмотрелись. Можно попробовать хоть сейчас. Если мы останемся здесь дольше, я никогда не решусь на эдакий фокус.

— Что ж, придется и нам обкуриться! — усмехнулся в ответ Кит.

— И я уверен, что ты вполне оправдаешь свое имя, — заявил Малыш. — Идемте, — обратился он к хозяевам.

Быть может, рев воды помешал им расслышать

это приглашение.

Малыш и Кит побрели по колено в снегу к началу порогов и спустили лодку. Кит боролся между двумя настроениями. С одной стороны, он разделял страх своего товарища, а с другой — его подстегивало сознание, что Исаак Беллью и все остальные представители его рода не раз совершали такие подвиги в своем победоносном наступлении на Запад. То, что делали они, может сделать и он! Это было мясо — жесткое мясо, и Кит хорошо знал теперь, что по зубам оно только сильным людям.

— Теперь твой черед держаться верхушки хребта, — крикнул Малыш, запихивая в рот табачную жвачку, когда лодка, подхваченная стремительным течением, подошла к порогам.

Кит кивнул, налег всей тяжестью на руль и направил лодку на гребень волны.

Несколько минут спустя, лежа на песчаной отмели ниже Белой Лошади, Малыш выпустил струю табачного сока и пожал Киту руку.

— Мясо, мясо, — напевал он. — Мы едим его сырым! Мы едим его живым!

На берегу они встретили Брэка. Его жена стояла немного поодаль. Кит пожал ему руку.

— Боюсь, ваша лодка не справится тут. Она

много меньше нашей и не очень-то устойчива.

Вместо ответа тот вытащил пачку кредиток.

— Я заплачу каждому из вас по сто долларов, если вы переправите ее.

Кит поглядел на вздымающуюся гриву Белой Лошади. Серые сумерки медленно окутывали берег, стало холоднее, и вся местность сразу приобрела дикий и мрачный вид.

— Дело не в этом, — сказал Малыш, — не нужно нам ваших денег. Мы до них и не дотронемся. Но мой товарищ дока насчет лодок, и если уж он говорит, что ваша не безопасна, значит, так оно и есть.

Кит подтвердил это кивком головы, но в этот момент он случайно посмотрел на миссис Брэк. Взгляд ее выражал такую мольбу, какой ему еще ни разу не приходилось читать в глазах женщины. Малыш проследил за его глазами и увидел то же самое. Оба приятеля смущенно переглянулись и не произнесли ни слова. Побуждаемые одним и тем же чувством, они подали друг другу знак и направились по тропинке, которая вела к началу порогов. Не успели они пройти и ста ярдов, как навстречу им попались Спраг и Стайн, спускавшиеся вниз.

— Вы куда? — спросил Стайн.

— Переправить еще одну лодку, — ответил Малыш.

— Оставьте ваши глупости. Уже темнеет, и вы оба должны приготовить нам все для ночлега.

Возмущение Кита было так велико, что он даже не удостоил их ответом.

— С ним жена, — сказал Малыш.

— Это его дело, — возразил Стайн.

— А также мое и Смока, — заявил Малыш.

— Я запрещаю вам, — грубо крикнул Спраг. — Смок, если вы сделаете еще один шаг, я рассчитаю вас.

— А я вас, Малыш, — добавил Стайн.

— И отправитесь без нас ко всем чертям, — ответил Малыш. — Как вы доставите свою лодку, будь она проклята, в Доусон? Кто будет подавать вам в постель кофе и помогать вам чистить ноготки? Идем, Смок! Они не осмелятся рассчитать нас. Кроме того, у нас есть договор, и если они попробуют сделать это, мы заставим их кормить нас до весны.

Не успели они выплыть на середину течения, как волны начали захлестывать лодку Брэка. Правда, волны были невелики, но они служили предвестником того, что ожидало их впереди. Малыш бросил насмешливый взгляд назад и

принялся за свою неизменную жвачку, а Кит почувствовал, как в душе его закипает горячая нежность к этому толстому маленькому человечку, который, не умея даже плавать, все же не желал отступать перед грозящей опасностью.

Пороги становились все круче, и вокруг них уже появилась пена. В сгущающихся сумерках Кит увидел впереди гриву и изогнутую линию устремлявшегося в нее течения. В это течение Кит направил лодку и почувствовал удовлетворение, когда нос ее врезался в самую середину гривы. Затем все смешалось в бесконечных взлетах и нырянии под ударами злобных хлестких волн. Кит вынес из этого хаоса лишь одно воспоминание: он налег всей своей тяжестью на руль и пожалел, что дядя не может увидеть его в этот момент. Они выплыли, едва переводя дух, промокшие до костей и затопленные почти до планшира. Более легкая часть груза плавала на поверхности скопившейся в лодке воды. Несколькими осторожными взмахами весла Малыш отвел лодку от водоворота, и течение мягко пригнало ее к берегу. Миссис Брэк следила за ними сверху. Слезы градом катились по ее щекам…

— Вы должны взять деньги, ребята! — крикнул им вниз Брэк.

Малыш попробовал подняться на ноги, но поскользнулся и шлепнулся в воду. Лодка сразу сильно накренилась и зачерпнула боком, но через минуту снова выпрямилась.

— К чертям деньги! — воскликнул Малыш. — Доставайте-ка лучше виски. Теперь, когда все это позади, я чувствую, что продрог до костей. Боюсь, что насморка не миновать.

V

Утром они, как всегда, оказались в самом хвосте отправлявшихся лодок. Брэк, несмотря на неисправность своей посудины и на то, что команда его состояла только из жены и племянника, снялся со стоянки, нагрузил лодку и отчалил при первых проблесках зари. Но Стайн и Спраг не торопились; эти молодчики, казалось, не понимали, что река может стать каждую минуту. Они фокусничали, притворялись больными и всячески мешали Киту и Малышу, вдвое затрудняя их работу.

— Честное слово, я начинаю терять уважение к природе, когда смотрю на эти два недоразумения в человеческом образе, — так выразил Малыш свое отвращение к хозяевам.

— Ну, зато ты самый настоящий человек, —

усмехнулся в ответ Кит. — Чем больше я присматриваюсь к тебе, тем сильнее становится мое уважение к природе.

— Пожалуй, в этом случае она, действительно, справилась недурно, — сказал Малыш, стараясь под остротой скрыть удовольствие, которое доставил ему комплимент товарища.

Путь теперь лежал через озеро Ле-Барж, раскинувшееся перед ними на целых сорок миль. Там не было быстрых течений, и это расстояние им предстояло пройти на веслах: время попутного бриза миновало, и навстречу дул ледяной северный ветер. Он поднимал большие волны, которые затрудняли движение вперед. В довершение всех бед поднялась снежная метель, и весла стали так быстро покрываться ледяной коркой, что одному из путников пришлось взяться за топорик и специально заняться скалыванием ледяных сосулек. Когда пришла очередь сесть на весла Спрагу и Стайну, они покорились своей участи, но стали грести кое-как. Кит знал, что значит налегать всей тяжестью на весла, и хотя хозяева его делали вид, будто трудятся изо всех сил, он прекрасно понимал, что они едва задевают воду.

Проработав таким образом около трех часов, Спраг поднял свое весло и заявил, что им

необходимо вернуться обратно в устье реки и отдохнуть. Стайн поддержал его, и пройденные с таким трудом мили пропали даром. Такие же безрезультатные попытки повторились на второй и на третий день. В устье реки скопилось множество лодок, беспрерывно прибывавших со стороны Белой Лошади, и из них образовалась целая флотилия в двести с лишним судов. Каждый день к ней присоединялось еще сорок или пятьдесят новых лодок, но только две или три из них добрались до северо-западного берега озера и не вернулись обратно. Озеро начало постепенно покрываться льдом, который тонким пластом тянулся от одного водоворота к другому, образуя хрупкую ледяную цепь. Со дня на день можно было ждать полного ледостава.

— Мы, несомненно, добрались бы сегодня до того берега, будь с нами настоящие люди, а не эти лоботрясы, — сказал Кит товарищу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои мокасины, — надо же им было поворачивать обратно. Еще час — другой, и мы пристали бы к западному берегу. Это… это просто слюнявые младенцы, право.

— Верно, — согласился Малыш. Он протянул к огню свой мокасин и погрузился в короткое

раздумье. — Послушай, Смок! До Доусона еще несколько сот миль. Нужно придумать что-нибудь, если мы не хотим замерзнуть тут. Что ты скажешь?

Но Кит только выжидательно смотрел на него.

— В сущности, эти слюнтяи в наших руках, — продолжал Малыш. — Они, правда, могут приказывать нам и сорить деньгами, но все же они, действительно, не больше чем сопляки. Если мы хотим добраться до Доусона, нужно самим позаботиться об этом.

Они обменялись многозначительным взглядом.

— Идет, — сказал Кит, скрепляя договор пожатием руки.

Под утро, задолго до восхода, Малыш подал сигнал к действию.

— Вставайте! — завопил он. — Шевелитесь вы, сони! Вот ваш кофе. Живо глотайте его! Мы сейчас трогаемся в путь.

Как ни ворчали и ни плакались Спраг и Стайн, их все же заставили сесть в лодку на два часа раньше обычного. Ветер дул еще сильнее, чем накануне, и лица путников вскоре покрылись изморозью, а весла отяжелели от льда. Целых три часа все четверо выбивались из сил — один рубил

лед, другой управлял рулем, а двое гребли. Через определенные промежутки они сменяли друг друга. Северо-западный берег казался уже совсем близко, но ледяной ветер задул еще сильнее, и Спраг положил весло в знак того, что сдается. Малыш подскочил к нему, хотя отдых его еще только начался.

— Рубите лед, — сказал он, протягивая Спрагу топорик.

— Но к чему это? — заскулил Спраг. — Все равно ничего не выйдет. Нам придется вернуться.

— Нет, этого не будет, — ответил Малыш. — Мы пойдем вперед. Рубите лед, а когда вы почувствуете себя лучше, можете выругать меня.

Они прошли через адские муки холода и усталости, но все же добрались до берега; однако он оказался сплошь загроможденным обломками скал и утесами, так что пристать не было никакой возможности.

— Говорил я вам, что так будет, — захныкал Спраг.

— И словом не заикались, — возразил Малыш.

— Нужно вернуться.

Никто не произнес ни слова, и Кит направил лодку вдоль негостеприимного берега. Они подвигались вперед очень медленно, а временами

два или три удара весел только-только давали им возможность удержаться на месте. Кит прилагал все усилия, чтобы вдохнуть бодрость в малодушных молодых людей. Он напоминал им, что лодки, добравшиеся до этого берега, не вернулись назад. Значит, они пристали где-нибудь повыше. Таким образом они проработали еще несколько часов.

— Если вы приложите к веслам хоть часть той энергии, с которой набрасываетесь по утрам на свой кофе, дело будет в шляпе, — подбодрял их Малыш. — Ведь вы только возите весла по воде, а чтобы приналечь — так ни-ни.

Через несколько минут Спраг вытащил свое весло.

— Я больше не могу, — сказал он со слезами в голосе.

— Нам тоже не легко, — ответил Кит; он сам был близок к тому, чтобы заплакать или убить кого-нибудь. — Но мы все же будем работать, пока не доберемся до берега.

— Мы возвращаемся. Поверните лодку.

— Малыш, если он не хочет грести, возьми у него весло, — приказал Кит.

— Есть, — отозвался тот, — пусть рубит лед.

Но Спраг отказался передать ему весло. Стайн

тоже перестал грести, и лодку начало относить назад.

— Поворачивайте, Смок, — приказал Спраг.

И Кит, ни разу в жизни никого не обругавший, сам удивился своему азарту.

— Вы сперва отправитесь в ад ко всем чертям, — ответил он. — Ну, живо, берите весло и гребите.

В минуту полного упадка сил люди обычно сбрасывают с себя все навыки цивилизации. Такой именно момент наступил для всех четверых. Каждый из находившихся в лодке чувствовал, что дошел до последней крайности. Спраг сдернул рукавицу, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Для Кита это было совершенно новое ощущение. На него никогда еще не поднимали оружия, и теперь он к своему удивлению убедился, что вид смертоносного дула нисколько не действует на него, точно это была самая обыкновенная вещь в мире.

— Если вы не уберете револьвер, — сказал он, — я отниму его у вас и изобью вас этим самым револьвером.

— Если вы не повернете лодку, я застрелю вас, — пригрозил Спраг.

Тут вмешался в дело Малыш. Он перестал рубить лед и стал позади Спрага.

— А ну-ка, попробуйте, — сказал Малыш, помахивая топориком. — У меня давно уже руки чешутся проломить вашу дурацкую башку. Ну, валяйте же, открывайте представление.

— Но это настоящий бунт! — вмешался Стайн. — Вас наняли, чтобы вы исполняли наши приказания.

Малыш повернулся к нему.

— А с вами я разделаюсь, когда покончу с вашим товарищем, свинячья курица!

— Спраг, — сказал Кит, — даю вам ровно полминуты, чтобы убрать револьвер и взяться за весло.

Спраг заколебался, затем с истерическим смешком вложил револьвер в кобуру и согнулся над веслом.

В течение двух часов, отвоевывая дюйм за дюймом, они пробирались вдоль покрытых пеною скал, и Кита начинало уже мучить сомнение, не ошибся ли он. Но в ту минуту, когда он готов был признать себя побежденным и повернуть обратно, сбоку показался узкий проливчик — вход в защищенную бухту, где самые свирепые ветры вызывали лишь легкую рябь. Это и была та гавань, в которой укрылись лодки, отправившиеся раньше. Кит направил лодку к пологому берегу и вместе с Малышом вытащил ее на песок,

в то время как их хозяева в полной прострации лежали на дне ее. Затем оба приятеля развернули палатку, развели огонь и принялись за стряпню.

— Что значит «свинячья курица», Малыш? — спросил Кит.

— А будь я проклят, если я знаю, — последовал ответ. — Но к нему это очень подходит.

Метель постепенно стихала и ночью улеглась совсем. Морозный воздух был неподвижен; небо ясно и холодно. Чашка кофе, которую отставили, чтобы дать ей простыть, через несколько минут покрылась слоем льда в полдюйма толщиной. В восемь часов, когда Спраг и Стайн уже спали мертвым сном, завернувшись в свои одеяла, Кит отправился взглянуть на лодку.

— Ледостав в полном ходу, — заявил он, вернувшись к стоянке. — Почти весь заливчик уже затянулся ледяной корой.

— Что же нам делать?

— Выход только один. Первым, разумеется, замерзает озеро. Благодаря быстрому течению река еще несколько дней будет судоходной. Всем лодкам, которые останутся до завтра на озере Ле-Барж, придется зимовать здесь.

— Ты хочешь сказать, что нам нужно сегодня же ночью двинуться дальше? Сейчас?

Кит утвердительно кивнул головой.

— Эй вы, сони, шевелитесь, — загремел в ответ Малыш и, не долго думая, принялся срывать веревки, которыми палатка прикреплялась к колышкам.

Те проснулись, ворча и жалуясь на боль в затекших членах. Им мучительно хотелось спать, и они едва раздирали слипавшиеся глаза.

— Который час? — спросил Стайн.

— Половина девятого.

— Но ведь совсем темно, — возразил тот.

Малыш сорвал еще несколько веревок, и палатка начала оседать.

— Да не утра, а вечера, — сказал он. — Теперь вечер. Живо вставайте. Озеро замерзает. Нам нужно переправиться через него.

Стайн решительно сел. Лицо его перекосилось от раздражения.

— И пусть его замерзает. Мы не двинемся отсюда.

— Как хотите, — заявил Малыш. — В таком случае мы уедем на вашей лодке.

— Мы наняли вас…

— Чтобы доставить вас в Доусон, — прервал его Малыш. — Что же, разве мы не стараемся исполнить то, за что взялись?

Он подкрепил свой ядовитый вопрос тем, что сорвал половину палатки, приходившуюся как раз над головами хозяев.

Они проложили себе путь по тонкому льду и, выйдя из маленькой гавани, очутились в озере, где тяжелая и холодная вода замерзала на веслах при каждом взмахе. Скоро вся водная гладь покрылась салом, которое сильно затрудняло работу, и блестящие капли воды, срывавшиеся при взмахах весел, еще в воздухе превращались в сверкающие льдинки. Затем поверхность озера затянулась тонкой коркой, и лодка двигалась все медленнее и медленнее.

Впоследствии, когда Кит старался восстановить в памяти эту ночь и перед ним проходили отрывочные кошмарные воспоминания, он представлял себе, что должны были испытывать тогда Стайн и Спраг, совершенно не приспособленные к таким жестоким испытаниям! О себе он помнил только одно: он боролся с жестоким холодом и безмерной усталостью, боролся бесконечно долго, целое тысячелетие, а может быть, и дольше.

Утро застало их на середине озера; лодка стояла неподвижно. Стайн жаловался на отмороженные пальцы, Спраг — на отмороженный нос; а боль в щеках и носу убеждала Кита, что и он

пострадал не на шутку. По мере того как заря разгоралась, взор их охватывал все большее пространство, и повсюду они видели только одно — беспредельную ледяную гладь. В ста ярдах от них вырисовывался северный берег. Малыш уверял, что видит там устье реки и текущую воду. Только он и Кит были еще в состоянии работать. Они разбивали веслами лед и с трудом двигали лодку вперед. И в тот момент, когда силы готовы были изменить им, лодка вошла в быстрое течение реки. Оглянувшись, они увидели несколько лодок, всю ночь пробивавшихся по льду вслед за ними и теперь безнадежно застрявших на озере. Их же подхватило течение, и они понеслись вперед со скоростью шести миль в час.

VI

День за днем плыли они по быстрой реке, и день за днем полоса льда у берегов становилась все шире, приближаясь к середине реки. Устраиваясь на ночь, они вырубали во льду полынью для лодки и переносили все необходимое для стоянки на берег, который отделяли теперь от воды несколько сот ярдов льда. Утром же они прорубали лед, образовавшийся за ночь вокруг лодки, и снова направлялись по течению. Малыш

ухитрился поставить в лодке железную печурку, и Стайн и Спраг не отрывались от нее в продолжение долгих томительных часов плавания. Они смирились, перестали отдавать приказания и мечтали только об одном — поскорее добраться до Доусона. Малыш, настроенный как всегда пессимистично, но неутомимый и бодрый, постоянно мурлыкал первый куплет песни, продолжение которой он позабыл. И чем холоднее становилось, тем чаще он напевал:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы бредем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном…

Проходя мимо устьев реки Хуталинквы и рек Большого и Малого Лососей, они увидели, что и эти несут в Юкон ледяное сало. Оно скоплялось вокруг лодки и налипало на весла. Теперь им приходилось прорубать лед по вечерам, чтобы выйти из течения, и наутро снова скалывать его, чтобы вывести лодку на середину реки.

В последнюю ночь они устроили стоянку между реками Белой и Стюарт. Проснувшись рано утром, они увидели, что широкий, в полмили, Юкон превратился в узкую белую ленту между

обросшими льдом берегами. Малыш проклял вселенную — на этот раз без обычной изысканности — и посмотрел на Кита.

— Наша лодка, несомненно, будет последней из тех, что придут в Доусон, — сказал Кит.

— Но ведь воды совсем не видно, Смок.

— Что ж, придется проламывать лед. Идем!

Стайн и Спраг тщетно пытались протестовать — их безжалостно водворили в лодку. В продолжение получаса Кит и Малыш, работая топорами, старались прорубить путь к быстрому, но надежному течению. Когда им удалось, наконец, выбраться из прибрежного льда, плавучие льдины прогнали лодку на несколько сот ярдов вдоль берега, сорвав при этом половину одного из планширов и нанеся еще кое-какие повреждения. У нижнего края излучины они попали, наконец, в течение, которое понесло их к середине реки. Сало к тому времени успело уже смениться крепкими льдинами и сохранилось только в промежутках между отдельными глыбами льда. Однако и там оно быстро твердело, превращаясь на глазах в крепкую массу. Отталкивая льдины веслами и иногда вылезая на них, чтобы провести лодку, путники, проработав добрый час, вывели свое судно на середину реки. И через пять минут

после этого лодка примерзла ко льду. Вся река останавливалась на ходу. Льдина примерзала к льдине, и лодка, застряв посреди огромной глыбы, поплыла вместе с ней. Подчас они шли боком, подчас их поворачивало кормой вперед, и тогда льдины расступались перед ними только для того, чтобы через минуту сомкнуться еще более плотной массой. Проходили томительные часы, а Малыш поддерживал в печке огонь, варил еду и мурлыкал свою неизменную боевую песенку.

Настала ночь. После долгих тщетных попыток они отказались от мысли привести лодку к берегу и, в состоянии полной беспомощности, отдались на волю реки, подвигаясь вперед в полной темноте.

— А что если мы проскочим мимо Доусона? — спросил Малыш.

— Что же, вернемся обратно, — ответил Кит, — если только нас не сотрет до тех пор в порошок.

Небо было чистое, и при свете холодных мигающих звезд они улавливали мрачные очертания гор, поднимавшихся с обеих сторон. В одиннадцать часов снизу донесся глухой скрипучий звук. Лодка стала постепенно замедлять ход, и льдины начали с треском налезать друг на друга, все теснее окружая ее. Река замерзла. Одна из льдин

взгромоздилась на глыбу, в которой застряла их лодка, и снесла один из бортов. Судно не потонуло только потому, что его тут же задержали другие льдины, но на мгновение они все же увидели под собой, на расстоянии какого-нибудь фута, черную полосу воды. Однако через полчаса река снова собралась с силами и тронулась. Целый час она мужественно сопротивлялась грозной мощи полярного холода и, обессилев, остановилась во второй раз. Затем еще раз ей удалось вырваться из оков льда, и она с неистовым грохотом и треском понеслась вперед в диком стремительном беге. На этот раз они увидели огни на берегу, и в тот же момент река сдалась окончательно и стала на шесть месяцев.

В Доусоне на берегу собралось несколько любопытных, чтобы посмотреть, как замерзает река, и из темноты к ним донесся воинственный напев Малыша:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы бредем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

VII

Три дня Кит и Малыш перетаскивали на берег полторы тонны снаряжения. Они складывали его в деревянной хижине, которую их хозяева купили на склоне горы, поднимавшейся над Доусоном. К вечеру третьего дня, когда работа была закончена, Спраг, сидя в теплой хижине, подозвал к себе Кита. Снаружи градусник показывал шестьдесят пять ниже нуля.

— Ваш месяц еще не кончился, Смок, — сказал хозяин. — Но вот вам полностью ваше месячное жалованье. Желаю вам удачи.

— А как же наше условие? — спросил Кит. — Вы знаете, что здесь теперь голод. Человек, у которого нет своего продовольствия, не может получить работы даже на приисках. Ведь мы условились…

— Ни о каких условиях и речи не было, — перебил его Спраг. — Не правда ли, Стайн? Мы наняли вас помесячно. Вот ваше жалованье. Напишите расписку в получении.

Руки Кита невольно сжались в кулаки, и кровь прилила к голове. Оба хозяина отскочили от него. До этой минуты Кит никогда не поднимал руки на человека, но тут он почувствовал, что способен превратить Спрага в лепешку, и эта уверенность

удержала его.

Малыш заметил волнение товарища и поспешил вмешаться.

— Послушай, Смок, я тоже не желаю больше путешествовать с таким поганым грузом. Теперь самое время бросить этих молодчиков. Давай работать вместе. Идет? Ну, забирай свои одеяла и валяй в «Элькгорн». Жди меня там. Я должен привести здесь в порядок свои дела: получить то, что мне причитается, и отдать то, что им причитается. На воде я мало чего стою, но когда под ногами твердая почва, Малыш в грязь лицом не ударит.

Через полчаса Малыш явился в «Элькгорн». По его окровавленным пальцам и расцарапанной щеке можно было смело заключить, что он отдал Спрагу и Стайну то, что им причиталось.

— Эх, посмотрел бы ты теперь, что творится в их хижине, — с торжеством рассказывал он, стоя с Китом у стойки бара. — Мало сказать, что там все вверх ногами. Пари держу, что ни один из них целую неделю не высунет на улицу носа. Наше дело теперь ясное. Продовольствие в среднем стоит сейчас полтора доллара фунт. Никакой работы нам не дадут, пока мы не обзаведемся собственным продовольствием. Лосиное мясо продается на рынке по два доллара за фунт, да и то его не

достать. У нас достаточно денег, чтобы прокормиться месяц и приобрести все необходимое для охоты — давай-ка заберемся поглубже в бассейн Клондайка. Если нам не удастся встретить лосей, мы пристанем к индейцам и проживем зиму с ними. Но если через шесть недель у нас не будет пяти тысяч фунтов лосятины, я готов вернуться к нашим хозяевам и извиниться перед ними. Идет?

Они пожали друг другу руку. Но тут Кит замялся.

— Я ни черта не смыслю в охоте, — сказал он.

Малыш поднял свой стакан.

— Зато ты знаешь толк в медвежатине; а всему остальному я тебя научу.

На Бабий ручей

I

Спустя два месяца Смок Беллью и Малыш, вернувшись с охоты на лосей, снова очутились в салуне «Элькгорн» в Доусоне. Охота была закончена, мясо доставлено в город и продано по два с половиной доллара за фунт; оба приятеля, таким образом, оказались обладателями трех тысяч долларов золотым песком и славной упряжки собак. Им очень повезло. Несмотря на то, что толпы золотоискателей загнали дичь за сотню миль в горы, им удалось на полпути от города подстрелить в узком ущелье четырех лосей.

Появление лосей в такой близости от жилья было так же удивительно, как и счастье наших охотников, ибо в тот же самый день Смок и Малыш встретили на пути четыре голодные индейские семьи, которым уже три дня не попадалось никакой дичи. Друзья дали им мяса за полумертвых от голода собак и в продолжение недели откармливали животных; затем запрягли их и повезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона.

Теперь задача заключалась в том, чтобы превратить золотой песок в продовольствие. Фунт муки или бобов стоил на рынке полтора доллара, но и за эту цену трудно было найти желающего продать их. В Доусоне царил настоящий голод. Сотни людей, с деньгами, но без продовольствия, покидали страну. Многие отправились вниз по реке перед самым ледоставом, а еще больше золотоискателей, обладавших кое-какими жалкими запасами, прошли шестьсот миль по льду в Дайю.

В жарко натопленном салуне Смок встретил Малыша. Тот ликовал.

— Жизнь ни черта не стоит без виски и сахара! — с таким приветствием встретил товарища Малыш, срывая с подтаявших усов ледяные сосульки и бросая их на пол. — А я как раз раздобыл целых восемнадцать фунтов сахара. Дуралей продавец спросил всего по три доллара за фунт. А как твои дела?

— Я тоже не зевал, — гордо ответил Смок. — Мне удалось купить пятьдесят фунтов муки. А один человек с Адамова ручья пообещал доставить мне завтра еще пятьдесят.

— Славно! Теперь мы несомненно продержимся до тех пор, пока вскроется река. Послушай,

Смок, наши-то псы, оказывается, просто клад. Скупщик собак предложил мне тысячу долларов за пять штук, по двести за каждую. Я сказал ему, что дело не пойдет. А все-таки сердце болит, когда скармливаешь псам пищу по два с половиной доллара за фунт. Ну-ка выпьем, товарищ. Я хочу вспрыснуть эти восемнадцать фунтов сахара.

Через несколько минут, когда отвешивали на весах из его мешка золотой песок за выпитое, Малыш вдруг хлопнул себя по лбу.

— Совсем из головы вон, что у меня назначено в «Тиволи» свидание с одним человеком. У него есть испорченная свинина, которую он собирается продать мне по полтора доллара за фунт. Мы сможем кормить ею собак и сэкономим таким образом по доллару в день на каждой кормежке. Ну, до свидания, до скорого.

— До скорого, — ответил Смок. — Я загляну в хижину и вернусь сюда.

Не успел Малыш выйти, как в салун вошел закутанный в меха человек. Лицо его просияло при виде Смока, это был Брэк, тот самый золотоискатель, чью лодку они переправили через Ящичное ущелье и пороги Белой Лошади.

— Мне сказали, что вы в городе, — торопливо заговорил Брэк, пожимая Смоку руку. — Я уже

полчаса ищу вас повсюду. Выйдем на улицу, мне нужно поговорить с вами.

Смок кинул грустный взгляд на гудящую, раскаленную докрасна печь.

— А нельзя ли здесь?

— Нет. Это чрезвычайно важно. Идемте.

Когда они вышли, Смок снял одну из своих рукавиц, зажег спичку и посмотрел на градусник, висевший снаружи на дверях. Он поспешно сунул в варежку обнаженную руку, словно мороз обжег ее. Над головой пламенело северное сияние, а со всех концов Доусона доносился мрачный вой тысяч голодных собак.

— Сколько он показывает? — спросил Брэк.

— Шестьдесят ниже нуля[3]. — Кит плюнул для проверки, и слюна тотчас же замерзла в воздухе. — А ртуть и не думает останавливаться. Она падает все ниже и ниже. Час назад термометр показывал пятьдесят два. Если разговор будет о том, чтобы двинуться на новые прииски, то об этом лучше не говорить.

— Вот именно об этом, — прошептал Брэк, боязливо оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их. — Вы слыхали о Бабьем ручье? Он

---

[3] notes: 3
По Фаренгейту.

вливается в Юкон по ту сторону, на тридцать миль выше.

— Там нечего делать, — заявил Смок. — Его весь перерыли уже много лет назад.

— Но ведь то же самое было и с другими богатейшими ручьями. Поверьте мне. Это замечательное дело. Россыпи всего на глубине от восьми до двадцати футов. Там нет такого участка, в котором лежало бы меньше полумиллиона. Это величайшая тайна. Два близких друга посвятили меня в это дело. Я сказал жене, что должен непременно разыскать вас, прежде чем двинуться в путь. Ну, до свиданья. Мое снаряжение спрятано на берегу. Дело в том, что друзья взяли с меня слово не трогаться в путь, пока весь Доусон не заснет крепким сном. Ведь вы знаете, что произойдет, если кто-нибудь увидит вас со снаряжением. Возьмите своего товарища и следуйте за нами. Можете занять четвертый или пятый участок от Пробного. Не забудьте же: Бабий ручей, это третий после Шведского ручья.

II

Войдя в маленькую хижину на склоне горы, Смок услышал громкий знакомый храп.

— Л-у-у — ложись-ка, брат, спать, — пробормо-

тал Малыш, когда товарищ начал трясти его за плечо. — Я сегодня не дежурный, — заявил он через минуту. — Обратись к буфетчику в баре.

— Живо напяливай свой мундир, — сказал Смок, — мы отправляемся сейчас же; нужно занять два участка.

Малыш сел и начал ругаться. Смок прикрыл ему рот рукой.

— Шш… — предостерег он, — это замечательное дело. Не буди соседей. Весь Доусон спит.

— Да уж, разумеется. Разве бывают не замечательные дела! И, конечно, смертельная тайна. Удивительно, право, как все попадаются на одну и ту же удочку!

— Бабий ручей, — прошептал Смок. — Дело верное. Мне сообщил о нем Брэк. Очень мелкое ложе. Золото залегает чуть не под ногами. Ну, шевелись же. Мы соберемся налегке и двинемся в путь.

Глаза Малыша закрылись, и он снова захрапел. В следующий момент Смок сдернул с него одеяло и бросил его на пол.

— Если ты не желаешь поддержать компанию, я ухожу один, — заявил он.

Малыш последовал за одеялом и начал одеваться.

— Собак возьмем? — спросил он.

— Нет. Дорога к ручью не протоптана, и мы быстрее справимся без них.

— В таком случае я задам им корму, чтобы хватило до нашего возвращения. Не забудь захватить с собой березовой коры и свечку.

Малыш открыл дверь и, почувствовав жало мороза, отскочил назад, поспешно опуская наушники и натягивая рукавицы.

Через пять минут он вернулся, изо всех сил растирая нос.

— Смок, я решительно против этой прогулки. На улице холоднее, чем было в преисподней за тысячу лет до того, как там развели первый огонь. Кроме того, сегодня пятница и тринадцатое число — все данные за то, что мы останемся с носом.

Привязав за спину легкие походные мешки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние уже не играло на потемневшем небе, и только звезды мигали в застывшем воздухе, сбивая с пути своим неверным светом. Малыш свернул с тропинки, провалился в глубокий снег и начал громко ругаться, проклиная число, день, месяц и год, когда он родился.

— Перестань, пожалуйста, и оставь календарь в покое. Ты поднимешь на ноги весь Доусон и направишь его по нашим следам.

— Гм! А видишь свет вон в той хижине, и в той, и там дальше? А слышишь, как хлопнула дверь? О, разумеется, Доусон спит. Огни? Просто люди хоронят своих покойников. Они и не думают отправляться за золотом, совсем забыли о нем.

Когда они спустились к подножию холма и вошли в самый город, во всех хижинах уже мелькали огни, повсюду хлопали двери, а сзади слышался скрип множества мокасинов по плотно утоптанному снегу. Малыш снова пустился в рассуждения:

— Чертовски много покойников в этом городе.

Они прошли мимо человека, стоявшего у края дороги. Он тревожно звал кого-то вполголоса:

— Чарли, а Чарли? Да шевелись же ты!

— Заметил мешок у него на спине, Смок? Кладбище-то, должно быть, здорово далеко, если провожающим приходится брать с собой одеяла.

Когда они вышли на главную улицу, за ними тянулся уже хвост в несколько сот человек, и, пробираясь при неверном свете звезд к берегу, они слышали со всех сторон топот человеческих ног, спешивших вслед за ними. Малыш поскользнулся и слетел с высоты тридцати футов в рыхлый снег. Смок последовал за ним, сбив его снова в тот момент, когда тот поднимался на ноги.

— Я нашел первый, — фыркнул Малыш, снимая свои рукавицы, чтобы отряхнуть с них снег.

А через минуту они делали отчаянные усилия, чтобы выкарабкаться из-под груды тел, посыпавшихся на них сверху. Во время ледостава в этом месте образовался затор, и нагроможденные друг на друга льдины были теперь коварно прикрыты слоем снега. Перекувыркнувшись несколько раз, Смок зажег свечу. Люди, шедшие позади, приветствовали свет громкими криками. Свеча ярко горела в неподвижном воздухе, и путники пошли быстрее.

— Это несомненно поход за золотом, — решил Малыш, — если только все они не лунатики.

— Во всяком случае, мы во главе шествия, — ответил Смок.

— Ну, как знать? Вон там впереди, кажется, светлячок. А может, это все светлячки — вон там, и там, и там. Погляди-ка! Нет, уж поверь мне, дружище: впереди немало таких же умных, как мы.

Чтобы перебраться на западный берег Юкона, нужно было пройти целую милю по нагроможденным льдинам, и свечки мигающей цепью тянулись во всю длину извилистой тропинки. А позади, до самой вершины горы, с которой они только что спустились, мерцали такие же путе-

водные огоньки.

— Послушай, Смок, это уже настоящий «исход». Впереди нас, должно быть, добрая тысяча, а позади никак не меньше десяти. Послушай разок своего дядюшку, дружок, нюх у меня на этот счет замечательный. Уж если я почую неладное, так оно и будет. Мы напрасно впутались в эту историю. Повернем-ка домой и завалимся на боковую.

— Ты бы лучше поберег свои легкие, если собираешься дойти до конца, — грубо оборвал его Смок.

— Не беспокойся. Хотя ноги у меня короткие, но ходок я заправский и не боюсь никакой усталости. Будь уверен, что ни один из этих молодцов не обгонит меня на льду.

И Смок знал, что это правда; он успел убедиться в феноменальной выносливости своего товарища.

— А я нарочно стараюсь идти медленнее, чтобы ты не отстал, — поддразнил он Малыша.

— Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки, — огрызнулся тот. — Если ты не можешь идти быстрее, так пусти меня вперед, я, пожалуй, поучу тебя, как это делается.

Смок ускорил шаг и вскоре поровнялся с кучкой

золотоискателей.

— Ну-ка, Смок, разведи пары, — поощрял его товарищ. — Обгони-ка этих непогребенных покойников. Тут тебе, брат, не похороны. Живо! Чтобы в ушах засвистело!

Смок насчитал в этой группе восемь мужчин и двух женщин; не успели товарищи перебраться через нагроможденные льдины, как обогнали другую партию — двадцать рослых мужчин. На расстоянии нескольких футов от западного берега тропа сворачивала к югу и тянулась дальше по гладкому ледяному полю. Лед, однако, был покрыт слоем снега в несколько футов толщиной. Этот великолепный санный путь перерезала узкая лента утоптанной пешеходами тропинки шириной в два фута. По обеим сторонам ее поднимались снежные сугробы, в которых люди тонули по колено, а то и выше. Пешеходы, которые шли впереди, очень неохотно уступали дорогу, и Смоку с товарищем часто приходилось сворачивать в глубокий снег и с величайшим трудом обходить их.

Настроение Малыша оставалось мрачным и непримиримым. Когда золотоискатели бранились, не желая пропускать их вперед, он отвечал им в том же духе.

— Куда это вы торопитесь? — спросил один из них.

— Туда же, куда и вы, — ответил Малыш. — Только не везет вам. Вчера туда прошла целая орава золотоискателей с Индейской реки. Они доберутся раньше вашего и не оставят вам ни одного свободного участка.

— Если так, то чего же вы порете горячку?

— Кто? Я? Я не золотоискатель. Я по казенному делу, правительство послало, вот и тащусь на этот проклятый Бабий ручей, чтобы произвести перепись.

Другой весело приветствовал Малыша:

— Эй, малютка, куда собрался? Неужели ты и впрямь надеешься занять участок?

— Я? — ответил Малыш. — Я-то и открыл Бабий ручей. Теперь я сделал заявку и возвращаюсь обратно, чтобы какой-нибудь проклятый чечако не зажилил мой участок.

В среднем, идя по ровному месту, золотоискатели проходили в час три с половиной мили. Но Смок и Малыш делали по четыре с половиной, а временами пускались бегом и продвигались еще быстрее.

— Я решил совсем загнать тебя, Малыш, — подразнивал товарища Смок.

— Что же, посмотрим — кто кого. Боюсь, как бы твои мокасины не протерлись раньше времени. Хотя, сказать правду, торопиться-то не для чего. Я вот все думаю. Каждая заявка на ручье должна иметь не меньше пятисот футов. Скажем, по десять участков на милю. Впереди нас тысячи золотоискателей, а речонка не длиннее ста миль. Кому-нибудь придется получить шиш, и мне почему-то кажется, что это будем мы с тобой.

Прежде чем ответить, Смок вдруг прибавил шагу и опередил Малыша на десяток футов.

— Если бы ты поберег дыхание и перестал скулить, мы, пожалуй, обогнали бы кое-кого из этой тысячи, — заявил он.

— Кому ты это говоришь? Мне? Да если бы ты пустил меня вперед, я давно показал бы тебе, что значит настоящая ходьба.

Смок рассмеялся и снова опередил товарища. Все это приключение представлялось ему теперь в совершенно ином свете. В голове его вертелась фраза безумного философа: «переоценка ценностей». В сущности, его не столько интересовал в этот момент вопрос о богатстве, сколько желание во что бы то ни стало победить Малыша в ходьбе. «В общем, — рассуждал он, — не так привлекателен выигрыш, как сам процесс игры». Его мозг,

мускулы, выдержка, его душа принимали участие в этом состязании с Малышом — человеком, который никогда не заглядывал в книгу, не мог отличить оперы от легкой салонной пьесы или эпоса от газетного фельетона.

— Берегись, Малыш, не сдобровать тебе. С тех пор, как я высадился на берег в Дайе, все клеточки моего организма просто переродились. Теперь мои мускулы гибки, как ремни бича, коварны и жестоки, как жало гремучей змеи. Всего несколько месяцев назад я с удовольствием написал бы эти слова, но тогда они не пришли бы мне в голову. Для этого нужно было сначала вжиться в них; а теперь, когда они сделались реальностью, я не чувствую никакой потребности изображать их на бумаге. Теперь я настоящий человек, закаленный, прожженный до мозга костей. Пусть-ка попробует кто-нибудь из этих чертовых горцев задеть меня — я ему вдвое насыплю. Ну а теперь — ступай-ка ты вперед на полчасика и покажи свою прыть, а когда настанет мой черед, я покажу тебе, что значит идти быстро.

— Послушай-ка его, — весело усмехнулся Малыш. — С кем ты состязаться-то вздумал? Ну-ка, пропусти своего папашу, сынок, — он покажет тебе, как ходят мужчины.

Через каждые полчаса они сменяли друг друга, по очереди устанавливая рекорд скорости. Говорили они мало. Быстрота движения согревала их, хотя дыхание замерзало на лицах, покрывая инеем губы и подбородок. Мороз был так силен, что им почти беспрерывно приходилось растирать рукавицами нос и щеки. Как только они опускали руки, открытые части лица тотчас же немели и требовалась удвоенная энергия, чтобы вызвать острое покалывание — признак восстанавливающегося кровообращения.

Часто приятелям казалось, что впереди уже никого нет, но всякий раз они натыкались на новые партии золотоискателей, вышедших из Доусона значительно раньше. Случалось, что некоторые из них делали попытку идти в ногу со Смоком и его товарищем, но, пройдя одну-две мили, неизменно отставали и исчезали в темноте.

— Мы с тобой немало пространствовали нынешней зимой, а эти неженки отлежали себе все бока в теплых хижинах да туда же — думают угнаться за нами. Если бы еще это были настоящие мужчины! Ведь настоящий мужчина прежде всего должен быть силен в ходьбе.

Раз как-то Смок зажег спичку и взглянул на часы. Больше он не повторял этого; как ни быстро

было движение его обнаженных рук, прошло целых полчаса, прежде чем ему удалось привести их в нормальное состояние.

— Четыре часа, — сказал он, натягивая рукавицу, — а мы обогнали уже человек триста.

— Триста тридцать восемь, — поправил Малыш. — Я считал все время. Эй, приятель, пропусти-ка. Дай пройти тому, кто смыслит в этом деле побольше твоего.

Человек, к которому относились эти слова, был, по-видимому, измучен до крайности и, спотыкаясь, тащился по дороге, загораживая им путь. Этот да еще один такой же путник были единственными неудачниками, которые попались им на пути; теперь они были очень близко от головной части потока золотоискателей. Только спустя много дней они узнали о всех ужасах этой ночи. Выбившиеся из сил люди присаживались отдохнуть на краю дороги и уже больше не вставали. Семеро замерзли насмерть, а нескольким десяткам выживших ампутировали в Доусоновской больнице пальцы, ступни и руки. Ночь великого похода на Бабий ручей была одной из самых холодных в ту зиму. Перед рассветом спиртовые градусники в Доусоне показывали семьдесят ниже нуля, а люди, участвовавшие в «походе»,

были, за малыми исключениями, новички, не привыкшие к таким холодам.

Второго выбывшего из строя человека они заметили несколько минут спустя, при вспышке северного сияния, которое, подобно прожектору, прорезало по временам небо от горизонта до зенита. Человек этот сидел у дороги на глыбе льда.

— Эй, тетка, вставай! — весело окликнул его Малыш. — Ну-ка, поживее! Если будешь эдак присаживаться, мороз живо скрутит тебя.

Человек ничего не ответил, и они остановились, чтобы узнать, что с ним.

— Тверд, как кочерга, — заявил Малыш. — Если уронить его — разобьется вдребезги.

— Посмотри, дышит ли он? — сказал Смок, стараясь в то же время прощупать сквозь мех и шерстяные фуфайки сердце несчастного.

Малыш поднял один из наушников и приложил ухо к заледеневшим губам.

— Не дышит, — доложил он.

— И сердце не бьется, — сказал Смок.

Он надел рукавицы и начал с ожесточением бить одну руку о другую. Согрев руки, он опять снял рукавицу и зажег спичку. Перед ними был старик, без всякого сомнения, мертвый. В тот момент, когда спичка вспыхнула, они увидели

длинную седую бороду, покрытую до самого носа ледяными сосульками, побелевшие щеки и плотно закрытые глаза с бахромой инея на месте ресниц. Спичка погасла.

— Ну, идем, — сказал Малыш, растирая ухо. — Мы ничего не можем сделать для старика. А я, кажется, отморозил себе ухо. Теперь вся кожа, чтоб ей провалиться, начнет слезать, и целую неделю будет чертовская боль.

Через несколько минут, когда пылающая лента северного сияния залила огнем все небо, они увидели впереди себя на расстоянии четверти мили две человеческие фигуры. Дальше на целую милю не было заметно никакого движения.

— Эти впереди всех, — сказал Малыш, когда снова воцарилась темнота. — Ну-ка, брат, догоним их.

Но прошло полчаса, а фигуры все еще были впереди. Малыш пустился бегом.

— Если мы и догоним их, то перегнать уж во всяком случае не удастся, — задыхаясь произнес он. — Ну, и жарят же, черт бы их побрал. Голову дам на отрез, что это не чечако. Будь уверен, что это самые настоящие старожилы.

Когда они, наконец, нагнали их, Смок оказался как раз впереди и с удовольствием пошел с ними

в ногу. Почти сразу у него явилась уверенность, что человек, идущий рядом с ним, — женщина. Он сам не мог бы сказать, откуда взялась у него эта уверенность. Закутанная в меха, темная фигура ничем не отличалась от всех других; однако Смоку почудилось в ней что-то знакомое. Он подождал следующей вспышки сияния и при свете его разглядел маленькие, обутые в мокасины ноги. Но он увидел еще больше — походку. И тотчас же узнал ту самую походку, которую решил однажды никогда не забывать.

— Ну и шагает же, — хриплым голосом произнес Малыш. — Держу пари, что это индианка.

— Как поживаете, мисс Гастелл? — спросил Смок.

— Благодарю вас, — ответила она, быстро повернув голову и окидывая его недоумевающим взглядом. — Слишком темно, я ничего не вижу. Кто вы?

— Смок.

Она рассмеялась на морозном воздухе, и он тотчас же решил, что никогда не слышал такого очаровательного смеха.

— Ну, что же, женились вы, как обещали мне тогда? Много ли успели наплодить ребят?

Но прежде чем он собрался ответить, она спро-

сила:

— Сколько там чечако позади нас?

— Должно быть, несколько тысяч. Мы обогнали больше трехсот, и они здорово торопились.

— Старая история, — ответила она с горечью. — Новички забирают себе богатейшие участки, а старожилы, которые явились в эту страну первыми, страдали здесь и мучились, остаются ни с чем. Это старожилы открыли Бабий ручей (как пронюхали об этом чечако, совершенно непонятно!) и сейчас же дали знать старожилам с Львиного озера. Но озеро это находится в десяти милях от Доусона, и пока те доберутся до ручья, все будет уже занято доусоновскими чечако. Это несправедливо возмутительно!

— Да, это очень плохо, — посочувствовал ей Смок. — Но будь я проклят, если знаю, как вы можете помешать этому. Кто первый пришел, тот первый и взял.

— Я была бы счастлива, если бы могла что-либо изменить, — горячо отозвалась мисс Гастелл. — Пусть бы они все замерзли в дороге! О, как бы я хотела, чтобы их задержало какое-нибудь ужасное происшествие, пока старожилы с Львиного озера не доберутся до ручья!

— Вы, видно, очень не любите нас? — рассме-

ялся Смок.

— Не в этом дело, — быстро ответила она. — Я знаю каждого из обитателей Львиного озера и могу сказать, что это настоящие мужчины. Они голодали в этом краю и титанически работали, чтобы сделать жизнь здесь мало-мальски сносной. Я пережила вместе с ними тяжелые дни на Коюкуке, когда была еще девочкой; пережила голодовку на Березовом ручье и на Сороковой Миле. Это настоящие герои, и они имеют право на награду, а между тем тысячи зеленых молокососов оказываются теперь на много миль впереди них. Ну, я умолкаю. Нужно беречь дыхание, потому что вы и ваша компания того и гляди обгоните отца и меня.

В течение часа Джой и Смок не обменялись ни единым словом. Девушка о чем-то вполголоса переговаривалась с отцом.

— Теперь я узнал их, — сказал Малыш Смоку. — Это старый Льюис Гастелл, молодчина хоть куда. А девушка, должно быть, его дочка. Он пришел сюда так давно, что никто и не помнит точно, когда это было, и привез с собой девочку, тогда еще совсем крошку. Они с Битлсом работали вместе и пустили первый маленький пароходишко по Коюкуку.

— Знаешь что, не стоит обгонять их, — сказал Смок, — мы и так впереди всех, а нас только четверо.

Малыш согласился, и они час быстро подвигались вперед в полном молчании. В семь часов северное сияние в последний раз прорезало темноту, и они увидели на западе широкий проход между покрытыми снегом горами.

— Бабий ручей! — воскликнула Джой.

— Ну и молодцы же мы, — ликовал Малыш. — По моему расчету, нам по крайней мере нужно было идти еще добрых полчаса. Здорово, видно, я растянул себе ноги.

Как раз в этом месте дорога из Дайи, заваленная нагромоздившимися друг на друга льдинами, круто сворачивала через Юкон к восточному берегу, и с хорошо укатанной главной тропы они перебрались через затор льдин на узкую, едва заметную тропинку, идущую вдоль западного берега.

Льюис Гастелл, указывавший путь, споткнулся в темноте о льдину и опустился на снег, ухватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и попробовал двинуться дальше, но шаг его сильно замедлился, и он стал заметно прихрамывать. Через несколько минут

он остановился.

— Все равно ничего не выйдет, — сказал он дочери. — Я растянул себе сухожилие. Иди вперед и займи участки для себя и для меня.

— Не можем ли мы чем-нибудь помочь вам? — спросил Смок.

Льюис Гастелл покачал головой.

— Ей все равно, сделать ли одну заявку или две. А я доползу до берега, разведу огонь и перевяжу лодыжку. Не беспокойтесь обо мне. Иди, Джой. Займи для нас участки повыше Пробного. Чем выше по реке, тем богаче россыпи.

— Вот вам немного березовой коры, — сказал Смок, разделив свой запас поровну. — Мы позаботимся о вашей дочери.

Льюис Гастелл рассмеялся хриплым смехом.

— Благодарю вас, — сказал он. — Но она и сама может позаботиться о себе. Идите за ней следом и не упускайте ее из виду.

— Вы ничего не будете иметь против, если я пойду вперед? — спросила она Смока. — Ведь я знаю эту местность лучше вас.

— Ведите, — галантно ответил Смок. — Хотя я совершенно согласен с вами, что нам, чечако, не следовало бы обгонять компанию с Львиного озера. Это просто возмутительно. Нельзя ли нам

как-нибудь отделаться от этих доусоновских молодцов?

Она покачала головой.

— Не можем же мы скрыть свои следы, — сказала девушка, — а они обязательно пойдут за нами, как стадо баранов.

Пройдя с четверть мили, Джой вдруг круто повернула на запад, и Смок заметил, что они идут по девственному снегу. Однако ни он, ни Малыш не обратили внимания на то, что узкая тропинка, по которой они шли до сих пор, вела дальше к югу. Если бы они могли видеть, что делал в этот момент Льюис Гастелл, история Клондайка, пожалуй, была бы написана иначе: они увидели бы, как этот старожил, сразу перестав хромать, побежал следом за ними, точно гончая собака; увидели бы, как он принялся расширять и утаптывать тропинку, которую они проложили, свернув на запад, и наконец помчался дальше по прежней узкой тропинке, направлявшейся к югу. Но ничего этого они не видели, а потому продолжали спокойно идти следом за Джой. Тропинка к ручью была едва намечена, и путники то и дело теряли ее в темноте. После четверти часа блуждания по снегу Джой Гастелл выразила желание идти сзади и предоставила мужчинам прокла-

дывать дорогу. Задержка передовых позволила всей остальной массе золотоискателей нагнать их, и когда часам к девяти рассвело, они увидели за собой, насколько хватал глаз, бесконечную вереницу людей. При этом зрелище темные глаза Джой засверкали.

— Сколько времени прошло с тех пор, как мы пробираемся к ручью? — спросила она.

— Не меньше двух часов, — ответил Смок.

— Да два часа назад, вот вам и все четыре, — рассмеялась она. — Мои друзья с Львиного озера спасены.

Смутное подозрение пронеслось в голове Смока. Он остановился и посмотрел ей прямо в лицо.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Не понимаете? Ну, так я объясню вам. Это Норвежский ручей. Бабий ручей дальше, к югу.

Смок на минуту онемел.

— Вы сделали это нарочно? — спросил Малыш.

— Я сделала это, чтобы выручить старожилов.

Она рассмеялась. Мужчины поглядели друг на друга и подошли к девушке.

— Знаете, я с удовольствием перегнул бы вас, как ребенка, через колено да хорошенько нашлепал, — заявил Малыш, — если б здесь, в этом чертовом краю, не были так редки женщины!

— Значит, ваш отец не растянул себе сухожилия, а просто подождал, чтобы мы скрылись из виду, и двинулся дальше? — спросил Смок.

Она утвердительно кивнула.

— А вы сыграли роль приманки?

Она снова кивнула, и на этот раз смех Смока прозвучал вполне искренно и звонко. Это был неудержимый смех мужчины, откровенно признающего себя побежденным.

— Почему вы не сердитесь на меня? — жалобно спросила она. — Или… или… почему вы не побьете меня?

— Ну-с, надо, значит, поворачивать обратно, — сказал Малыш. — Этак того и гляди ноги отморозишь.

Смок покачал головой.

— Идти обратно — значит потерять четыре часа. Мы, должно быть, прошли восемь миль по этому ручью, а он сильно уклоняется к югу. Мы пойдем вдоль Норвежского ручья, затем переберемся через водораздел и выйдем на Бабий ручей где-нибудь повыше Пробного участка. — Он взглянул на Джой. — Не хотите ли пойти с нами? Я обещал вашему отцу присмотреть за вами.

— Я… — она колебалась, — я могу пойти с вами, если вы ничего не имеете против. — Она смот-

рела прямо в глаза Смоку, и на лице ее уже не было прежнего выражения вызова и насмешки. — Право, мистер Смок, я почти жалею о том, что сделала. Но нужно же было кому-нибудь выручить старожилов.

— Мне кажется, что золотоискательство — своего рода спорт.

— А мне кажется, что вы прекрасные спортсмены, — сказала она; затем прибавила с легким вздохом: — Как жаль, что вы не старожилы!

Два часа они пробирались вдоль замерзшего ложа Норвежского ручья, затем свернули в узкий извилистый его приток, сворачивавший к югу. В полдень они начали подниматься в гору, чтобы перебраться через водораздел. Позади себя они видели длинную темную линию золотоискателей, направлявшихся по их следам. Там и сям поднимались тонкие струйки дыма, указывавшие на то, что усталые путники делают привал.

Для них путь был особенно тяжел. Они то и дело проваливались по пояс в снег и очень часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе.

— Мы уже двенадцать часов в пути, Смок, — сказал он, — и я должен признаться, что здорово устал, да и ты тоже, я уверен. Но если мы с то-

бой еще и можем кое-как ползти дальше, то эта бедная девушка несомненно свалится с ног, если не подкрепится чем-нибудь. Давайте разложим здесь костер. Что вы на это скажете?

Они быстро, ловко и умело разбили лагерь, и Джой, следившая за ними недоверчивым взглядом, должна была признаться в душе, что старожилы не могли бы сделать этого лучше. Смок и Малыш натянули одеяла на сосновые ветви и соорудили шалаш, в котором можно было отдохнуть и приготовить еду. Однако сами они старались держаться подальше от огня, пока не растерли основательно свои щеки и носы. Смок плюнул в воздух, и тотчас же вслед за этим раздался отчетливый и звонкий стук упавшей льдинки.

— Должен признаться, — сказал Смок, покачав головой, — что никогда еще не видел такого мороза.

— Однажды зимой на Коюкуке мороз дошел до восьмидесяти шести градусов, — ответила Джой. — Теперь, должно быть, не меньше семидесяти или семидесяти пяти, и я чувствую, что отморозила себе щеки. Они горят, как в огне.

На крутом спуске горы совсем не было льда; поэтому они положили в таз для промывки золо-

та немного твердого чистого кристаллического снега, напоминавшего сахар-рафинад, и растопили его на огне, раздобыв таким образом воду для кофе. Смок поджаривал грудинку и грел сухари у огня, Малыш подбрасывал в огонь ветки, а Джой расставляла приборы; из мешка появились две тарелки, две кружки, две ложки, жестянка, в которой были смешаны соль и перец, и жестянка с сахаром. Третьего прибора не было, и она села рядом со Смоком. Они ели из одной тарелки и пили из одной кружки.

Было почти два часа, когда они перевалили, наконец, через хребет и начали спускаться к Бабьему ручью. Еще раньше, зимой, какой-то охотник на лосей проложил тропу по узкому ущелью — отправляясь на охоту и возвращаясь обратно, он, по-видимому, всегда ступал по своим же следам. В результате под слоем выпавшего позднее снега образовалась линия неровных бугров. Всякий раз, как ноги их попадали между буграми, они проваливались в снег и нередко падали. К несчастью, охотник на лосей обладал, по-видимому, необыкновенно длинными ногами, и им было нелегко идти по его следам. Джой, которая горячо желала теперь помочь своим спутникам и боялась, что они нарочно

замедляют ход, не желая слишком утомлять ее, пошла впереди. Быстрота и ловкость, с которой она ловила коварные следы охотника, вызвали неподдельный восторг Малыша.

— Посмотри-ка на нее! — воскликнул он. — Ну и молодчина! Уж она наверное ела медвежатину. Посмотри, как скользят ее мокасины. Это тебе не высокие каблуки. Ноги ей хорошо служат. Вот настоящая жена для охотника на медведей.

Она обернулась и посмотрела на него с улыбкой, которая предназначалась отчасти и для Смока: улыбка была простая, товарищеская, но Смок ясно почувствовал, что в ней было и много женского.

Дойдя до Бабьего ручья, они оглянулись и увидели длинную прерывистую линию золотоискателей, которые с трудом спускались по склону. Джой Гастелл и ее спутники спустились к ложу ручья, промерзшего до самого дна. Ручей — двадцати-тридцати футов ширины — тянулся между илистыми наносными берегами от шести до восьми футов вышины. Ничья нога не ступала еще по девственному снегу, который покрывал его лед, и они сообразили, что вышли немного выше Пробного участка и заявок, занятых старожилами с Львиного озера.

— Берегитесь родников, — предостерегающе крикнула Джой, когда Смок повел их вниз по ручью. — При семидесятиградусном морозе вы останетесь без ног, если провалитесь в один из них.

Такие родники часто встречаются в клондайкских реках и никогда не замерзают. Вода стекает с берегов и скопляется небольшими лужицами, которые защищаются от холода замерзшей поверхностью ручья и выпавшим снегом. Вот почему человек, ступающий по сухому снегу, может легко продавить кору льда в полдюйма толщины и провалиться по колено в воду. Если в течение пяти минут он не стащит промокшие мокасины, то останется без ног.

Было три часа пополудни, но долгие серые полярные сумерки уже начали окутывать землю. Путники искали глазами на берегах дерева с отметкой, которая указала бы им, где сделана последняя заявка. Джой, искавшая ее с особенным волнением, первая заметила зарубку. Она бросилась вперед и крикнула Смоку:

— Кто-то уже был здесь. Поглядите на снег! Посмотрите на зарубку! Вот она! Вот на этой сосне!

И в этот момент она по пояс провалилась в

снег.

— Вот я и попалась! — жалобно произнесла она. Затем воскликнула: — Не подходите ко мне, я сама выберусь.

Шаг за шагом, то и дело проваливаясь через тонкий лед, скрытый под сухим снегом, она прокладывала себе путь к твердой почве. Смок не стал ждать. Он бросился к берегу, где лежали сухие ветви и сучья, вынесенные на берег во время весенних разливов. Это был готовый костер, который только ждал спички. К тому времени, как Джой добралась до него, первые языки пламени уже поднимались в воздух.

— Садитесь, — приказал Смок.

Она послушно опустилась на снег. Он сбросил со спины свой мешок и разостлал под ее ногами одеяло.

Сверху раздавались голоса искателей, следовавших за ними.

— Пусть Малыш сделает заявку, — торопила Джой.

— Иди, Малыш, — сказал Смок, принимаясь за ее мокасины, уже покрывшиеся льдом. — Отмерь тысячу футов и поставь в центре два заявочных столба. Угловые мы поставим позже.

Смок разрезал ножом шнурки и кожу мокаси-

нов. Они успели так сильно промерзнуть, что визжали и скрипели под ножом. Сивашские носки и толстые шерстяные чулки превратились в ледяную кору. Казалось, будто ступни и икры девушки вложены в железный футляр.

— Ну, как ноги? — спросил он, продолжая работать.

— Совсем онемели. Я не чувствую пальцев и не могу шевельнуть ими. Но все сойдет прекрасно. Огонь великолепный. Смотрите, как бы вы еще не отморозили себе руки. Судя по вашим движениям, мне кажется, что они уже онемели.

Он натянул рукавицы и в течение нескольких минут с ожесточением хлопал себя по бедрам. Почувствовав, что кровообращение восстановилось, он снова снял рукавицы и принялся резать, рвать и пилить промерзшую обувь. Наконец показалась белая кожа одной ноги, затем другой, и обе они были выставлены теперь на семидесятиградусный мороз.

Затем Смок принялся растирать ей ноги снегом с таким неистовым усердием, что Джой скоро зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль.

Он дотащил ее до огня и положил ее ноги на одеяла, как можно ближе к спасительному теплу.

— Теперь вам придется самой заняться ими на минутку, — сказал он.

Она сняла рукавицы и начала растирать ноги, следя за тем, чтобы огонь лишь постепенно согревал ее замерзшее тело. Тем временем Смок занялся собственными руками; снег уже не таял на них, и его светлые кристаллы рассыпались по коже, точно песок. Очень медленно восстанавливалось в замерзшем теле кровообращение. Согрев, наконец, руки, Смок поправил огонь, снял легкую котомку со спины Джой и достал оттуда запасную обувь.

Малыш вернулся по ложу ручья и поднялся к ним по крутому берегу.

— Будьте спокойны, я отмерил полных тысячу футов, — заявил он. — Номер двадцать седьмой и двадцать восьмой. Хотя, нужно вам сказать, не успел я еще забить верхний столбик двадцать седьмого номера, как столкнулся с первым молодцом из тех, что шли сзади. Он заявил мне, что он не даст мне занять двадцать восьмой номер. Тогда я сказал ему…

— Ну, ну, — воскликнула Джой. — Что же вы ему сказали?

— Я так прямо и заявил ему, что если он не уберется сейчас же на все пятьсот футов, то я

превращу его обмороженный нос в сливочное мороженое и шоколадные эклеры. Он предпочел уйти, и я поставил заявочные столбы на двух полных, честно отмеренных участках вдоль ручья, по пятьсот футов каждый. Он занял следующий участок, и я полагаю, что теперь эта компания уже разделала Бабий ручей до устья и даже тот берег. Но наше дело верное. Сейчас слишком темно, а завтра утром мы сможем поставить угловые столбы.

III

Проснувшись, они убедились, что за ночь сильно потеплело. Малыш и Смок, еще не вылезая из-под своего общего одеяла, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Мороз сдал. На их одеялах лежал слой снежных кристаллов в шесть дюймов толщины.

— С добрым утром! Как ваша нога? — спросил Смок, глядя через остатки костра на Джой Гастелл, которая, сидя в своем спальном мешке, стряхивала с себя снег.

Малыш развел костер и принес лед с ручья, а Смок принялся готовить завтрак. Когда они покончили с едой, взошло солнце.

— Пойди-ка поставь угловые столбы, Смок, —

сказал Малыш. — В том месте, где я нарубил льда, есть песок, и я хочу растопить в нашем тазу воды и промыть, на счастье, немного песку.

Смок отправился, захватив топор, чтобы вырубить колышки. Начав с нижнего (по течению) центрального столба на участке «номер двадцать семь», он направился под прямым углом по узкой долине к краю участка. Он проделывал все это методически, почти машинально: мысли его были полны воспоминаний об истекшей ночи, ему почему-то казалось, что он приобрел власть над нежными линиями и твердыми мускулами этих ножек, которые он растирал снегом, и эта власть как будто распространялась и на всю женщину. Чувство обладания наполняло его каким-то неясным сладостным ощущением. Ему казалось, что теперь остается только подойти к Джой Гастелл, взять ее за руку и сказать: «Идем!»

И вдруг он наткнулся на нечто, заставившее его забыть о власти над белыми ножками. Он не поставил углового столба у края долины. Он даже не дошел до ее края, ибо наткнулся на другой ручей. Смок приметил сломанную иву и большую, бросающуюся в глаза одинокую сосну. Затем снова вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Он пошел берегом

ручья, изогнутого в виде лошадиной подковы, и убедился в том, что тут не два ручья, а один. Затем он дважды пробрался по снегу от одного края долины до другого, в первый раз начав от нижнего столба «номера двадцать седьмого», а во второй раз от верхнего столба «номера двадцать восьмого», и убедился окончательно, что *верхний столб последнего участка находится ниже нижнего столба первого.* В сумеречной полутьме Малыш занял оба участка на излучине ручья в виде подковы, врезывающейся глубоко в долину.

Смок уныло побрел обратно к маленькой стоянке. Малыш, кончивший промывку песка, встретил его восторженными восклицаниями.

— Вот оно! — крикнул он, протягивая товарищу таз. — Вот, посмотри. Золото, чистое золото. Здесь двести долларов, ни на цент меньше. Оно так и валяется на самой поверхности. Я видел кое-что на своем веку, но никогда в жизни не встречал еще такого богатства.

Смок бросил равнодушный взгляд на золото, налил себе чашку кофе и присел у огня. Джой почувствовала что-то недоброе и посмотрела на него нетерпеливым, беспокойным взглядом. А Малыш почувствовал себя оскорбленным равнодушием товарища.

— Что это ты как будто не радуешься? — спросил он. — Ведь это настоящее счастье. Может быть, ты так богат, что плюешь на двести долларов?

Прежде чем ответить, Смок отхлебнул кофе.

— Скажи мне, Малыш, чем наши участки похожи на Панамский канал?

— Это еще что за новость?

— Видишь ли, восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа. Вот и все.

— Валяй дальше, — сказал Малыш. — Я еще не раскусил, в чем дело.

— Короче говоря, Малыш, ты занял наши два участка на большой луке, напоминающей лошадиную подкову.

Малыш опустил таз на снег и вскочил на ноги.

— Дальше, дальше, — повторил он.

— Верхний столб двадцать восьмого на десять футов ниже нижнего столба двадцать седьмого.

— Ты хочешь сказать, что у нас ничего нет, Смок?

— Хуже того. У нас на десять футов меньше, чем ничего.

Малыш бегом пустился к берегу. Через пять минут он вернулся. В ответ на вопросительный

взгляд Джой маленький человечек печально кивнул. Не говоря ни слова, он подошел к поваленному дереву и, опустившись на него, стал пристально разглядывать снег, покрывавший его мокасины.

— Ну, что ж, снимемся с лагеря и марш обратно в Доусон, — сказал Смок, начиная складывать одеяла.

— Мне очень жаль, Смок, — прошептала Джой, — все это моя вина.

— Пустяки, — ответил он, — все придет в свое время.

— Но это моя вина, только моя, — настаивала она. — Отец сделает для меня заявку там, около Пробного участка, и я отдам ее вам.

Смок отрицательно покачал головой.

— Малыш! — взмолилась девушка.

Малыш в свою очередь покачал головой и вдруг разразился неистовым смехом. Это был неудержимый, гомерический хохот. Маленький человечек то задыхался, то грохотал.

— Это не истерика, — объяснил он. — У меня бывают иногда такие припадки веселости.

Взгляд его упал случайно на таз с золотом. Он подошел к нему и величественным движением отшвырнул ногой, рассыпав вокруг намытое

золото.

— Это не наше, — сказал он. — Оно принадлежит тому малому, которого я прогнал давеча на пятьсот футов. И меня больше всего злит то, что четыреста девяносто из них — форменное богатство… его богатство. Ну, идем, Смок, вернемся в Доусон. Впрочем, если у тебя есть желание убить меня, я и пальцем не пошевельну, чтобы защищаться.

Малыш видит сны

I

— Странно, однако, что ты никогда не играешь, — сказал Малыш однажды ночью Смоку в «Элькгорне». — В крови этого у тебя нет, что ли?

— Как же, есть, — отвечал Смок. — Но в голове у меня статистика. Я предпочитаю равные шансы во время игры.

Вокруг них в огромном помещении бара слышалась трескотня, стук, звон: это за двенадцатью игорными столами пробовали свое счастье люди в мехах и мокасинах. Смок широким жестом как бы охватил всех их.

— Взгляни на них, — сказал он, — ясно, как дважды два четыре, что проигрыш за сегодняшнюю ночь будет больше, чем выигрыш. Большинство из них сейчас уже проиграли.

— Ты, конечно, здорово силен в цифрах, — с восхищением пробормотал Малыш, — и в общем ты прав. Но только факты остаются фактами. И один из таких фактов — это полоса счастья. Выпадает полоса, когда всякий дурак выигрывает, это мне хорошо известно; я принимал участие в

такой игре, и на моих глазах срывали банк. Чтобы выиграть в азартной игре, надо выждать, пока на тебя накатит такая полоса счастья, и потом уже играть вовсю.

— Как просто, — скептически заметил Смок. — Так просто, что прямо кажется непонятным, каким образом люди могут проигрывать.

— Вся беда в том, — возразил Малыш, — что большинство людей ошибаются, думая, что им начинает везти. И я тоже давал маху на своем веку. Надо пробовать, нащупывать.

Смок покачал головой.

— И это тоже ясно, как дважды два четыре, Малыш. Большинство игроков ошибаются в своих предчувствиях.

— Неужели у тебя никогда не бывало такого чувства, что ты должен поставить деньги и обязательно выиграть? И больше от тебя ничего не требуется.

Смок засмеялся.

— Я слишком боюсь, что статистика будет против меня. Но вот что я хочу сказать тебе, Малыш. Кину-ка я сейчас один доллар на высшую карту, и посмотрим — заработаем ли мы с тобой хоть на стаканчик.

Смок направился было к столу, за которым

играли в «фаро», как вдруг Малыш схватил его за руку.

— Постой! На меня как раз накатило предчувствие. Ставь этот доллар на рулетку!

Они подошли к столу с рулеткой, стоявшему у самого бара.

— Подожди ставить, пока я не скажу тебе, — проговорил Малыш.

— Какой номер? — спросил Смок.

— Выбирай сам. Но только погоди, пока я не скажу тебе, что пора начинать.

— Уж не считаешь ли ты, что у меня за этим столом шансов больше? — заметил Смок.

— Столько же, сколько у каждого игрока.

— Но все-таки не столько, как у крупье?

— Подожди, увидишь, — стоял на своем Малыш. — Ну! Теперь начинай!

Крупье как раз в эту минуту бросил шарик из слоновой кости; шарик, кружась, покатился по гладкому борту вращающегося колеса. Смок на нижнем конце стола потянулся через какого-то игрока и, не глядя, бросил доллар. Он покатился по гладкому зеленому сукну и остановился на номере «34».

Шарик остановился, и крупье объявил:

— Тридцать четвертый выиграл!

Крупье сгреб со стола деньги и к доллару Смока придвинул тридцать четыре доллара. Смок забрал деньги, и Малыш хлопнул его по плечу.

— Вот это и есть то самое, что называется счастьем, Смок. Откуда я это узнал? Да я и сам не знаю. Я просто почувствовал, что ты должен выиграть. И если бы твой доллар упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Раз предчувствие у тебя верное, ты должен выиграть во что бы то ни стало.

— Ну, а предположи, что вышло бы двойное зеро? — сказал Смок, когда они направлялись в бар.

— Тогда твой доллар остановился бы на двойном зеро, — отвечал Малыш. — Тут уж ничего не поделаешь. Повезет — так повезет. Вот оно как. Пойдем-ка назад к столу. После того как я дал тебе возможность выиграть, мне кажется, что и я сорву несколько номеров.

— Ты играешь по системе? — спросил Смок через десять минут, после того как его компаньон проиграл сто долларов.

Малыш с негодованием покачал головой; он расставил свои марки на «3», «11», «17» и бросил одну марку на «зеленое».

— Ад и так набит дураками, играющими по

системе, — объявил он.

Занятый наблюдениями, Смок стоял точно загипнотизированный и внимательно следил за подробностями игры, начиная с того момента, когда бросали шарик, и кончая ставками и уплатой выигрышей. Он не играл и довольствовался только наблюдением. И он так увлекся, что Малышу, закончившему игру, с трудом удалось оторвать Смока от стола.

Крупье вернул Малышу его мешок с золотым песком, который находился у крупье в виде залога, и выдал Малышу вместе с мешком клочок бумажки, где было нацарапано: «Взять триста пятьдесят долларов». Малыш направился через всю комнату к весовщику, сидевшему за большими весами для взвешивания золота. Весовщик отсыпал из мешка Малыша на триста пятьдесят долларов песку и всыпал его в свой ящик.

— Твое счастье также можно отнести под ту же рубрику статистики, — подтрунил над Малышом Смок.

— Мне надо было сыграть, чтобы убедиться в этом, не так ли? — отрапортовал Малыш. — И я пострадал только из-за желания доказать тебе, что полоса счастья существует.

— Ничего, Малыш, — засмеялся Смок. — А вот

на меня сейчас нашло наитие…

Глаза у Малыша засверкали, и он крикнул:

— Ну так в чем же дело? Валяй! Ставь!

— Нет, Малыш, это не то. Мое наитие говорит мне, что я в один прекрасный день выработаю систему, которая в пух и прах разобьет этот стол.

— Система! — завопил Малыш, с сожалением глядя на своего товарища. — Смок, послушайся доброго совета и брось ты систему. Система — это верный проигрыш. При системе не бывает наития.

— Вот за это самое я и люблю систему, — отвечал Смок. — В системе есть расчет. Если ты нападешь на верную систему, ты не можешь проиграть. В этом-то и заключается разница между системой и счастьем. Ты не знаешь, когда твое предчувствие обманет тебя.

— Но зато я знаю целый ряд систем, которые обманывали, и мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь выигрывал по системе. — Малыш помолчал и со вздохом добавил: — Знаешь, что я тебе скажу, Смок? Если ты собираешься ломать себе голову над системами, то тебе здесь не место и нам лучше отправиться в путь-дорогу.

II

В течение нескольких ближайших недель во взглядах и намерениях двух товарищей отмечалось некоторое расхождение. Смок был расположен проводить все время в наблюдениях за игрой в рулетку в «Элькгорне», а Малыш настаивал на том, чтобы двинуться в путь. Когда же началось движение золотоискателей на Юкон, — пронесся слух, что в двухстах милях вниз по реке открылось золото, — Смок решительно отказался принять участие в этом предприятии.

— Вот что, Малыш, — сказал он, — я не пойду. Эта история займет десять дней, а к тому времени я надеюсь окончательно выработать свою систему. Я и сейчас мог бы уже выигрывать, играя по ней. С какой стати ты будешь зря таскать меня повсюду?

— Смок, я должен заботиться о твоем благе, — отвечал Малыш. — Ты свихнешься. Я готов тащить тебя к черту на рога или на Северный полюс, лишь бы мне оторвать тебя от игорного стола.

— Все это прекрасно, Малыш. Но не забывай, что я взрослый и вполне зрелый мужчина, и опять же не забудь про медвежатину. Если тебе

придется что-нибудь тащить, так это только золотой песок, который я буду выигрывать при помощи моей системы, и на это тебе понадобится целая собачья упряжка.

В ответ на это Малыш только вздохнул.

— И я не хочу, чтобы ты играл за свой счет, — продолжал Смок. — Мы будем делить выигрыш пополам, и мне для начала понадобятся все наши деньги. Система эта еще молода, и очень может быть, что я вначале допущу несколько промахов.

III

В конце концов, после долгих часов и дней, проведенных в наблюдениях за игорным столом, настал вечер, когда Смок объявил, что он готов. Малыш, мрачный и печальный, с видом человека, присутствующего на похоронах, отправился вместе со своим товарищем в «Элькгорн». Смок купил стопочку марок и занял место в конце стола, возле крупье. Десятки раз вертелся шарик; другие игроки выигрывали и проигрывали, а Смок все не решался поставить хотя бы одну марку. Малыш начал уже терять терпение.

— Да ставь же, ставь! — торопил он его. — Кончай скорей эту погребальную церемонию. В чем дело? Или ты струсил?

Смок покачал головой. Он выжидал. Двенадцать раз уже крупье пускал рулетку, когда Смок вдруг поставил десять однодолларовых фишек на номер «26». Номер выиграл, и Смоку было выплачено триста пятьдесят долларов. Затем прошло еще двенадцать, двадцать, тридцать туров, прежде чем Смок снова поставил десять долларов на «32». И опять он выиграл триста пятьдесят долларов.

— Вот это называется везет! — громким шепотом сказал ему на ухо Малыш. — Ставь дальше!

Прошло полчаса, в продолжение которых Смок воздерживался от игры, после чего он поставил десять долларов на номер «34» и выиграл.

— Ну и везет! — прошептал Малыш. — Вот так полоса!

— Совсем не то, — шепотом же отвечал ему Смок. — Это моя система. Что, хороша, не правда ли?

— Ладно, рассказывай, — возразил Малыш. — Просто полоса такая, а ты воображаешь, что это система! А она тут ни при чем. Систем вообще нет и не может быть.

Смок переменил игру. Он ставил теперь чаще, одиночными марками, и чаще проигрывал, чем выигрывал.

— Кончай, — посоветовал ему Малыш. — Забирай деньги. Ты три раза поймал номер, и у тебя уже около тысячи. Полоса твоя кончилась.

В эту минуту шарик завертелся, и Смок поставил десять марок на номер «26». Шарик остановился на «26», и крупье выплатил ему триста пятьдесят долларов.

— Раз уж тебе так чертовски везет, ставь высшую ставку, — сказал Малыш. — Поставь следующий раз двадцать пять!

Прошло четверть часа, в течение которых Смок выигрывал и проигрывал мелкие ставки. Потом решительным жестом он поставил двадцать пять долларов на «двойное зеро», и крупье заплатил ему восемьсот семьдесят пять долларов.

— Разбуди меня, Смок, я вижу сон! — взмолился Малыш.

Смок улыбнулся, заглянул в свою записную книжку и углубился в какие-то вычисления. Он то и дело вынимал из кармана записную книжку и записывал в нее разные цифры.

Около стола собралась большая толпа, и игроки старались ставить на те же номера, что и Смок. И вот тут-то в его игре произошел перелом. Десять раз подряд он ставил по десять долларов на «18» и проигрывал. Тут уже и самые отважные его

последователи отступились от него. Он переменил номер и выиграл еще триста пятьдесят долларов. Сейчас же игроки вернулись к нему, и им пришлось снова бросить его после целого ряда проигрышей.

— Кончай, Смок, кончай! — просил его Малыш. — И самая длинная полоса счастья не бесконечна. А твоя уже кончилась. Крупных выигрышей больше не жди.

— А я собираюсь взять еще один, — отвечал Смок.

Некоторое время он делал с переменным счастьем мелкие ставки на разные номера, потом бросил двадцать пять долларов на «двойное зеро».

— А теперь рассчитаемся, — сказал он крупье, выиграв и на этот раз.

— Незачем показывать мне счет, — сказал Малыш, когда они направлялись к весовщику. — Я все время следил. Тебе причитается что-то около трех тысяч шестисот. Верно?

— Три тысячи шестьсот тридцать, — отвечал Смок. — А теперь тебе придется тащить домой песок. Ведь мы так условились!

IV

— Не испытывай своего счастья, — сказал Малыш на следующий день вечером, когда Смок собрался идти в «Элькгорн». — Твоя полоса была очень длинной, но ты доиграл ее до конца. Если ты опять начнешь играть, ты наверняка спустишь все.

— Но я же сказал тебе, Малыш, что тут нет никакой полосы счастья. Это статистика. Система! Я и при желании не могу проиграть.

— Провались она к черту, эта система! Нет никаких систем. Раз как-то я выиграл в железку семнадцать раз подряд. Что же это было, по-твоему, система? Просто бешеное счастье. Но только я струсил тогда. Если бы я не снялся после семнадцатой карты, я выиграл бы больше тридцати тысяч на два доллара!

— Что бы там ни было, Малыш, а у меня настоящая система.

— Гм! Так покажи мне ее!

— Я уже показывал тебе. Пойдем со мной, и я покажу еще раз.

Когда они пришли в «Элькгорн», все взоры обратились на Смока. Стоявшие возле стола игроки расступились, когда он направился на свое

прежнее место возле крупье. На этот раз игра его совершенно не походила на игру, которую он вел в прошлый раз. В течение полутора часов он поставил только четыре ставки, но каждая была по двадцать пять долларов и каждая выиграла. Он забрал три тысячи пятьсот долларов, и Малыш доставил золото в хижину.

— Теперь самая пора бросить игру, — советовал Малыш, сидя на краю своей койки и снимая мокасины. — Ты забрал семь тысяч. Надо быть дураком, чтобы еще дольше испытывать свое счастье!

— Малыш, только сумасшедший бросит на середине такую систему, как у меня.

— Смок, ты парень хоть куда. Ты обучался в колледже. Ты в одну минуту можешь узнать больше, чем я в сорок тысяч лет. И все-таки ты ошибаешься, здорово ошибаешься, называя свою полосу счастья системой. Я помотался по свету и видел всякие виды — и должен сказать прямо, начистоту, что нет такой системы, которая могла бы победить в азартной игре.

— Однако я показал тебе именно такую систему.

— Нет, Смок, ты ошибаешься. Это сон. Я сплю. Сейчас я проснусь, разведу костер и стану гото-

вить завтрак.

— В таком случае, мой недоверчивый друг, вот тебе песок. Пощупай его.

С этими словами Смок бросил на колени товарищу увесистый мешок с золотом. Он весил тридцать пять фунтов, и Малыш почувствовал значительную тяжесть.

— Самый что ни на есть реальный, — сказал Смок.

— Гм! В свое время я видывал самые разные сны. Во сне все возможно. А в жизни система невозможна. Конечно, я не был в колледже, но только я прав, считая всю эту нашу азартную оргию сном.

— «Закон бережливости» Гамильтона? — засмеялся Смок.

— Я что-то ничего не слыхал об этом старикашке, но он, должно быть, прав. Я вижу сон, Смок, и в этом сне ты все время преследуешь и мучишь меня своей системой. Если ты меня любишь, если ты действительно меня любишь, то ты сейчас крикнешь: «Малыш! Проснись!» И я проснусь и начну готовить завтрак.

V

На третий вечер, когда Смок поставил первую ставку, крупье вернул ему пятнадцать долларов.

— Вы можете ставить только десять, — сказал он. — Ставка понижена.

— Обеднели? — проговорил с насмешкой Малыш.

— Кто не хочет, пусть не играет, — ответил крупье. — Я прямо скажу при всем честном народе, что нам было бы приятнее, если бы ваш товарищ вовсе не играл за нашим столом.

— Испугались его системы, а? — вызывающе спросил Малыш, когда крупье выплачивал Смоку триста пятьдесят долларов.

— Я не говорю, что верю в его систему; я не верю ни в какие системы. Не было еще такой системы на свете, которая могла бы побить рулетку или другую какую-нибудь азартную игру. Но все-таки мне приходится наблюдать непонятную полосу счастья, и я не могу допустить, чтобы банк потерпел крах; я должен предупредить это.

— Струсили?

— Азартная игра — такое же дело, как и всякое другое, мой друг. Мы не филантропы.

Вечер за вечером Смок продолжал выигрывать.

Он разнообразил свои методы игры. Среди толпы, осаждавшей стол, знатоки рулетки записывали его ставки и номера, тщетно пытаясь разгадать его систему. Они приходили в отчаяние оттого, что не могли уловить нити, и клялись, что это просто полоса счастья, — правда, счастья необыкновенного, такого, какого им до сих пор никогда не приходилось видеть.

Их сбивало с толку разнообразие его игры. По временам он изучал свою записную книжку, иногда углублялся в длинные вычисления, и проходил целый час, в течение которого он не делал ни одной ставки. А иногда он ставил три максимальных ставки и выигрывал по тысяче долларов в пять или десять минут. Или же его тактика сводилась к тому, что он, ко всеобщему удивлению, разбрасывал по всему столу щедрой рукой отдельные фишки. Это продолжалось от десяти до тридцати минут, потом вдруг, неожиданно, когда шарик, вертясь, делал свой последний круг, он ставил высшую ставку на колонну, цвет и номер и брал все три выигрыша. Однажды, чтобы сбить с толку тех, кто пытался разгадать его тайну, он проиграл подряд сорок высших ставок на номера; но каждый вечер, как бы Смок ни разнообразил свою игру, Малыш приносил домой три тысячи

пятьсот долларов.

— Это вовсе не система, — разглагольствовал Малыш во время одной из бесед перед сном. — Я все время слежу за тобой и никак не могу разобраться во всем этом. Ты никогда не играешь два раза подряд одинаково. И вся твоя игра заключается в том, что ты выигрываешь, когда хочешь; а когда не хочешь, то не выигрываешь.

— Может быть, ты ближе к истине, чем думаешь, Малыш. Иногда мне нужно проигрывать. Это входит в мою систему.

— Система, черт бы ее побрал! Я говорил со всеми игроками в городе, и все до последнего согласны с тем, что систем не существует.

— И несмотря на это, я им все время демонстрирую систему.

— Послушай, Смок, — Малыш замер над свечкой, собираясь погасить ее. — Меня это страшно волнует. Может быть, ты думаешь, что это свечка? Нет, это не свечка! И я — не я. Я нахожусь где-то в пути, лежу на спине, с открытым ртом, завернувшись в одеяла, и вижу все это во сне. И со мной разговариваешь не ты, точно так же, как эта свечка — не свечка.

— Странно, каким же образом и я вижу те же сны? — настаивал Смок.

— Нет, это не ты. Ты часть моего сна — вот и все. В моих снах разговаривает много народу, и я их слышу. Вот что я хочу сказать тебе, Смок. Я скоро свихнусь окончательно, я сойду с ума. Если этот сон будет еще продолжаться, то я перекушу себе жилы и завою не своим голосом.

VI

На шестую ночь игры в «Элькгорне» ставку понизили до пяти долларов.

— Прекрасно, — сказал Смок крупье. — Мне, как всегда, требуется сегодня три тысячи пятьсот, и вы только заставите меня дольше играть. Мне придется угадать вдвое больше номеров, вот и все.

— Почему вы не хотите перейти к какому-нибудь другому столу? — злобно спросил крупье.

— Потому что мне нравится именно этот. — Смок покосился на гудевшую печку в нескольких футах от него. — Потому что здесь нет сквозняков, здесь тепло и уютно.

На девятую ночь, когда Малыш принес домой песок, он едва не сошел с ума.

— Больше я не могу, Смок! Больше не могу! — начал он. — Я дошел до точки. Это не сон. Я не сплю. Системы не существует, но в то же время у

тебя система! Тройного правила нет. Календаря не существует. Все перевернулось вверх дном. Законов природы не осталось больше и в помине. Таблица умножения полетела к черту. Два — это восемь, девять, одиннадцать, а дважды два это будет восемьсот сорок шесть с половиной. Кое-что — это все, ничего — это все; а дважды все — чепуха на молоке и коленкоровые лошади. Ты придумал систему. Цифры побивают цифры. То, чего нет, есть; чего не может быть — будет. Солнце встает на западе; луна — золотой блин; звезды — банки из-под консервов; цинга — благословение Божие, и тот, кто умирает, снова воскресает. Скалы плавают, вода — это газ, я — не я, ты — кто-то другой, и может быть — мы близнецы, если мы вообще не картофель, жаренный в свинцовых белилах. Разбуди меня! Разбудите меня кто-нибудь! О! Разбудите же меня!

VII

На следующее утро в хижину к ним явился посетитель. Смок знал его. Это был Гарвей Моран из «Тиволи», где ему принадлежали все игорные столы. В его низком грубом голосе звучали умоляющие нотки, когда он начал излагать свою просьбу.

— Дело вот в чем, Смок, — начал он. — Вы всем нам задали задачу. Я пришел от имени девяти владельцев салунов в нашем городе. Мы решительно ничего не понимаем. Мы знаем, что в рулетке не существует системы. И все математические головы в колледжах говорили нам то же самое. Они говорили, что рулетка сама по себе уже является системой, единственной системой, и что поэтому никакая другая система не может победить ее. Иначе вся арифметика полетела бы к черту.

Малыш энергично закивал головой.

— Если система может победить систему, то в таком случае системы нет, — продолжал гость. — И тогда все возможно: одна и та же вещь может быть в двух местах одновременно, или две вещи — в одном и том же месте, где может поместиться только одна.

— Что же, вы видели мою игру, — вызывающе сказал Смок. — Если вы считаете, что это только счастье, то из-за чего же вам беспокоиться?

— В том-то и беда, что мы не можем не беспокоиться. У вас система, и вместе с тем мы знаем, что ее быть не может. Я следил за вами пять вечеров подряд, и все, что я мог уловить, это то, что вы отдаете предпочтение нескольким номерам, и на

них вы и выигрываете. И вот мы, десять владельцев салунов, сговорились и хотим сделать вам одно предложение. Мы хотим устроить рулетку в задней комнате «Элькгорна», заложить банк и предложить вам играть против нас. Все это будет сделано негласно. Только Малыш, вы да мы. Что вы на это скажете?

— А я скажу вот что, — отвечал Смок. — Приходите вы ко мне. Я буду играть сегодня в «Элькгорне», в помещении бара. Если желаете, можете прийти туда смотреть мою игру.

VIII

В этот вечер, когда Смок занял свое обычное место за столом, крупье прекратил игру.

— Игра прекращается, — сказал он. — Так приказал хозяин.

Но не так-то легко было запугать собравшихся в баре других владельцев салунов. Через несколько минут они открыли игру, вложив каждый по тысяче, и заняли стол.

— Ну, пожалуйте! — предложил Смоку Гарвей Моран, когда крупье пустил шарик по кругу.

— Дайте мне предельную ставку двадцать пять, — попросил Смок.

— Отлично, идет.

Смок сейчас же поставил двадцать пять фишек на «двойное зеро» и выиграл.

Моран вытер пот со лба.

— Продолжайте, — сказал он, — в банке у нас десять тысяч.

Через полтора часа десять тысяч перешли к Смоку.

— Банк сорван! — объявил крупье.

— Довольно с вас? — спросил Смок.

Владельцы игорных столов переглянулись. Они были преисполнены благоговейного ужаса. Они, эти разжиревшие любимцы закона, управляющего слепым счастьем, были побиты. Перед ними стоял человек, который был ближе к этим силам, либо которому удалось вызвать какие-то еще более могучие, неведомые силы.

— Мы закончили, — заявил Моран. — Не так ли, Бэрк?

Большой Бэрк, которому принадлежала рулетка, в салунах М и Г, кивнул в знак согласия.

— Невозможное случилось, — сказал он. — Этот самый Смок, которого вы видите перед собой, придумал систему. Если мы позволим ему продолжать, то мы все обанкротимся. На мой взгляд, единственное, что нам остается, чтобы сохранить наше дело, это понизить ставку до одного

доллара или до десяти центов, а то и до одного цента. С такими ставками он не очень-то много выиграет за ночь.

Все посмотрели на Смока. Он пожал плечами.

— В таком случае, господа, мне придется нанять целую артель людей, которые будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по десять долларов за четырехчасовую смену и заработаю свой выигрыш.

— Тогда нам придется прикрыть свое дело, — проговорил Большой Бэрк, — если только… — Он в нерешительности замолчал и окинул взглядом своих товарищей, как бы желая убедиться в том, что они согласны с ним. — …если только вы не согласитесь на одну комбинацию. За сколько вы согласны были бы продать вашу систему?

— За тридцать тысяч долларов, — отвечал Смок. — Это выйдет по три тысячи на человека.

Они посовещались и согласились.

— И вы откроете нам вашу систему?

— Да, конечно.

— И вы обещаете никогда больше не играть в рулетку в Доусоне?

— Нет, этого я не обещаю, — решительно отвечал Смок, — я обещаю только не играть больше по этой системе.

— Боже мой! — воскликнул Моран. — Надеюсь, у вас нет в запасе еще и другой системы?

— Стойте! — крикнул Малыш. — Мне надо поговорить с моим товарищем. Отойдем в сторонку, Смок.

Смок последовал за ним в отдаленный угол комнаты, между тем как сотни глаз с любопытством устремились на него и на Малыша.

— Послушай-ка, Смок, — хриплым голосом зашептал Малыш, — может быть, это и не сон, и в таком случае ты очень продешевил. Ведь это дело миллионами пахнет. Поприжми-ка их хорошенько.

— Ну, а если это сон? — тихо спросил Смок.

— Тогда во имя этого самого сна и нагрей их, голубчиков, как следует! Какая же радость от сна, если он не приводит тебя к верному и приятному концу?

— К счастью, это не сон, Малыш.

— В таком случае я тебе никогда не прощу, если ты продашь свой секрет за тридцать тысяч.

— Если я продам его за тридцать тысяч, ты бросишься мне на шею, проснешься и убедишься в том, что ты вовсе не спал. Это не сон, Малыш. Через две минуты ты увидишь, что ты все время бодрствовал. Имей в виду, что если я продаю, то,

значит, необходимо продать.

Вернувшись к столу, Смок объявил, что его предложение остается в силе. Хозяева салунов протянули ему расписки, каждый на три тысячи.

— Требуй лучше песок, — предупредил его Малыш.

— Должен сказать вам, что мне хотелось бы иметь эти деньги в песке, — сказал Смок.

Владелец «Элькгорна» взял расписки и отсыпал Малышу на тридцать тысяч долларов золотого песку.

— Ну, вот, теперь мне и просыпаться не надо! — воскликнул он, взвешивая на руке драгоценные мешки. — Если подсчитать, то в общем сон этот принес нам семьдесят тысяч. И теперь мне было бы чертовски невыгодно раскрывать глаза, вылезать из-под одеял и приниматься за приготовление завтрака.

— Какова же ваша система? — спросил Большой Бэрк. — Мы заплатили и желаем знать.

Смок направился к столу.

— Теперь, господа, слушайте внимательно. Эта система не простая. Она едва ли может называться законной, но в ней есть одно большое достоинство: она дает хорошие результаты. У меня явились некоторые подозрения, но пока я еще

ничего не скажу. Следите за мной. Пожалуйста, пустите шарик! Видите, я собираюсь выиграть на «26». Я ставлю на этот номер. Приготовьтесь, крупье… Пустите!

Шарик завертелся.

— Вы обратили внимание, — продолжал Смок, — что номер «9» был как раз напротив?

Шарик остановился на «26».

Большой Бэрк выругался где-то в недрах своей груди, и все ждали, что будет дальше.

— Для того, чтобы выиграть на «двойном зеро», необходимо, чтобы «11» было напротив. Попробуйте сами, и вы увидите.

— Ну, хорошо. А система? — нетерпеливо спросил Моран. — Мы знаем, что вы мастер забирать деньги и угадывать номера. Но как вы это делаете?

— Путем наблюдения за последовательностью выигрышей. Совершенно случайно я два раза заметил, что шарик был брошен, когда «9» находилось напротив. И оба раза выиграло «26». Затем я обратил внимание, что это повторилось еще раз. Тогда я стал искать случаи других совпадений и нашел их. «Двойное зеро» напротив дает выигрыш на «32», а «11» дает выигрыш на «двойном зеро». Это бывает не всегда, но обычно

удается. Вы обратили внимание, я сказал — обычно? Как я уже говорил вам, у меня есть кое-какие подозрения, но пока что я молчу.

Большой Бэрк, которого внезапно осенило вдохновение, вскочил, остановил колесо и внимательно стал его осматривать. Головы девяти остальных компаньонов наклонились вперед, и все присоединились к изучению колеса. Большой Бэрк выпрямился и покосился на печку.

— Черт возьми, — произнес он, — да тут и не было вовсе никакой системы! Стол стоит возле самой печки, и это проклятое колесо от нагревания затирает. Мы попали впросак. Немудрено, что он так полюбил этот стол. За другим столом он не выиграл бы даже и кислых яблок.

Гарвей Моран облегченно вздохнул и вытер лоб.

— Что же, прекрасно, — сказал он, — в конце концов, нам дешево обошлось открытие, что тут и не существует никакой системы. — Лицо его повеселело, он расхохотался и хлопнул Смока по плечу. — Ну, и поводили же вы нас за нос, Смок! А мы-то из кожи лезли, чтобы сплавить вас! Вот что, я получил настоящее шампанское. Идемте все в «Тиволи», и я его откупорю.

Позже, у себя в хижине, Малыш молча разби-

рал и взвешивал туго набитые мешки с золотым песком. Наконец он сложил их все на столе и, усевшись на край скамьи, начал снимать мокасины.

— Семьдесят тысяч, — повторил он. — Они весят триста пятьдесят фунтов. И все это благодаря нагреванию какого-то колеса и зоркому глазу. Смок, ты слопал их сырыми, ты слопал их живьем, ты чуть ли не под водой колдуешь, ты довел меня до белой горячки — и все-таки, я уверен, что это сон! Только во сне бывают такие приятные вещи. Мне страсть как не хочется просыпаться. И я надеюсь, что никогда не проснусь.

— Успокойся, — сказал Смок. — Ты и не проснешься. Существует кучка философов, которые уверяют, будто люди всю жизнь проводят в сонных грезах. Ты попал в прекрасное общество.

Малыш встал, подошел к столу, выбрал самый тяжелый мешок и прижал его к своей груди, точно маленького ребенка.

— Пускай я буду лунатиком, — заявил он, — но ты правду сказал, я действительно нахожусь в самом лучшем обществе.

Человек на другом берегу

I

Это произошло прежде, чем Смок Беллью занял анекдотический городской участок возле Тру-ля-ля, проделал историческую спекуляцию с яйцами, которая чуть не съела целиком банковского счета Билла с Быстрых Вод, и вышел победителем из состязания на собаках вниз по Юкону на приз в миллион долларов. Он и Малыш расстались в Верхнем Клондайке. Малыш должен был спуститься по Клондайку в Доусон, чтобы там сделать заявку на несколько участков, которые они заняли.

Смок с упряжкой отправился на юг — разыскивать Нежданное озеро и мифические Два Сруба. Его путь лежал через водоем Индейской реки и через неведомую местность, по горам, к реке Стюарт. Там, по слухам, должно было находиться окруженное зубчатыми горами и ледниками Нежданное озеро, дно которого было выложено чистым золотом. Как говорила молва, золотоискатели-старожилы, имена которых давно были преданы забвению, ныряли в ледяную воду Неж-

данного озера и выносили оттуда на поверхность золотые самородки. В различные времена отдельные партии золотоискателей проникали за неприступную твердыню и обирали золотое дно озера. Но вода в озере была ледяная. Многие умирали в воде, и их вытаскивали уже бездыханными. Другие умирали от чахотки. Оставшиеся в живых предполагали вернуться еще раз сюда, чтобы осушить озеро, но никто из них не выполнил этого намерения. С ними происходили всевозможные несчастья. Один попал в полынью на Юконе ниже Сороковой Мили; другого растерзали и съели его собственные собаки; третьего раздавило упавшее дерево. Так передавала молва. Нежданное озеро превратилось в место, населенное нечистой силой; никто больше не помнил, как можно пройти к нему, и золото по-прежнему покрывало его неосушенное дно.

Местонахождение Двух Срубов — не менее мифических — указывалось несколько точнее. На расстоянии «пяти ночлегов» от реки Стюарт, вверх по реке Мак-Квещен, стояли два старых сруба. Они были такие ветхие, что, должно быть, их поставили еще до того, как первый золотоискатель появился в бассейне Юкона. Странствующие охотники за лосями, с которыми Смок встречался

в пути и разговаривал, уверяли, будто они набрели на эти две хижины несколько лет назад, но напрасно искали те золотые россыпи, которые, по слухам, разрабатывали там прежние искатели приключений.

— Мне хотелось бы, чтобы ты отправился со мной, — задумчиво произнес Малыш, когда они расставались. — Из-за того только, что у тебя в ногах зуд, не стоит ввязываться в разные неприятности. Их не оберешься в этом проклятом месте. А что тут орудует нечистая сила, так это верно, судя по тому, что мы с тобой слышали.

— Хорошо, Малыш. Я немножко проедусь и вернусь обратно в Доусон не позже чем через шесть недель. Путь по Юкону гладок, и первые сто миль или около того по Стюарту тоже, вероятно, укатаны. Старожилы с Гендерсона говорили мне, что несколько саней отправились туда осенью после ледостава. Если я нападу на их след, я буду делать по сорок, а то и по пятьдесят миль в день. Я наверное через месяц уже буду здесь, только бы мне добраться!

— Только бы добраться! Вот это и беспокоит меня. Ну, пока до свидания, Смок. Держи ухо востро насчет нечистой силы — это главное. И не смущайся, если тебе придется вернуться без

«медвежатины».

II

Неделю спустя Смок очутился среди беспорядочно нагроможденных горных цепей южнее Индейской реки. На хребте между этой рекой и Клондайком он бросил сани и нагрузил своих собак. Шесть громадных собак понесли каждая по пятьдесят фунтов, и на спине Смока была точно такая же ноша. Он шел впереди по рыхлому снегу, утаптывая его лыжами, а за ним вереницей пробирались собаки.

Он полюбил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, молчаливую пустыню и беспредельные снежные пространства, по которым еще не ступала нога человека. Кругом возвышались ледяные вершины гор, безымянных, не нанесенных на карты. Его глаз ни разу не уловил и следов дымка, поднимающегося в неподвижном воздухе долин от охотничьего лагеря. Он шел один среди задумчивого покоя нетронутой пустыни, и одиночество не тяготило его. Он любил все это — и тяготы трудового дня, и грызню собак, и приготовления к ночлегу в долгие сумерки, и мерцание звезд над головой, и пышное зрелище северного сияния.

В особенности же он любил свой лагерь к концу

дня; в нем он видел картину, которую мечтал когда-нибудь написать и которую, он знал, никогда не забудет — утоптанная площадка в снегу с разведенным костром; несколько одеял из заячьих шкурок, брошенные на только что срубленные ветви; натянутый кусок парусины, задерживающий и отбрасывающий назад тепло от костра; почерневший кофейник и котелок на длинном шесте; мокасины, развешанные на жердях для просушки, лыжи в снегу острием вверх, и сквозь пламя костра — собаки, льнущие к теплу, голодные и алчные, лохматые, покрытые инеем, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе лапы. А кругом — оттесненная назад стена сплошного мрака.

В такие минуты Сан-Франциско, «Волна» и О'Хара казались бесконечно далекими, затерявшимися в незапамятном прошлом тенями несбывшихся снов. Ему с трудом верилось, что он когда-то знал иную жизнь; и еще труднее ему было примириться с мыслью, что он когда-то прозябал и болтался среди богемы в городской суете. Один, среди снегов он много размышлял, и мысли его стали глубже и проще. Его приводила в ужас никчемность городской жизни, дешевая философия книг и школ, рассудочный цинизм

артистических студий и редакций, лицемерие дельцов в их клубах. Все люди, живущие в городской суете, не знали как следует ни вкуса пищи, ни настоящего сна, ни ощущения здоровья; им не были знакомы ни томления настоящего аппетита, ни чувство здоровой усталости, ни бушевание кипучей сильной крови, пощипывающей после работы все тело, точно вино.

Этот чудесный разумный спартанский Север существовал во все времена, и он не знал этого. Он не мог понять, каким образом он, обладающий внутренним чутьем, ни разу не слыхал его призывного шепота, не отправился на его поиски.

— Понимаешь, Рыжий, я все-таки вырвался на свободу.

Собака, которую он позвал, подняла сначала одну переднюю лапу, потом другую — быстрым, точно успокаивающим движением снова закрыла их своим пушистым хвостом и усмехнулась ему сквозь пламя костра.

— Герберту Спенсеру было около сорока лет, когда он понял вдруг, чего он хочет и где цель его жизни. Я не так тяжел на подъем. Я не стал ждать и тридцати, чтобы понять себя. Здесь как раз я нашел свою цель и свое призвание. Мне почти хотелось бы, Рыжий, родиться волчонком и быть

братом тебе и тебе подобным.

Несколько дней он пробирался среди хаоса ущелий и гор, которые невозможно было подчинить какому-либо топографическому плану. Казалось, их набросал сюда какой-то космический проказник. Напрасно Смок искал речки или ручьи, которые должны были течь по направлению к югу, к рекам Мак-Квещен и Стюарт. И вдруг разразилась буря в горах, налетел снежный ураган, поднявший настоящий ад в глубоких пустынных ущельях. Находясь выше полосы леса, Смок два дня бродил ощупью без огня и искал спуска. На второй день он добрался до края высокой каменной стены. Снег был так густ, что Смок не мог разглядеть основание этой стены; начать спускаться было бы слишком рискованно. Он завернулся в свои одеяла, и собаки окружили его, тесно прижавшись друг к другу в глубине снежного сугроба. Но заснуть он боялся.

Наутро буря стихла, и он выполз из-под одеял, отправившись на разведку. На расстоянии четверти мили ниже его, вне всякого сомнения, лежало замерзшее озеро, занесенное снегом. Кругом со всех сторон возвышались зубчатые горы. Все соответствовало описанию. Смок нечаянно нашел Нежданное озеро.

— Удачное название, — пробормотал он час спустя, выходя на берег. Деревьев, кроме небольшой группы вековых сосен, здесь не было. Спускаясь к озеру, он наткнулся на три могилы, занесенные снегом, которые можно было узнать по грубо высеченным столбам, стоявшим в головах, с неразборчивыми надписями. Около сосен виднелась небольшая ветхая хижина. Он поднял щеколду и вошел. В углу, на том, что некогда было постелью из сосновых ветвей, лежал скелет, завернутый в грязные меха, превратившиеся теперь в груду лохмотьев. «Последний посетитель Нежданного озера», — подумал Смок, поднимая кусок золота величиной в два кулака. Рядом с этим куском стояла банка из-под перца, наполненная самородками величиной с грецкий орех, с шероховатой поверхностью, без следов промывки.

Смок без всяких колебаний решил — настолько сильна была его вера в рассказы про озеро, — что золото это добыто со дна озера. Под слоем льда в несколько футов толщиной оно было недоступно, и ему теперь нечего было здесь делать. В полдень он бросил прощальный взгляд с края скалистой стены на открытое им озеро.

— Все в порядке, мой друг Озеро, — проговорил он. — Ты прекрасно сделаешь, если останешься

на своем старом месте. Я вернусь сюда, чтобы осушить тебя, если только не попадусь в лапы нечистой силе. Не пойму, как я попал сюда, но я узнаю это по тому, как выберусь отсюда.

III

В небольшой долине на берегу замерзшего ручья, под благодетельной защитой нескольких сосен Смок четыре дня спустя развел костер. Где-то там, в белом хаосе, который он оставил позади, должно было находиться Нежданное озеро — где-то, но он не мог уже сказать — где, потому что четверо суток, в течение которых он пробирался вперед, борясь с густым, слепящим глаза снегом, скрыли путь к нему, и Смок не знал, в каком направлении оно находилось. У него было такое чувство, точно он только что пришел в себя после кошмара. Он не отдавал себе отчета в том, прошло ли четыре дня или целая неделя. Он спал вместе с собаками, пробирался через бесчисленное множество мелких перевалов, следовал за извилинами страшных ущелий, оканчивающихся тупиками, причем ему только два раза удалось развести костер и отогреть мороженую оленину. И вот теперь он был сыт и прекрасно отдохнул. Буря прошла, было ясно и холодно. Местность

снова приняла свой обычный вид. Речка, на которой он оказался, была самая обыкновенная и направлялась, как оно и должно было быть, на юго-запад. Но Нежданное озеро было потеряно для него точно так же, как оно было потеряно для всех исследователей в далеком прошлом.

Полдня пути вниз по речке привели его в долину большой реки, которая, по его расчетам, и была Мак-Квещен. Здесь он застрелил лося, и собаки опять понесли на себе по пятьдесят фунтов мяса. Спустившись по Мак-Квещен, он набрел на санный путь. Недавно выпавший снег слегка запорошил его сверху, но снизу он был прекрасно укатан. Смок решил, что на Мак-Квещен были расположены два лагеря и что этот путь соединял их. Очевидно, Два Сруба были открыты, и он отправился вниз по течению.

Было сорок градусов ниже нуля, когда он расположился на ночлег, и он заснул, раздумывая над тем, кто были люди, открывшие Два Сруба, и найдет ли он их на следующий день. С первыми проблесками рассвета он пустился в путь, без особого труда следуя по полузанесенной дороге и утаптывая недавно выпавший снег лыжами, чтобы собаки не проваливались.

И тут-то произошло нечто неожиданное —

неожиданность эта подкарауливала его на повороте реки. Ему казалось, что он услышал и почувствовал одновременно. Гул ружейного выстрела раздался справа, и пуля, прорвав плечо его парки[4] и шерстяной куртки, силой удара заставила его повернуться вокруг своей оси. Он зашатался на своих лыжах, пытаясь восстановить равновесие, и услыхал второй выстрел. На этот раз стрелявший промахнулся. Смок не стал дольше ждать и бросился ползком по снегу под защиту деревьев, растущих на берегу в ста футах. Еще и еще раз прогремел выстрел, и Смок сделал неприятное открытие, что по спине у него струится теплая жидкость.

Он вскарабкался на берег, собаки за ним и углубился в чащу деревьев и кустарников. Сойдя с лыж, он пополз по снегу и осторожно выглянул. Ничего не было видно. Тот, кто в него стрелял, вероятно, спокойно лежал в засаде между деревьями на противоположном берегу.

— Если в ближайшие минуты не случится что-нибудь, — пробормотал Смок через полчаса, — то придется выбраться отсюда и развести огонь, а не то я отморожу себе ноги. Рыжий, как бы ты

---

[4] notes: 4

Парка — широкая верхняя одежда из меха, которую обычно носят эскимосы и другие жители полярных стран.

поступил на моем месте, если бы ты лежал на морозе с застывающей в жилах кровью, а перед тобой был бы человек, который во что бы то ни стало хотел бы пустить в тебя пулю?

Он отполз на несколько ярдов назад, утоптал снег, проплясал джигу, от которой кровь снова прилила к его ногам, и устроился так, чтобы выдержать еще полчаса. И вдруг с реки до него донесся звон бубенчиков на собаках. Выглянув, он увидел сани, выехавшие из-за поворота реки. У рулевого шеста бежал человек. Это появление произвело на Смока потрясающее впечатление: это было первое человеческое существо, которое он увидел с тех пор, как расстался с Малышом три недели назад. Вторая его мысль была о человеке, стрелявшем из засады на другом берегу.

Смок предостерегающе свистнул. Человек не слышал его и продолжал бежать. Смок свистнул еще раз, громче. Человек гикнул на собак, остановился и обернулся к Смоку лицом в ту самую минуту, когда грянул выстрел. В следующее мгновение Смок выстрелил по направлению деревьев на звук выстрела. Человек на реке был сражен первым же выстрелом. Сила удара пули была так велика, что он пошатнулся. Его сильно качнуло к саням, он наполовину упал и вытащил

из-под упряжи ружье. В то время как он пытался поднести его к плечу, он скорчился, бессильно опустился и принял сидячее положение, прислонившись к саням. Потом внезапно, после того как ружье выстрелило в небо, он опрокинулся назад в угол саней, так что Смоку были видны только его ноги и живот.

С низовьев реки послышался звон новых бубенчиков. Человек не шевелился. Из-за поворота показалось трое саней в сопровождении шести человек. Смок предостерегающе крикнул им, но они уже видели, что с первыми санями случилось что-то неладное, и бросились к ним. На другом берегу выстрелы прекратились, и Смок вышел из засады, позвав собак. Среди новоприбывших раздались возгласы, и двое из них, сбросив с правой руки рукавицы, направили в него свои ружья.

— Поди сюда ты, убийца! — крикнул один из них, человек с черной бородой. — И сейчас же брось ружье в снег!

Смок в нерешительности колебался, потом бросил ружье и пошел к ним.

— Обыщи его, Луи, да отбери у него оружие, — скомандовал чернобородый.

Луи, канадский француз, как решил Смок, выполнил приказание. Он нашел у Смока только

охотничий нож, который и был отобран.

— Ну, что вы можете сказать в свое оправдание, незнакомец, пока я не пристрелил вас? — спросил чернобородый.

— Что вы ошибаетесь, думая, будто я убил этого человека, — отвечал Смок.

В эту минуту раздались возгласы. Один из новоприбывших, осматривая дорогу, нашел следы, оставленные Смоком на снегу, когда он свернул к деревьям на берегу реки. Человек по-своему объяснил происхождение этих следов.

— Почему вы убили Джо Кинэда? — спросил человек с черной бородой.

— Я уже сказал вам, что это не я… — начал было Смок.

— Нечего зря болтать. Мы поймали вас на месте преступления. Вот здесь вы сошли с дороги, когда услыхали, что он едет. Вы залегли среди деревьев, устроили засаду; вы стреляли в упор. Промаха быть не могло. Пьер, принеси-ка ружье, которое он бросил.

— Дайте мне рассказать, как все произошло, — проговорил Смок.

— Замолчите, — рявкнул на него чернобородый, — ваше ружье расскажет нам все.

Все принялись рассматривать ружье Смока,

вынули и пересчитали патроны и внимательно исследовали дуло и магазин.

— Один выстрел, — решил чернобородый.

Пьер, у которого ноздри раздувались и дрожали, как у животного, понюхал магазин.

— Один выстрел и совсем свежий, — сказал он.

— Пуля попала ему в спину, — заметил Смок. — Он стоял обернувшись ко мне лицом, когда в него выстрелили. Вам не ясно, что стреляли с другого берега?

Одно мгновение чернобородый взвешивал это предположение, потом покачал головой.

— Нет. Не годится. Поверните его лицом к тому берегу. Вот как вы угодили ему в спину. Кто-нибудь из вас, ребята, пробегитесь-ка по дороге и посмотрите, нет ли следов к тому берегу.

Рапорт гласил, что на той стороне снег был нетронут. Даже заячьего следа и то не было. Чернобородый нагнулся над убитым и выпрямился, держа в руках мохнатый шерстистый пыж. Разрезав его, он нашел в самой середине пулю, которая пронзила тело убитого. Передний конец ее расплющился и был величиной с полдоллара, а другой конец, покрытый сталью, был невредим. Он сравнил ее с патроном, вынутым из патронташа Смока.

— Дело ясное, незнакомец, — слепой и тот поймет. Нос у нее мягкий, конец стальной; и у вашей нос мягкий и конец стальной. Калибр ее тридцать три, и у вашей тридцать три. Фирма Оружейной Компании Г. и Т., и ваша изготовлена Оружейной Компанией Г. и Т. Пойдемте-ка вместе с нами на берег и посмотрим, как вы все это проделали.

— На меня самого напали из засады, — проговорил Смок. — Взгляните на дыру в моей парке.

Пока чернобородый исследовал парку Смока, один из его спутников раскрыл магазин ружья убитого. Судя по всему, из него был сделан один выстрел. Пустой патрон был налицо.

— Досадно, черт побери, что бедняга Джо не попал в вас, — произнес с горечью чернобородый. — И все-таки недурной выстрел с такой-то дырой в теле, как у него. Ну, пошли!

— Обыщите сначала тот берег, — настаивал Смок.

— Довольно разговаривать, идемте, и пусть факты сами говорят за себя.

Они сошли с дороги в том самом месте, где сошел Смок, и пошли по его следам к берегу, в чащу деревьев.

— Он плясайт тут и согревайт нога, — указал Луи. — Тут он ползать на живот. Тут он поставит

локоть и стреляйт…

— Клянусь богом! Вот и пустой патрон! — сделал новое открытие чернобородый. — Ребята, нам остается только одно…

— Прежде спросите меня, почему я сделал этот единственный выстрел, — прервал его Смок.

— Я вобью тебе зубы в самую глотку, если ты будешь мешаться не в свое дело. Ты будешь отвечать, когда тебя будут спрашивать. Вот что, ребята, все мы люди порядочные и уважаем закон, и мы будем действовать по закону, как полагается. Далеко мы, по-твоему, отъехали, Пьер?

— Миль двадцать будет.

— Прекрасно. Мы припрячем наши пожитки и повезем его и беднягу Джо обратно в поселок Два Сруба. Я думаю, что мы достаточно видели, и наших показаний будет довольно, чтобы его вздернули.

IV

Три часа спустя после наступления темноты Смок и захватившие его золотоискатели вместе с телом убитого товарища подъехали к Двум Срубам. При свете звезд Смоку удалось рассмотреть около дюжины недавно построенных хижин, ютившихся возле старого дома, который был

больше других и стоял на самом берегу реки. Смока втолкнули в этот дом, и он увидел молодого гиганта с женой и слепым стариком. Жена, которую муж называл Люси, была статная женщина того типа, который часто встречается на границе. Старик, как потом узнал Смок, был долгие годы охотником на реке Стюарт и ослеп прошлой зимой. Поселок Два Сруба, как тоже впоследствии узнал Смок, был разбит прошлой осенью двенадцатью золотоискателями, приехавшими сюда на шести лодках, нагруженных припасами. Здесь они нашли слепого охотника и вокруг его дома выстроили свои собственные. Более поздние пришельцы, прибывшие по льду на собаках, утроили население. Мяса здесь было достаточно, кроме того, здесь оказался золотоносный пласт, который прибывшие и принялись разрабатывать.

Через пять минут все мужчины Двух Срубов набились в комнату. Смок, затиснутый в самый угол, среди чужих, неприязненно настроенных людей, со связанными руками и ногами, занимался наблюдениями. Он насчитал тридцать восемь человек — дикая, страшная шайка — все выходцы из ближайших штатов или искатели приключений из Верхней Канады. Схватившие его люди рассказывали, каждый в отдельности,

его историю и составляли центр возбужденной и враждебной Смоку группы. Раздавались восклицания:

— Линчевать его, и дело с концом, чего еще ждать!

А одного громадного детину, ирландца, едва удержали: он хотел броситься на беспомощного пленника и избить его.

Пересчитывая собравшихся, Смок вдруг увидел знакомое лицо. Это был Брэк, тот самый Брэк, лодку которого Смок переправил через пороги. Он недоумевал, почему тот не подойдет к нему и не заговорит, но сам он и виду не показывал, что узнал его. Потом, когда Брэк исподтишка сделал ему знак, Смок понял.

Чернобородый, которого звали Эли Гардинг, прекратил споры о том, линчевать ли немедленно пленника.

— Стойте! — прогремел Гардинг. — Не торопитесь! Этот человек принадлежит мне. Я поймал и доставил его сюда. Уж не воображаете ли вы, что я притащил его сюда только для того, чтобы линчевать? Вовсе нет. Это я мог сделать и сам, когда он попался мне в руки. Я привез его сюда для справедливого и правильного суда, и, клянусь Богом, суд будет правильный и справедливый.

Мы доставили его целым и невредимым. Бросьте его на койку до утра, а завтра мы устроим суд.

V

Смок проснулся. Ледяная струя воздуха сверлила ему плечо в то время, как он лежал на боку, повернутый лицом к стене. Когда его бросили сюда, этой струи не было, а теперь холодный воздух снаружи, проникающий в разгоряченную атмосферу хижины с силой давления в 50° ниже нуля, служил явным доказательством того, что кто-то снаружи вытащил мох, забитый между бревнами. Смок подвинулся, насколько ему позволяли его узы, вытягивая шею до тех пор, пока ему не удалось приблизить губы к щели между бревнами.

— Кто там? — шепотом спросил он.

— Брэк, — услыхал он в ответ. — Осторожно, не шумите. Сейчас я просуну вам нож.

— Не стоит, — проговорил Смок. — Ни к чему. Руки у меня связаны сзади и привязаны к ножке койки. Кроме того, вам не просунуть ножа через эту щель. Но что-нибудь нужно сделать. Эти парни, кажется, ничего не имеют против того, чтобы меня повесить, а ведь я не убивал этого человека.

— Вы напрасно мне это говорите, Смок. А если вы и убили, то, значит, у вас были на то основания. Не в этом дело. Мне хотелось бы вас выручить. Здешние люди — народ упрямый. Вы сами видели. Отрезанные от мира, они сочиняют и навязывают всем свои собственные законы — через собрания золотоискателей. Они расправились недавно с двумя: оба провинились в краже припасов. Одного они выгнали из поселка без единой унции пищи и без спичек. Он сделал около сорока миль и через два-три дня замерз. Две недели назад они прогнали еще одного. Ему был предоставлен выбор: или уйти совсем без пищи, или получить по десяти ударов плети за дневное пропитание. Он выдержал только сорок ударов. Теперь вы попались к ним в лапы, и они все до последнего уверены, что Кинэда убили вы.

— Человек, убивший Кинэда, стрелял также и в меня. Его пуля задела мне плечо. Попробуйте уговорить их отложить суд до тех пор, пока кто-нибудь из них не исследует берег, где скрывался убийца.

— Бесполезно. Они верят Гардингу и пяти французам, которые были с ним. К тому же они давно никого не вешали, и у них руки чешутся. Надо сказать, что жизнь здесь крайне однообразна. Им

не удалось напасть на что-нибудь интересное, а искать Нежданное озеро им уже надоело. В самом начале зимы они устраивали состязания на заявки, но теперь и это бросили. Среди них появилась цинга, и они жаждут сильных ощущений.

— И, по-видимому, мне суждено дать им это ощущение? — заметил Смок. — Скажите мне, Брэк, как вы попали в компанию этой проклятой шайки?

— После того как я занял заявки на Бабьем ручье и поставил там на работу нескольких человек, я забрел сюда в поисках Двух Срубов и попал к ним в лапы. Они заставили меня подняться выше по Стюарту. Вернулся я только вчера, потому что у меня кончились припасы.

— Нашли что-нибудь?

— Мало. Но у меня есть один проект гидравлического сооружения, от которого я жду многого, когда вскроются реки. Или этот проект, или же золоточерпалка.

— Подождите, — прервал его Смок. — Одну минутку. Дайте сообразить.

Он внимательно прислушивался к храпению спящих, обдумывая мысль, мелькнувшую у него в голове.

— Скажите, Брэк, они открыли тюки с мясом,

которые были на собаках?

— Некоторые — да. Это было при мне. Они сложили их в кладовой Гардинга.

— Что там было?

— Мясо.

— Отлично. Разверните тюк, завернутый в коричневую парусину, заплатанную лосиной шкурой. Там вы найдете несколько фунтов золота в самородках. Вы никогда не видели здесь такого золота, да и никто не видел. Вот что вам придется сделать. Выслушайте меня!

Четверть часа спустя, снабженный инструкциями и жалуясь на отмороженные пальцы на ногах, Брэк ушел. Смок, чувствуя, что его собственный нос и одна щека застыли от близости щели, целых полчаса тер свое лицо об одеяло, пока щеки у него не загорелись и их не закололо, точно иголками.

VI

— Мое убеждение непоколебимо. Нет никакого сомнения в том, что именно он убил Кинэда. Мы слышали всю историю еще вчера вечером. Стоит ли повторять ее сначала? Я голосую: виновен!

Так начался суд над Смоком. Оратор, нескладный и упрямый, малый из Колорадо, проявил

недовольство и негодование, когда Гардинг остановил его, требуя, чтобы все было сделано по правилам, и предложил одного из присутствующих, Шэнка Вильсона, в судьи и председатели собрания. Население Двух Срубов изображало собой присяжных, а женщина, Люси, после краткого совещания была лишена права голоса.

Между тем Смок, прижатый в угол, подслушал разговор, который шепотом вели между собой Брэк и один золотоискатель.

— Не продадите ли вы мне пятьдесят фунтов муки? — спросил Брэк.

— У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне, — был ответ.

— Я дам двести.

Золотоискатель покачал головой.

— Триста! Ну, триста пятьдесят!

Когда Брэк дошел до четырехсот, золотоискатель кивнул головой в знак согласия:

— Пойдемте ко мне в хижину и отвесим песок.

Оба направились к двери и вышли. Через несколько минут Брэк вернулся один.

Гардинг как раз давал свои показания, когда Смок заметил, что дверь слегка приотворилась и в щелку заглянуло лицо того самого золотоискателя, который продал муку. Он гримасничал и

усиленно делал знаки кому-то в комнате, пока, наконец, золотоискатель, сидевший у печки, не встал и не пошел к двери.

— Ты куда, Сэм? — спросил Шэнк Вильсон.

— Я сейчас вернусь, — отвечал Сэм. — Мне нужно выйти.

Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям, и он только что увлекся перекрестным огнем с Гардингом, как вдруг со двора донесся визг собак и скрип полозьев. Кто-то из сидящих у двери выглянул.

— Это Сэм с товарищем. Они точно сумасшедшие несутся по дороге к Стюарту, — сообщил он.

С полминуты никто не произносил ни слова, все многозначительно переглядывались, и в переполненной комнате чувствовалось всеобщее волнение. Уголком глаза Смок видел Брэка, Люси и ее мужа, которые о чем-то перешептывались.

— Послушайте-ка, вы, — грубо обратился Шэнк Вильсон к Смоку. — Сократите ваши вопросы. Мы отлично понимаем, на что вы напираете, — что тот берег не обыскан. Свидетель это допускает. Мы допускаем это. В этом нет необходимости. К тому берегу не вело никаких следов. Снег был нетронутый.

— Но на том берегу все-таки был человек, — на-

стаивал Смок.

— Не слишком увлекайтесь, молодой человек. Нас не так уж много на Мак-Квещен, и мы всех знаем наперечет.

— Кто был тот человек, которого вы выгнали две недели тому назад? — спросил Смок.

— Алонсо Мирамар. Мексиканец. Какое отношение имеет к вам этот воришка?

— Никакого решительно. Разве только, что его вы не приняли в расчет, господин судья.

— Он пошел вниз по реке, а не вверх.

— Откуда вы знаете, куда он пошел?

— Я видел, когда он уходил.

— И это все, что вы знаете о его судьбе?

— Нет, не все, молодой человек. Я знаю, да и все мы знаем, что пищи у него было с собой на четыре дня и что у него не было ружья, чтобы стрелять дичь. Если он не пошел в поселок на Юконе, он давно умер с голоду.

— По-видимому, в этой местности у вас все ружья сосчитаны? — ядовито заметил Смок.

Шэнк Вильсон вышел из себя.

— Можно подумать, что обвиняемый я, так вы засыпаете меня вопросами. Следующий свидетель! Куда же делся француз Луи?

Пока француз Луи пробирался вперед, Люси

отворила дверь.

— Куда вы? — спросил Шэнк Вильсон.

— А зачем мне здесь сидеть? — отвечала она вызывающе. — Голосовать мне нельзя, а кроме того, моя хижина так набита народом, что в ней дышать трудно.

Через несколько минут муж последовал за ней. Когда дверь со стуком затворилась, судья заметил, что кто-то вышел.

— Кто это? — спросил он, прерывая показания Пьера.

— Билл Пибоди, — ответил кто-то. — Он сказал, что ему нужно спросить о чем-то жену и что он скоро вернется.

Вместо Билла вернулась Люси, сняла меховую шубу и уселась на свое место возле печки.

— Я думаю, нам незачем выслушивать показания остальных свидетелей, — решил Шэнк Вильсон, когда Пьер кончил. — Мы знаем, что они подтвердят те же факты, которые нам и так известны. Слушай, Соренсон, пойди и позови Билла Пибоди. Мы сейчас вынесем приговор. Теперь, незнакомец, можете сказать все, что вы хотите. А мы, чтобы не терять попусту времени, пустим по рукам два ружья, патроны и пулю, которой было совершено убийство.

Во время рассказа Смока о том, как он попал в эти края, и в самый разгар описания нападения на него из засады и бегства на берег его прервал негодующий голос Шэнка Вильсона:

— Молодой человек, какой смысл в этом вашем рассказе? Вы только зря отнимаете драгоценное время. Понятно, вы имеете право лгать для спасения своей шкуры, но только мы не такие дураки, за каких вы нас принимаете. Ружье, патроны, пуля, которой был убит Джо Кинэд, — все говорит против вас… Что там такое? Отворите дверь!

Морозное облако ворвалось в комнату; оно приняло определенную форму и субстанцию в жаркой атмосфере, и в отворенную дверь донесся визг собак, который скоро замер вдали.

— Это Соренсон и Пибоди! — крикнул кто-то. — Они погнали собак вниз по реке.

— Какого черта… — Шэнк Вильсон так и остался с раскрытым ртом и посмотрел на Люси. — Надеюсь, вы объясните нам, миссис Пибоди?

Она покачала головой и сжала губы. Подозрительный и негодующий взгляд Шэнка Вильсона перешел на Брэка.

— И я думаю, что тот новичок, с которым вы перешептывались, тоже мог бы объяснить нам кое-что, если бы захотел.

Положение Брэка было не из приятных; все взоры устремились на него.

— Сэм сговаривался с ним о чем-то, прежде чем уйти, — заявил кто-то.

— Послушайте, мистер Брэк, — продолжал Шэнк Вильсон, — вы прервали наше заседание и поэтому извольте объяснить, в чем дело. О чем вы шептались?

Брэк нерешительно откашлялся и отвечал:

— Я хотел купить немного муки.

— На что?

— Понятно, на песок.

— Откуда он у вас взялся?

Брэк молчал.

— Он вынюхивал что-то в верховьях Стюарта, — ответил за него какой-то старатель. — Я наткнулся на его стоянку с неделю тому назад, когда охотился. И должен вам сказать, что он имел очень таинственный вид.

— Песок не оттуда, — сказал Брэк. — Там у меня только проект одного гидравлического сооружения.

— Выкладывайте ваш мешок и показывайте песок! — скомандовал Вильсон.

— Уверяю вас, песок не оттуда.

— Все равно покажите его.

Брэк собирался было ослушаться, но со всех сторон его окружали угрожающие лица. Неохотно он начал рыться в своем кармане. В то время как он вытаскивал банку из-под перца, она стукнула о что-то твердое.

— Выкладывайте все! — прогремел Уильсон.

И тут появился на свет самородок величиною в два кулака и такой желтизны, какой никогда еще не видел ни один из присутствующих. Шэнк Вильсон раскрыл рот от изумления. С полдюжины золотоискателей при виде его кинулись к двери; ругаясь и толкаясь, протискивались они сквозь узкую дверь. Судья высыпал содержимое банки из-под перца на стол, и при виде кусков золота еще шесть человек бросились к двери.

— Куда ты? — спросил Гардинг, когда Шэнк приготовился последовать их примеру.

— За собаками, ясно.

— А вешать его?

— Это отнимет слишком много времени. Подождет, когда мы вернемся. Будем считать, что суд отложен. Сейчас нельзя терять времени.

Гардинг стоял в нерешительности. Он бросил свирепый взгляд на Смока, увидел Пьера, который из-за двери делал знаки Луи, кинул последний взгляд на самородки на столе и окон-

чательно решился.

— Не воображайте, что вам удастся улизнуть! — кинул он через плечо Смоку. — Впрочем, я заберу ваших собак.

— Что случилось? Опять какая-нибудь проклятая заявка? — спросил слепой охотник странным фальцетом, когда в хижину ворвались голоса людей, лай собак и скрип саней.

— Наверное, — отвечала Люси. — Я никогда не видела такого золота. Возьмите его в руку, дедушка.

Она положила самородок старику в руку. Но он не проявил ни малейшего интереса.

— Какая это была чудесная пушная страна, — сказал он жалобно, — пока не появились эти проклятые золотоискатели и не испортили ее.

Отворилась дверь, и вошел Брэк.

— Ну, вот, — сказал он, — от всего лагеря остались только мы четверо. До Стюарта сорок миль по тому пути, который я проложил, и самые прытки вернутся не раньше чем через пять-шесть дней. Собирайтесь, Смок, и притом как можно скорее!

Брэк перерезал охотничьим ножом ремни, связывавшие Смока, и взглянул на женщину.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против? —

спросил он с изысканной любезностью.

— Если тут собираются стрелять, — прервал его слепой старик, — то пусть сначала кто-нибудь отведет меня в другую хижину.

— Делайте свое дело и не обращайте на меня внимания, — сказала Люси. — Если я недостаточно хороша для того, чтобы повесить человека, то, вероятно, я не гожусь также и для того, чтобы задержать его.

Смок встал, потирая себе руки в тех местах, где ремни нарушили кровообращение.

— Я приготовил для вас кое-что, — сказал Брэк, — провиант на десять дней, одеяла, спички, табак, топор и ружье.

— Отправляйтесь, незнакомец, — прибавила Люси, — и старайтесь держаться холмов. Поезжайте как можно скорее.

— Перед дорогой мне хотелось бы подкрепиться как следует, — проговорил Смок. — А если я поеду, то поеду я вверх по Мак-Квещен, а не вниз. Я хотел бы, чтобы и вы отправились со мной, Брэк. Мы поищем на том берегу человека, который действительно совершил убийство.

— Если вы послушаетесь меня, то вы поедете вниз по Стюарту и по Юкону, — заметил Брэк. — Когда эта шайка вернется обратно с моей

гидравлической установки, к ней лучше не подступайся.

Смок засмеялся и покачал головой.

— Я не могу бежать отсюда, Брэк, у меня тут дела. Мне нужно остаться и все выяснить. Не знаю, поверите вы мне или нет, только я нашел Нежданное озеро. Это золото оттуда. К тому же они угнали моих собак, и я должен дождаться их возвращения. Я знаю, что говорю. На том берегу прятался человек. И он был достаточно близко, чтобы стрелять в меня почти в упор.

Полчаса спустя, сидя перед тарелкой с кусками жареного лося и поднося ко рту большую кружку кофе, Смок вдруг приподнялся со своего места. Он первый услыхал шум. Люси отворила дверь.

— Здорово, Спайк! Здорово, Методи! — приветствовала она двух запушенных инеем мужчин, наклонившихся над поклажей в санях.

— Мы из Верхнего Лагеря, — проговорил один из них. Они осторожно входили в комнату, внося какой-то завернутый в меха предмет, с которым обращались необыкновенно бережно. — Вот что мы нашли на дороге. Надеюсь, он в сохранности.

— Положите его на скамью, — сказала Люси.

Она наклонилась и откинула меха, открыв лицо, на котором, казалось, не было ничего, кроме

огромных, широко раскрытых черных глаз.

— Да ведь это Алонсо! — воскликнула она. — Ах он, несчастный, он умирает с голоду!

— Это и есть человек с другого берега, — сказал вполголоса Смок Брэку.

— Мы нашли его, когда он обчищал тайник, оставленный, должно быть, Гардингом, — пояснил один из прибывших. — Он ел сырую муку и мороженое сало, и когда мы его забирали, он визжал и кричал, словно ястреб. Взгляните на него. Он изголодался вконец, ноги и руки у него отморожены. Того и гляди помрет.

Полчаса спустя, когда меха закрыли лицо неподвижной человеческой фигуры на скамье, Смок обратился к Люси:

— Если вы ничего не имеете против, миссис Пибоди, я съел бы еще кусок жаркого. Только потолще и не слишком прожаренный.

Состязание на первенство

I

— Гм! Облачаешься в праздничное одеяние?

Малыш наблюдал за своим товарищем с напускным неодобрением, а Смок злился, тщетно пытаясь расправить складки на только что надетых брюках.

— Они тебе, наверное, узки, не на тебя ведь сшиты! — продолжал Малыш. — Сколько заплатил?

— Сто пятьдесят за весь костюм, — ответил Смок. — Он был почти с меня ростом, тот человек. Мне показалось, что это весьма сходная цена. Чего ты ворчишь?

— Кто? Я? И не думаю! Я как раз размышлял о том, что и повезло же некоему любителю медвежатины, который явился в Доусон верхом на льдине, без припасов, с одной только сменой белья, с одной парой изношенных мокасинов и верхним платьем, выглядевшим так, будто выдержало несколько кораблекрушений. А теперь! Прекрасный вид, дружище! Превосходно! Скажи-ка мне…

— Что тебе еще нужно? — недовольно спросил

Смок.

— Как ее зовут?

— Да тут вовсе и нет никакой ее, мой друг. Я приглашен на обед к полковнику Бови, если тебе непременно нужно знать. Я понимаю, в чем дело, Малыш! Ты завидуешь, что я приглашен в высшее общество, а ты нет.

— Ты не опоздаешь? — заботливо спросил Малыш.

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

— К обеду. Они уже, наверное, будут сидеть за ужином, когда ты до них доберешься.

Смок хотел было ответить с преувеличенным сарказмом, но вдруг заметил особый блеск в глазах собеседника. Он продолжал одеваться, завязывая пальцами, утратившими прежнюю ловкость, галстук виндзорским узлом у ворота своей мягкой бумажной рубашки.

— Экая досада, что я отправил все свое крахмальное белье в прачечную, — сочувственно пробормотал Малыш, — а то я нарядил бы тебя.

В эту минуту Смок старался натянуть на ноги ботинки. Шерстяные носки были чересчур толсты, и он с умоляющим видом посмотрел на Малыша, но тот лишь покачал головой.

— Нет. Если бы у меня и нашлись тонкие носки,

я ни за что не дал бы их тебе. Полезай обратно в мокасины. Ты наверняка отморозишь себе пальцы в этаких тонких штуках.

— Я заплатил за них пятнадцать долларов, за подержанные, — жалобно произнес Смок.

— Мне сдается, что там не будет ни одной души не в мокасинах, — сказал Малыш.

— Но там будут женщины, Малыш! Я буду сидеть и есть рядом с настоящими живыми женщинами. С миссис Бови и с другими, так мне сказал полковник.

— Ну и что, мокасины не испортят им аппетита, — решил Малыш. — Хотелось бы мне знать, зачем ты понадобился полковнику?

— Право, не знаю. Может быть, он слышал, что я открыл Нежданное озеро. Чтобы осушить его, потребуется целое состояние, а Гуггенгеймы ищут, куда бы пристроить свои капиталы.

— Пожалуй, так и есть. Говорю тебе, иди в мокасинах. Ну! Пиджак у тебя морщит и чуточку узковат. Будь поосторожнее насчет еды. Если будешь много лопать, то он, чего доброго, треснет. И если кто-нибудь из этих самых женщин невзначай уронит платок, пусть себе лежит на полу. Не вздумай поднимать. Что бы там ни было, не наклоняйся!

II

Как подобает специалисту, получающему высокий оклад, и представителю крупной фирмы Гуггенгеймов, полковник Бови занимал одно из лучших зданий в Доусоне. Выстроенное из четырехугольных, грубо обтесанных бревен, в два этажа, оно отличалось такими необыкновенными размерами, что могло похвастать просторной парадной комнатой, предназначенной исключительно для гостей.

На грубом дощатом полу были разложены медвежьи шкуры, на стенах висели рога лосей и оленей. Здесь гудел открытый камин и красовалась отапливаемая дровами печь. И здесь-то Смок встретился с избранным обществом Доусона — не с какими-нибудь миллионерами от лопаты, а с суперсливками города золотоискателей, население которого было собрано со всего света: с мужчинами вроде Уорбэртона Джонса, исследователя и писателя; капитана Консадайна из конной полиции; Хаскелла, комиссара по золотым делам Северо-Западной Территории, и, наконец, барона фон Шредера, любимца императора, с международной репутацией дуэлянта.

Здесь же он встретился с Джой Гастелл, осле-

пительной в вечернем туалете, с которой он до сих пор встречался только в пути, когда она была закутана в меха и обута в мокасины. За обедом он оказался рядом с ней.

— Я чувствую себя, как рыба, вытащенная из воды, — признался он. — Все здесь так великолепно. Мне и во сне не снилось, что в Клондайке может существовать такая восточная роскошь. Взгляните, например, на фон Шредера: он в смокинге, а у Консадайна накрахмаленная рубашка. Я заметил, правда, что он в мокасинах. А как вам нравится моя экипировка?

И Смок повел плечами, как бы охорашиваясь перед Джой.

— Вы производите такое впечатление, будто растолстели с тех пор, как перевалили через Чилкут, — ответила она со смехом.

— Нет, не угадали. Угадывайте дальше.

— С чужого плеча?

— Отгадали. Я купил его у одного из клерков акционерной компании.

— Какой позор, что у клерков такие узкие плечи, — проговорила она. — Но вы еще ничего не сказали, как вам нравится моя одежда?

— Слов нет! — сказал он. — Я потрясен. Я слишком долго прожил в снегах. Такого рода наряды

сражают меня, точно ударом. Я почти забыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра утром, подобно моему другу Малышу, я проснусь в полной уверенности, что это был сон. В последний раз, когда я встретился с вами на Бабьем ручье…

— Я была настоящей бабой? — закончила она.

— Нет, я не то хотел сказать. Я вспомнил, что на Бабьем ручье я сделал открытие, что у вас есть ноги.

— И я никогда не забуду, что вы спасли мне их, — проговорила она. — С тех пор мне хотелось увидеться с вами, чтобы поблагодарить вас… — Он с умоляющим видом пожал плечами. — И вот почему вы сегодня здесь…

— Вы попросили полковника пригласить меня?

— Нет, не его, а миссис Бови. И я попросила ее посадить вас рядом со мной. И это вышло очень удачно. Все заняты разговором. Слушайте меня и не прерывайте. Вы знаете речку Моно?

— Да.

— Оказывается, там скрыты богатства, огромные богатства. Каждая заявка оценивается в миллион долларов и больше. Участки были заняты только на днях.

— Как же, помню — все ринулись туда.

— Да, речка вся была истыкана столбами и притоки также. И оказывается, что на участок номер три, ниже Пробного, заявки еще не сделано. Речка находится так далеко от Доусона, что комиссар установил шестидесятидневный срок для подачи заявки. На все участки заявки сделаны, кроме номера три. Он был занят каким-то Сайрусом Джонсоном. Потом этот Сайрус Джонсон исчез. Умер ли он, отправился ли вверх или вниз по реке — этого никто не знает. Как бы там ни было, а через шесть дней наступает срок подачи заявки, и тот, кто займет этот участок и первым придет в Доусон и сделает заявку, получит его в собственность.

— Миллион долларов! — пробормотал Смок.

— Гилкрайст, которому принадлежит соседний участок, пониже, промыл золото на шестьсот долларов в одном тазу. А участок с другой стороны еще богаче. Я знаю.

— Но почему же не все знают об этом? — недоверчиво спросил Смок.

— Понемногу все узнают. Тайна этого участка долго сохранялась и только теперь выходит наружу. За хорошую упряжку через какие-нибудь двадцать четыре часа будут платить безумные деньги. Вот что я вам скажу: вы должны уйти,

как только кончится обед. Я это устроила. За вами придет индеец с письмом. Вы прочитаете его, сделаете вид, будто у вас есть какое-то дело, извинитесь и уйдете.

— Я… гм… я… нет, я не уйду.

— Глупости! — воскликнула она, понижая голос. — Вы сегодня же ночью должны позаботиться о собаках. Я знаю две упряжки. Упряжка Гансона — семь больших гудзоновских собак — он просит по четыреста долларов за каждую. Сегодня это высокая цена, но завтра она упадет. И еще у Ситки Чарли есть восемь мейлемотов, за которых он просит три тысячи пятьсот. Завтра он рассмеется, если ему предложат пять тысяч. Кроме того, у вас есть ваши собственные собаки. Придется вам купить еще несколько упряжек. И все это надо сделать сегодня же ночью. Постарайтесь раздобыть самые лучшие. Исход этого состязания в одинаковой мере зависит как от собак, так и от людей. Всего сто десять миль, и собак надо будет менять как можно чаще.

— О, я вижу, вы хотите впутать меня в эту гонку, — протянул Смок.

— Если у вас нет денег на собак, то я…

Она запнулась, но прежде чем она успела договорить, Смок сказал:

— Нет, я могу купить собак. Но, гм… вы не боитесь, что это предприятие рискованное?

— После ваших подвигов в «Элькгорне», — возразила она, — мне кажется, вам нечего бояться. Это своего рода спорт, состязание на приз в миллион долларов и притом с лучшими гонщиками. Сейчас они еще не ваши соперники, но завтра в это время они уже будут ими, и собаки будут стоить дороже, чем может заплатить за них самый богатый человек. Большой Олаф уже в городе. Он приехал сюда из Серкл-сити месяц назад. Это один из самых замечательных гонщиков собак во всей стране, и если он примет участие в состязании, то будет вашим самым опасным соперником. Затем еще Билл из Аризона. Он долгие годы был профессионалом-перевозчиком и почтовым курьером. Если и он будет состязаться, то весь интерес будет сосредоточен на нем и на Большом Олафе.

— И вы хотите выпустить меня в качестве никому не известной темной лошадки?

— Вот именно. В этом и заключается ваше преимущество. Никому в голову не придет заподозрить в вас серьезного соперника. В конце концов за вами до сих пор еще сохранилась репутация чечако. Вы не прожили здесь и года. Никто не обратит на вас никакого внимания до той

минуты, пока вы не станете обгонять соперников на обратном пути.

— И вот тут-то темной лошадке и придется показать себя, не так ли?

Она утвердительно кивнула головой и продолжала серьезно:

— Имейте в виду, что я не прощу себе того, что сделала с вами на Бабьем ручье, если вы не выиграете этой заявки на Моно. И если вообще кто-нибудь может выйти победителем в состязании со старожилами, так это только вы!

Все дело было в том, каким тоном она это произнесла. Смок почувствовал, как горячая волна прилила к его сердцу и к голове. Он кинул на нее быстрый пытливый взгляд, и когда взоры их встретились, ему казалось, что он прочел в ее глазах нечто гораздо более важное, чем известие о том, что Сайрус Джонсон не сделал заявки на свой участок.

— Хорошо, — сказал он, — я приду первым!

Радостный блеск в ее глазах, казалось, сулил ему б***о***льшие богатства, чем все золото на Моно. Он уловил движение ее руки, лежавшей у нее на коленях, под покровом скатерти протянул свою и ощутил крепкое пожатие женской руки. От этого по его телу пробежала новая горячая волна.

«Что-то скажет на это Малыш?» — неожиданно мелькнуло у него в голове, когда он выпустил ее руку. Он ревнивым взглядом скользнул по лицам фон Шредера и Джонсона и втайне подивился, как это они не разгадали до сих пор, какая замечательная и необыкновенная девушка сидит возле него.

Он пришел в себя при звуках ее голоса и сообразил, что она ему что-то говорит.

— Дело в том, что Билл из Аризона — белый индеец, — говорила она. — А Большой Олаф, этот охотник на медведей и король снегов, настоящий дикарь. Он может забить любого индейца своей выдержкой и выносливостью, он не знает никакой другой жизни, кроме этой жизни среди пустыни и холода.

— О ком это вы говорите? — вмешался в разговор капитан Консадайн с другого конца стола.

— О Большом Олафе, — отвечала она. — Я рассказывала мистеру Беллью про его замечательную выносливость в пути.

— Да, вы правы, — загудел голос капитана, — Большой Олаф — это самый замечательный ходок на Юконе. Я готов ставить за него против самого нечистого, когда дело касается продвижения среди снегов и льдов. В тысяча восемьсот девяносто

пятом году он доставил казенную почту после того, как два курьера замерзли на Чилкуте, а третий утонул у Тридцатой Мили.

III

Смок не торопясь ехал на ручей Моно, чтобы не утомить собак перед состязанием. Кроме того, он знакомился с каждой милей пути и с расположением подстав. Набралось так много желающих принять участие в состязании, что сто десять миль представляли собой сплошь населенную местность. Повсюду вдоль дороги были расставлены подставы. У фон Шредера, участвующего в состязании исключительно ради спорта, было не менее одиннадцати упряжек — по свежей смене на каждые десять миль. Билль из Аризона удовольствовался восемью. У Большого Олафа было семь — столько же, сколько у Смока. В общем участников состязания было свыше сорока человек. Не каждый день даже на золотоносном Севере миллион долларов выставлялся призом на собачьих бегах. Страна лишилась всех своих собак. Ни одно животное, отличавшееся скоростью бега и выносливостью, не миновало зубьев частого гребня, который расчесал все ущелья и равнины, выискивая собак, и цены на них

выросли вдвое, даже вчетверо во время этой ожесточенной спекуляции.

Участок номер три, ниже Пробного, находился в десяти милях от устья Моно. Остальные сто миль нужно было проехать по замерзшему руслу Юкона. На номере три было раскинуто пятьдесят палаток и стояло свыше трехсот собак. Старые столбы, вбитые шестьдесят дней тому назад Сайрусом Джонсоном, все еще были на своих местах, и каждый из участников то и дело переходил на территорию заявки, потому что состязанию на собаках должно было предшествовать состязание в беге с препятствиями. Каждый должен был сам поставить свои заявочные столбы — два посередине, четыре — по углам и дважды пересечь речку, после чего он мог отправиться в Доусон на собаках.

Кроме того, не должно было быть «выскочек». К занятию участка полагалось приступить в ночь на пятницу. Первый столб полагалось вбить только тогда, когда пробьет полночь. Таково было распоряжение комиссара по золотым делам в Доусоне, и капитан Консадайн выслал отряд конной полиции для наблюдения за исполнением этого распоряжения. Возник спор по вопросу о различии между временем по солнцу и по

полицейским часам, но капитан Консадайн распорядился принять полицейское время, именно по часам лейтенанта Поллока.

Дорога вдоль ровного русла Моно была менее двух футов ширины и напоминала желоб. По бокам возвышались снежные сугробы, нанесенные в течение многих месяцев. Вопрос о том, каким образом сорок с лишним саней и триста собак уместятся в этом узком желобе, занимал все умы.

— Знаешь что, — сказал Малыш, — тут заварится такая дьявольская каша, какой свет еще не видывал. По-моему, Смок, остается только одно: пустить в ход силу и кулаки и пробиваться вперед. Если бы вся речка была покрыта чистым льдом, то на ней не хватило бы места и дюжине упряжек в ряд. И мне только что пришло в голову, что тут возникнет немалая давка, прежде чем сани вытянутся в ряд. Если и мы попадем в эту давку, то позволь мне расправиться с ними и пустить в ход кулаки.

Смок расправил плечи и засмеялся, уклонившись от ответа.

— Нет, нет! — крикнул Малыш в сильном волнении. — Что бы ни случилось, ты не должен вмешиваться. Ты не сможешь целых сто миль

править собаками сломанной рукой, а это случится, если ты заедешь кому-нибудь в челюсть.

Смок кивнул.

— Ты прав, Малыш. Рисковать нельзя.

— И еще запомни, — продолжал Малыш, — что я буду пробивать тебе путь первые десять миль, а ты сиди спокойно и не волнуйся. Я доставлю тебя на Юкон, будь покоен. А там уж дело за тобой и за собаками. Знаешь, что придумал Шредер? Первая упряжка будет стоять у него за четверть мили вниз по речке и он узнает ее по зеленому фонарю. Но мы его перехитрим. Я всегда предпочитал красный цвет.

IV

Днем было ясно и холодно, но облачная завеса задернула небо, и ночь спустилась теплая и темная, предвещая снег. Термометр показывал пятнадцать градусов ниже нуля, а для зимы в Клондайке пятнадцать градусов — это очень тепло.

За несколько минут до полуночи Смок оставил Малыша с собаками в пятистах ярдах вниз по речке и присоединился к остальным участникам состязания на номере три. Сорок пять человек ожидали начала состязания на приз в милли-

он долларов, которые Сайрус Джонсон оставил нетронутыми в мерзлой земле. У каждого из участников было по шесть столбов и по деревянному молотку. Одеты они были в напоминающие рубашку парки, но не из меха, а из грубой домотканой материи.

Лейтенант Поллок в тяжелой медвежьей шубе смотрел на часы при свете костра. До полуночи оставалась одна минута.

— Готовься! — скомандовал он, поднимая в правой руке револьвер и следя за секундной стрелкой.

Сорок пять капюшонов были отброшены назад. Сорок пять пар рук сбросили рукавицы, и сорок пять пар мокасинов крепко уперлись в утоптанный снег. Потом сорок пять столбов опустились в снег и такое же количество молотков были подняты в воздух.

Грянули выстрелы, и молотки ударили. Право Сайруса Джонсона на миллион было утеряно. Чтобы избегнуть сутолоки, лейтенант Поллок настоял на том, чтобы сначала был вбит нижний центральный столб, потом юго-западный и так далее по всем углам, и затем уж под конец — верхний центральный столб возле самого пути.

Смок вбил свой столб и побежал в числе первых

двенадцати человек. По углам горели костры, и у каждого костра стоял полисмен со списком в руке, отмечая имена состязающихся. Каждый из участников должен был назвать свое имя и показать полисмену свое лицо. Это делалось для того, чтобы столбы не вбивались подставными лицами, в то время как настоящие участники мчались вниз по реке.

В первом углу, возле столба Смока фон Шредер вбил свой. Их молотки ударили одновременно. Когда столбы были вбиты, сзади подоспели другие участники, и они бежали с такой беспорядочной стремительностью, точно нарочно хотели помешать друг другу и создать драку и толкотню. Пробившись среди давки и назвав свое имя полисмену, Смок увидел, как один из участников налетел на барона, сбил его с ног, и тот повалился в снег. Но Смок не остановился. Впереди него были еще другие. При свете гаснущего костра ему показалось, что он видит неясные очертания спины Большого Олафа, и в юго-западном углу он и Большой Олаф вбили свои столбы рядом.

Этот предварительный бег с препятствиями был нелегким делом. Границы участка в общем составляли около мили, и большая часть его представляла собой неровную поверхность,

покрытую снегом. Кругом со всех сторон люди спотыкались и падали, и несколько раз Смок сам падал вперед на руки и на колени. Однажды впереди него Большой Олаф упал так близко, что Смок повалился на него.

Нижний центральный столб был вбит у самого спуска к берегу, и золотоискатели бросились вниз по замерзшему руслу речки на противоположный берег. Здесь, когда Смок карабкался вверх, чья-то рука схватила его за ногу и сбросила вниз. При мерцающем свете отдаленного костра не было никакой возможности увидеть, кто сыграл с ним такую штуку. Но Билл из Аризона, которого постигла та же судьба, поднялся на ноги и ударил обидчика прямо в лицо кулаком так, что раздался хруст. Смок видел и слышал это, поднимаясь на ноги. Однако, прежде чем он успел двинуться к берегу, новый удар кулака повалил его в снег, наполовину оглушив. Он шатаясь встал, нашел того человека и размахнулся, чтобы треснуть его по челюсти, потом вспомнил наставление Малыша и удержался. В следующее мгновение чье-то падающее тело ударило его по коленям, и он снова скатился вниз.

Все это было как бы прелюдией того, что должно было произойти после, когда люди доберутся

до своих упряжек. Люди потоком устремлялись на противоположный берег и смешивались в кучу. Они кучками карабкались на берег и кучками же стаскивались вниз своими нетерпеливыми товарищами. Сыпались удары, проклятия вырывались из тяжело дышащих грудей тех, кто еще мог дышать, и Смок, перед глазами которого стояло лицо Джой Гастелл, думал только о том, чтобы не были пущены в ход деревянные молотки. Сбиваемый с ног, попадая под ноги другим, роясь в снегу в поисках своих столбиков, он в конце концов выбрался из этой давки и вскарабкался на берег немного в стороне. Другие проделали то же самое, и, на счастье Смока, несколько человек бежали впереди него, направляясь к северо-западному углу.

На полдороге к четвертому углу он споткнулся и, падая, уронил свой последний столбик. Целых пять минут он шарил в темноте, прежде чем нашел его, и все время мимо него, тяжело дыша, пробегали люди. На пути от последнего угла к речке он начал обгонять тех, для кого пробег в одну милю был не по силам. Внизу на речке царил настоящий бедлам. Около дюжины саней были сбиты в кучу и опрокинуты, и около сотни собак сцепились в ожесточенной драке. Среди них суе-

тились люди, стараясь разнять вцепившихся друг в друга животных, осыпая их ударами дубинок. Мельком увидев это зрелище, Смок задал себе вопрос, есть ли среди гротесков Доре что-нибудь подобное.

Спускаясь прыжками с берега в стороне от скользкого спуска, он выбрался на утоптанный санный путь и благодаря этому выиграл время. Здесь на утоптанных стоянках по сторонам узкой дороги сани и люди стояли в ожидании отставших гонщиков. Вдруг сзади послышался визг и лай собак. Смок едва успел отскочить в глубокий снег. Мимо пронеслись сани, и он разглядел человека, стоявшего в них на коленях и дико кричавшего. Но, не успев промелькнуть, сани остановились со страшным треском. Разъяренные собаки на одной из стоянок, почуяв пробегавшую мимо упряжку, вырвались и набросились на нее.

Смок пробрался вперед. Он увидел зеленый фонарь фон Шредера и пониже его, рядом, красный огонь, который указывал на место стоянки его собственной упряжки. Двое охраняли собак фон Шредера; они стояли с короткими дубинками в руках между ними и дорогой.

— Смок, сюда! Сюда, Смок! — услыхал он взвол-

нованный голос Малыша.

— Иду! — крикнул он.

При свете красного фонаря он увидел, что снег весь изрыт и истоптан, и по тяжелому дыханию товарища понял, что тут произошла драка. Он бросился к саням и мгновенно очутился в них. Малыш взмахнул бичом и крикнул:

— Пошли! Эй вы, дьяволы! Живо!

Собаки натянули постромки, и сани бешено сорвались с места и понеслись. Это были крупные животные — гудзоновская призовая упряжка Гансона, — и Смок выбрал ее для первого перегона: десять миль по речке Моно, трудный переход через отмель возле устья и, наконец, первые десять миль по Юкону.

— Сколько впереди? — спросил он.

— Молчи и береги дыхание, — отвечал Малыш. — Го! Эй вы, черти! Пошевеливайтесь! Вперед, вперед!

Он бежал за санями, держась за короткую веревку. Смок не мог видеть его; не видел он также и саней, в которых лежал, растянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они неслись, прорывая стену мрака со скоростью, на какую только были способны собаки. Окружающий мрак был почти осязаем и производил впечатление чего-то

плотного и вещественного.

Смок почувствовал, как сани, делая невидимый поворот, наехали на что-то впереди, и вслед за тем послышалось рычание собак, проклятия и ругань. Это место впоследствии было известно под названием «Свалка Барнса — Слокума». Здесь их упряжки столкнулись, и в них на полном бегу врезались семь огромных собак Смока. Возбуждение этой ночи довело этих полуприрученных волков до состояния исступления. Клондайкские собаки, которыми правят без вожжей, останавливаются обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить грызню, завязавшуюся на узкой дороге. А сзади одни сани налетали на другие, врезаясь в свалку. На людей, которым уже почти удалось освободить свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой.

— Ну, теперь пора приниматься за дело и пробиваться вперед! — прокричал Малыш на ухо товарищу. — Смотри, береги свои кулаки! Лежи спокойно, я расправлюсь один.

Того, что случилось в следующие полчаса, Смок так никогда и не смог вспомнить. Но в конце концов он выбрался из всего этого, совершенно обессиленный, задыхающийся, с разбитой

челюстью, с болью в плече от удара дубинкой, чувствуя, как по одной ноге у него струится теплая кровь из раны, нанесенной собачьим клыком; оба рукава его парки были изодраны в клочья. Точно во сне, в то время как позади них еще бушевало сражение, он стал помогать Малышу перепрягать собак. Одну, умирающую, они вырезали из упряжки и в темноте ощупью исправили поврежденную упряжь.

— Теперь ляг и отдышись хорошенько! — скомандовал Малыш.

И собаки понеслись в темноту — вниз по Моно, пересекли устье и выбежали на Юкон. Здесь, при слиянии Моно с великой рекой, кто-то развел костер, и тут Малыш распрощался со Смоком. При свете костра, когда сани понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, Смок запечатлел в своей памяти вторую незабываемую картину Севера: это Малыш, который шел, шатаясь и прихрамывая, по снегу и посылал Смоку вдогонку бодрящее напутствие; один глаз у него почернел и закрылся, из руки, изодранной собачьими клыками, лилась кровь.

V

— Сколько человек впереди? — спросил Смок, бросая своих усталых гудзоновских собак и перескакивая в ожидавшие его сани на первой остановке.

— Кажется, одиннадцать, — крикнули ему вдогонку, потому что он уже пронесся дальше на своих новых собаках.

Они должны были везти его пятнадцать миль, до следующей смены, которая в свою очередь доставит его до Белой реки. Собак было девять, но эта была его самая слабая упряжка. Двадцать пять миль между Белой рекой и Шестидесятой Милей были разделены на два перегона из-за заторов льда, и тут его ждали две самые сильные, выносливые упряжки.

Он лежал ничком в санях, вытянувшись во весь рост, держась обеими руками за сани. Когда собаки замедляли свой стремительный бег, он поднимался на колени и, крича и гикая, слегка придерживаясь одной рукой, бил их бичом. И как ни плоха была его упряжка, ему удалось обогнать двое саней до Белой реки. Здесь во время ледостава глыбы льда образовали барьер, оставивший на протяжении мили незамерзшее пространство

воды, которое потом покрылось гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли наготове свежие смены собак.

Переехав барьер и спустившись на гладкую поверхность, Смок полетел во весь опор и громко крикнул:

— Билли! Билли!

Билли услыхал его и ответил. А при свете нескольких костров на льду Смок увидел сани, которые вынырнули со стороны и понеслись к нему. Собаки были свежие и нагнали его. Когда сани поравнялись с ним, он перепрыгнул в них, а Билли в его санях быстро отъехал.

— Где Большой Олаф? — крикнул Смок.

— Первый! — ответил Билли, и костры остались позади, и Смок снова летел вперед сквозь непроницаемую стену мрака.

Среди ледяных заторов на этом перегоне, где путь шел через хаос навороченных ледяных глыб, Смок соскочил с саней и, ухватившись за конец веревки, бежал за коренником. Таким образом он обогнал трое саней. По-видимому, случились какие-то несчастья, и он слышал, как люди вырезали из упряжек собак и исправляли упряжь.

На следующем коротком перегоне, ведущем к

Шестидесятой Миле, он обогнал еще две упряжки. И как бы для того, чтобы дать ему понять, как им невыносимо трудно, его собственная собака вывихнула себе плечо и, не в силах удержаться на ногах, запуталась в сбруе. Ее товарищи, разозлившись, набросились на нее, пустив в ход свои клыки, и Смок вынужден был усмирить их тяжелой рукояткой своего бича. Когда он вырезал из упряжки искалеченное животное, он услыхал позади себя лай собак и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был фон Шредер. Смок крикнул, чтобы предупредить столкновение, и барон, гикнув на своих собак и размахивая шестом, объехал его на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов. Мрак был так непроницаем, что Смок слышал, как тот обогнал его, но ничего не видел.

На гладкой поверхности льда возле фактории у Шестидесятой Мили Смок нагнал еще двое саней. Все только что переменили собак и в течение пяти минут неслись бок о бок. Люди стояли на коленях, осыпая обезумевших животных криками и ударами бича. Смок основательно изучил эту часть пути и вовремя заметил большую сосну на берегу, которая едва виднелась при свете нескольких костров. У подножия этой сосны не

только царил мрак, тут внезапно обрывалась и гладкая ледяная поверхность. В этом месте, он знал, дорога суживалась до ширины одних саней. Нагнувшись вперед, он схватился за веревку и на бегу притянул сани к кореннику. Затем он ухватил животное за задние ноги и потащил его к себе. С яростным рычанием собака пыталась вонзить в него свои клыки, но была увлечена вперед остальными собаками. Ее тело сыграло роль тормоза, и две другие упряжки, которые все еще шли рядом, ринулись вперед, в темноту узкого прохода.

Смок услыхал оглушительный треск и грохот столкновения, выпустил коренника, схватил шест и погнал свою упряжку вправо, в рыхлый снег, где собаки проваливались по самое горло. Это было страшно мучительно, но зато он обогнал столкнувшиеся две упряжки и благополучно выбрался на укатанный путь.

VI

На Шестидесятой Миле Смок получил опять слабую упряжку, тем не менее ему удалось сократить этот перегон до пятнадцати миль. Две последние упряжки должны были доставить его в Доусон к заявочной конторе, и Смок выбрал для

этих последних двух перегонов лучших своих животных.

Ситка Чарлей ожидал его с восемью собаками, которые должны были перебросить Смока на двадцать миль вперед, а для финиша, с перегоном в пятнадцать миль, была предназначена его собственная упряжка — упряжка, с которой он не расставался всю зиму и ходил на поиски Нежданного озера.

Те двое, которые столкнулись у Шестидесятой Мили, так и не нагнали его, но, с другой стороны, и его собственная упряжка не перегнала ни одной из трех, шедших впереди. Его собаки старались из всех сил, хотя им недоставало выдержки и быстроты, но почти не было необходимости понукать их, чтобы они шли полным ходом. Смоку оставалось только лежать ничком и держаться за сани. Время от времени он вылетал из темноты в кольцо света около пылающего костра, где успевал заметить закутанных в меха людей, стоявших возле запряженных и выжидающих собак, и снова погружался в темноту. Миля за милей он мчался вперед, и в его ушах раздавался только визг и лай собак. Почти машинально он удерживался в санях, когда они ныряли и поднимались вверх или раскатывались на поворотах реки.

Три лица, одно за другим, по очереди, без всякой видимой связи и последовательности, вставали в его воображении: лицо Джой Гастелл, улыбающееся и вызывающее; лицо Малыша, изувеченного и измученного в драке на Моно; и, наконец, лицо Джона Беллью, покрытое морщинами, суровое, точно вылитое из стали — так неумолима была его суровость. Временами Смоку хотелось громко закричать и затянуть песнь ликующего торжества, когда он вспоминал редакцию «Волны», свои рассказы из жизни Сан-Франциско, которые так и остались неоконченными, и всю никчёмность той пустой, бессодержательной жизни.

Брезжил серый утренний рассвет, когда он сменил своих усталых собак на восемь свежих. Они были легче гудзоновских, могли развить еще большую скорость и неслись с неутомимостью истых волков. Ситка Чарлей назвал ему по порядку имена шедших впереди: Большой Олаф во главе, вторым Билл из Аризона и третьим фон Шредер. Это были лучшие гонщики во всей стране. Еще до отъезда Смока из Доусона общественное мнение при заключении пари ставило их именно в этом порядке. Они состязались на один миллион, а пари на них заключались на полмиллиона. Ни один человек не поставил на Смока, который,

несмотря на несколько всем известных подвигов, все-таки считался еще чечако, которому нужно многому поучиться.

Когда рассвело, Смок заметил впереди сани, и через какие-нибудь полчаса его упряжка нагнала их. И лишь тогда, когда человек в санях обернулся, чтобы обменяться приветствиями, Смок узнал в нем Билла из Аризона. Очевидно, фон Шредер обогнал его. Хорошо укатанная дорога была чересчур узка, по бокам лежал рыхлый снег, и Смоку пришлось еще с полчаса ехать позади. Потом они достигли ледяного затора, за которым начиналось ровное пространство с целым рядом стоянок, где снег был утоптан на довольно большое расстояние. Вскочив на колени, размахивая бичом и громко крича на собак, Смок выехал вперед. Он заметил, что правая рука Билла из Аризоны висела точно плеть и он держал бич в левой руке. У него не было третьей руки, которой он мог бы держаться, и ему постоянно приходилось бросать бич и хвататься за сани, чтобы не вылететь из них. Смок вспомнил драку на участке номер три, ниже Пробного, и все понял. Малыш дал ему прекрасный совет избегать потасовок.

— Что такое с вами? — спросил Смок, обгоняя Билла из Аризона.

— Право, не знаю, — отвечал тот. — Должно быть, я вывихнул себе плечо в драке.

Он постепенно начал отставать, и когда впереди показалась следующая подстава, он отстал на целых полмили. Дальше, впереди, виднелись рядом Большой Олаф и фон Шредер. Снова Смок поднялся на колени и развил в своих замученных собаках резвость, какую способен был развить лишь человек, обладающий чутьем настоящего погонщика собак. Он подъехал вплотную к задку саней фон Шредера, и в таком порядке трое саней выехали на гладкую поверхность ниже затора, где стояли в ожидании люди с собаками. Доусон был в пятнадцати милях.

Фон Шредер с его десятимильными подставами сменил собак за пять миль отсюда и должен был переменить собак в следующий раз через новых пять миль. Он несся вперед, погоняя своих псов, полным ходом. Большой Олаф и Смок на ходу переменили свои упряжки, и их свежие собаки сейчас же обогнали барона. Большой Олаф шел впереди, Смок следовал за ним по узкому пути.

Хорошо, но не так уж хорошо, про себя перефразировал Смок Спенсера.

Фон Шредер, который теперь шел позади, не был ему страшен. Но впереди шел лучший погон-

щик собак во всей стране, и обогнать его казалось невозможным. Снова и снова, несколько раз подряд, Смок подгонял своего вожака, и каждый раз Олаф преграждал ему дорогу и уходил. Смок удовольствовался тем, что не отставал и мрачно следовал за ним. Состязание еще не проиграно — на протяжении пятнадцати миль многое может случиться.

За три мили до Доусона действительно случилось нечто. К великому удивлению Смока, Большой Олаф встал, стараясь выжать проклятиями и ударами бича последнюю унцию сил из своих собак. Это была мера, которая обычно приберегалась на последние сто ярдов и никогда не практиковалась за три мили до финиша. Несмотря на то, что это была явная гибель для собак, Смок последовал его примеру. Его собственная упряжка была прямо великолепна. Ни одна упряжка на Юконе не была так хорошо тренирована и не содержалась в лучших условиях. Смок работал вместе с ними, ел и спал вместе с ними, хорошо знал индивидуальность каждой собаки, знал, как лучше использовать ум каждой из них и как лучше вытянуть из них последний запас сил.

Они поднялись на новый ледяной затор и затем спустились на ледяную поверхность. Большой

Олаф шел впереди на расстоянии каких-нибудь пятидесяти футов. Вдруг сбоку показались сани и направились прямо к нему, и тут Смок понял причину крутой меры Олафа. Он хотел выйти вперед до новой смены собак. Эта свежая подстава, которая должна была доставить его в Доусон, была своего рода сюрпризом для всех. Даже люди, ставившие на него, и те ничего не знали о ней.

Смок напряг все свои силы, чтобы опередить противника, пока тот менял собак. Пустив своих собак во всю мочь, он покрыл отделявшие их друг от друга пятьдесят футов. Взмахами и ударами бича он заставил их взять в сторону, и его вожак поровнялся с коренником Большого Олафа и побежал рядом. С другой стороны, вровень с ними, шли сани для смены. При той скорости, с какой они шли, Большой Олаф не решался перескочить на ходу. Если бы он промахнулся и упал, Смок вышел бы вперед и состязание было бы проиграно.

Большой Олаф сделал еще одно усилие, чтобы выдвинуться, и великолепно выбросил своих собак вперед, однако вожак Смока продолжал идти вровень с его коренником. С полмили трое саней неслись рядом. Гладкое пространство подходило к концу, когда Большой Олаф решился, наконец, попытать счастья. Когда сани на полном ходу

приблизились друг к другу, он прыгнул и очутился на коленях, гиканьем и взмахами бича погоняя свежую упряжку. Открытое пространство переходило в узкую дорогу, и, погнав своих собак, он въехал на этот путь, опередив своего соперника на какой-нибудь ярд.

«Человек не считается побежденным, пока он не побежден», — решил Смок, и как ни старался Большой Олаф, он так и не мог оторваться от Смока. Ни одна из упряжек, которыми в эту ночь управлял Смок, не могла бы выдержать бешеной резвости, которую развила свежая смена собак, — ни одна упряжка, кроме его собственной. И, тем не менее, эта скорость в конце концов доконала и ее, и когда он огибал утес возле Клондайк-сити, он почувствовал, что последние силы оставляют его собак. Незаметно они стали отставать, и фут за футом Большой Олаф стал уходить вперед, пока не ушел на целых двадцать ярдов.

Население Клондайк-сити, собравшееся на льду, встретило их восторженными криками. В этом месте Клондайк впадает в Юкон, и в полумиле отсюда на северном берегу находился Доусон. Снова послышался взрыв громких криков, и Смок заметил сани, которые летели прямо к нему. Он узнал великолепных собак: это были собаки

Джой Гастелл. И сама Джой Гастелл правила ими. Капюшон ее кожаной парки был откинут назад, и овал ее лица, напоминающий камею, вырисовывался на фоне густой массы волос. Она сняла рукавицы и обнаженными руками сжимала бич и край саней.

— Прыгайте! — крикнула она, когда ее вожак поравнялся с вожаком Смока.

Смок прыгнул в сани позади нее. Сани покачнулись от тяжести его тела, но она устояла на коленях, размахивая бичом.

— Эй, вы! Пошевеливайтесь! Чук! Чук! — кричала она, и собаки визжали и лаяли, горя желанием обогнать Большого Олафа.

А потом, когда ее вожак поравнялся с санями Большого Олафа и ярд за ярдом выдвигался вперед, огромная толпа народа на берегу Доусона окончательно обезумела. Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели побросали свои инструменты на берегах речек и явились сюда, чтобы присутствовать при исходе состязания.

— Когда вы выйдете вперед, я соскочу! — крикнула Джой через плечо Смоку.

Смок попытался было протестовать.

— И не забывайте крутого поворота! — преду-

предила она его.

Обе упряжки бежали теперь рядом, отделенные шестью-семью футами. Большому Олафу удалось подогнать свою упряжку бичом и криками. Но постепенно, по дюйму, вожак Джой стал выдвигаться вперед.

— Готовьтесь! — крикнула она Смоку. — Сейчас я оставлю вас! Берите бич!

И в тот самый момент, когда он менял руку, чтобы взять бич, раздался предостерегающий крик Большого Олафа. Но было уже поздно. Его вожак, разъяренный тем, что его перегоняют, ринулся в атаку и вонзил свои клыки в бок вожаку Джой. Затем все собаки вцепились друг другу в горло. Сани наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок с трудом поднялся на ноги и бросился поднимать Джой, но она оттолкнула его, крикнув:

— Бегите!

Впереди на расстоянии пятидесяти футов уже бежал Большой Олаф, твердо решивший выйти победителем из состязания. Смок повиновался, и когда оба противника добрались до начала подъема на Доусон, Смок настиг своего соперника. Поднимаясь на крутой берег, Большой Олаф сделал усилие, рванулся вперед и выиграл около

двенадцати футов.

За пять кварталов по главной улице находилась заявочная контора. Улица была запружена народом, точно на параде. Не так-то легко было Смоку нагнать своего гиганта-соперника, а когда он его нагнал, то опередить его было уже невозможно. Бок о бок бежали они по узкому проходу среди плотных стен закутанных в меха людей, испускающих возгласы и крики. То один из них, то другой большим судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его.

Если та скорость, с которой они неслись раньше, была убийственна для собак, то скорость, которую они развили теперь, была не менее убийственна для них самих. Но ведь тут дело шло о миллионе долларов и о великом почете на Юконе. Единственное внешнее впечатление, воспринятое Смоком во время последнего бешеного бега, было чувство удивления, что в Клондайке так много народу. До сих пор ему никогда не приходилось видеть всех зараз.

Невольно он замедлил бег, и Большой Олаф рванулся вперед. Смоку казалось, что у него сейчас лопнет сердце, и он уже совершенно не чувствовал под собой ног. Он знал только одно,

что ноги летят под ним, но он не отдавал себе отчета, каким образом он заставляет их лететь и как ему удалось сделать над собой усилие воли и заставить их донести себя до своего гиганта-соперника.

Впереди показалась открытая дверь заявочной конторы. Оба соперника сделали последнее, ничтожное и напрасное усилие. Ни один из них не мог опередить другого, и бок о бок они подбежали к двери, столкнулись друг с другом и растянулись на полу конторы.

Они сели, но встать были не в силах. Большой Олаф, обливаясь потом, тяжело дышал, ловя воздух раскрытым ртом и тщетно стараясь выговорить что-то. Затем он протянул руку; в значении этого движения нельзя было ошибиться. Смок протянул свою руку, и противники соединились в крепком рукопожатии.

— Ну и задали же вы жару! — услыхал Смок слова комиссара по золотым делам, но это было точно во сне, и голос был какой-то слабый и далекий. — И я могу сказать только одно: вы оба выиграли. Придется вам поделить участок пополам. Вы компаньоны!

Две руки поднялись вверх, потом опустились в знак того, что это решение утверждено. Большой

Олаф весьма выразительно закивал головой и забормотал что-то. Наконец, ему удалось проговорить:

— Проклятый вы чечако! — прошептал он, но в этих словах звучало восхищение. — Не знаю, как вы это сделали, но все же вы это сделали.

Перед конторой на улице гудела огромная толпа, и помещение конторы было битком набито людьми. Смок и Большой Олаф сделали попытку встать и помогли друг другу. Смок чувствовал в ногах страшную слабость и зашатался, точно пьяный. Большой Олаф тоже нетвердо стоял на ногах.

— Мне очень жаль, что мои собаки набросились на ваших.

— Что же вы могли сделать, — ответил Смок. — Я слышал, как вы крикнули, предупреждая меня.

— Послушайте, — продолжал Большой Олаф, и глаза у него заблестели, — славная она — эта девушка, чертовски славная. Не правда ли?

— Да, чертовски славная девушка! — согласился Смок.

СМОК И МАЛЫШ


108

Повесть о маленьком человеке

I

— Не нравится мне твое упрямство, — проворчал Малыш. — На этот ледник и смотреть страшно. По доброй воле никто на него не полезет.

Смок беспечно рассмеялся и взглянул на сверкающую поверхность ледника, запиравшего вход в долину.

— Сейчас август. Уже два месяца, как дни становятся короче, — заметил он, как бы определяя положение дел. — Ты знаток по части золота, а я этим похвалиться не могу. Я, пожалуй, займусь доставкой продовольствия, пока ты будешь искать главную жилу. Ну, будь здоров... Я вернусь завтра к вечеру.

Он повернулся и пошел.

— Ох, чувствую я, — стрясется беда! — жалобно крикнул ему вдогонку Малыш.

Но Смок только громко расхохотался в ответ. Он спускался в узкую долину, поминутно отирая пот со лба и топча спелую горную малину и хрупкий папоротник, росший у краев льдин, не тронутых

солнцем.

Ранней весной они с Малышом поднялись вверх по реке Стюарт и проникли в страну, где царил первозданный хаос и где, по слухам, находилось Нежданное озеро. Всю весну и половину лета они провели в бесплодных поисках озера и, наконец, когда решили уже махнуть рукой на эту затею, перед ними замерцала полоска воды — то самое устланное золотом озеро, которое соблазняло и обманывало целое поколение золотоискателей. Они расположились в старой хижине, найденной Смоком еще в первое его посещение, и убедились в трех вещах: во-первых — что дно озера было устлано толстым слоем крупных золотых самородков; во-вторых — что в мелких местах можно было нырнуть за этим золотом, но температура воды была убийственна для человека; и в-третьих — что осушить озеро — совершенно непосильный труд для двоих, тем более, что прошло уже больше половины короткого северного лета. Но Смок и Малыш не пали духом и, убедившись по внешнему виду золота, что оно едва ли совершило продолжительное путешествие, двинулись на поиски главной жилы. Они пересекли большой ледник, хмурившийся на южной окраине озера, и углубились в голо-

вокружительный лабиринт крошечных долин и ущелий.

Долина, по которой шел теперь Смок, постепенно расширялась, как и подобает всякой долине; но в нижнем конце она внезапно суживалась в тесный проход между двумя высокими отвесными скалами и упиралась в поперечную стену. У основания этой стены ручей исчезал под грудой развороченных скал и, невидимый, прокладывал себе путь под землей. Смок вскарабкался на скалу и с ее вершины увидел озеро, лежащее у его ног. В отличие от всех горных озер, которые ему приходилось видеть, оно не было голубым. Оно было изумрудно-зеленым, и этот цвет свидетельствовал о том, что оно неглуб***о***ко, а следовательно, его возможно осушить. Вокруг озера громоздились горы причудливых форм, с обледенелыми пиками и снежными шапками: все кругом было хаотично и мрачно, как кошмар в гравюрах Доре. Трудно было поверить, что это реальный кусок земной поверхности, а не мрачная фантазия какого-нибудь художника: Смоку показалось все это какой-то космической шуткой. Ущелья были заполнены ледниками — по большей части небольшими, и как раз в ту минуту, когда Смок смотрел на них, один — самый крупный, на север-

ном берегу — с грохотом раскололся и разлетелся вдребезги. На другом берегу озера, на глаз — не далее, чем в полумиле, а на самом деле (он знал это) милях в пяти, виднелась группа сосен и хижина. Смок еще раз взглянул в том направлении, чтобы окончательно убедиться в правильности своих расчетов, и вдруг заметил струйку дыма, вившуюся над хижиной. Кто-то устроил ему и Малышу тоже «неожиданность», перехватив у них Нежданное озеро, подумал Смок, приступая к подъему на южную стену ледника.

С вершины этой стены он спустился в маленькую долину, покрытую цветами; повсюду слышалось ленивое гудение пчел; долина вела себя, можно сказать, как всякая разумная долина, и, как и полагалось, спускалась к озеру. Единственно, что было в ней неразумного, это — ее длина, не превышавшая ста ярдов; заканчивалась она крутым обрывом в тысячу футов, с которого низвергался окутанный пенным туманом поток.

Отсюда он увидел еще отчетливее дым, лениво подымавшийся из-за выступа скалы и колыхавшийся в теплом воздухе. Завернув за выступ, он услышал позвякивание металла и веселый свист в такт ударам, а затем увидел человека, сидевшего с зажатым между коленями башма-

ком; башмак был перевернут, и человек вбивал в подошву шипы.

— Алло! — приветствовал его незнакомец, и сердце Смока немедленно открылось ему навстречу. — Как раз поспели к завтраку! Вот кофе, холодные лепешки и немного вяленого мяса.

— Воспользуюсь, с вашего разрешения, — сказал Смок, присаживаясь. — В последнее время я не слишком баловал себя едой. Зато в хижине продовольствия сколько угодно.

— На той стороне озера? Там, куда я метил!

— Окрестности Нежданного озера, по-видимому, заселяются, — прибавил Смок, опоражнивая кофейник.

— Подите вы! Шутите небось! — изумленно ответил незнакомец.

Смок рассмеялся.

— Вот так бывает со всеми! Видите вон те высокие хребты на другой стороне, к северо-востоку? Оттуда я увидел его впервые. Без всякого предупреждения. Оно открылось мне все сразу. Тогда, когда я перестал уже искать его.

— То же было и со мной здесь, — подтвердил незнакомец. — Я уже повернул назад и собирался вчера вечером добраться до Стюарта, как вдруг увидал озеро. Но если это Нежданное озеро, то где

же река Стюарт? И где я бродил все время? И как вы попали сюда? И как вас зовут?

— Беллью. Кит Беллью.

— О! Я вас знаю. — Радостная улыбка заиграла на лице и в глазах незнакомца. — Я много слышал о вас.

— Читаете полицейскую хронику, — скромно заметил Смок.

— Нет. — Незнакомец рассмеялся и покачал головой. — Просто новейшую историю Клондайка. Я бы немедленно узнал вас, если бы вы не обросли бородой. Я следил за вами, когда вы обрабатывали рулетку в «Элькгорне». Меня зовут Карсон — Энди Карсон. Я, право, не могу высказать, как рад встрече с вами.

Карсон был маленький, но крепкий, жилистый человечек с быстрыми черными глазами; от него исходило какое-то магнетическое дружелюбие.

— Так, стало быть, это и есть Нежданное озеро? — недоверчиво пробормотал он.

— Оно самое.

— И на дне у него золото?

— Да. Вот вам образчик! — Смок сунул руку в карман куртки и достал с полдюжины зерен. — Вот оно какое. Все, что от вас требуется, это нырнуть на дно, хотя бы вслепую, и набрать

полную горсть таких орехов, а потом пробежать с полмили, чтобы восстановить кровообращение.

— Здорово! Лопни мои глаза, если вы не убедили меня! — Карсон говорил шутливым тоном, но разочарование явно слышалось в его голосе. — А я-то думал, что вычерпаю себе кучу золота. Но все-таки было забавно побывать здесь.

— Забавно? — воскликнул Смок. — Да если мы с вами доберемся до дна озера, то Рокфеллер по сравнению с нами будет нищим!

— Но оно ведь ваше, — заметил Карсон.

— Что вы, приятель! Поймите, подобной заявки не было за всю историю золотоискательства. Здесь хватит и вам, и мне, и моему компаньону, и всем нашим друзьям. Если свалить Бонанзе и Эльдорадо в одну кучу, то они будут не богаче, чем здешние пол-акра. Задача в том, как осушить озеро. Это будет стоить миллионы. Одного я боюсь. Здесь так много золота, что если мы не будем регулировать выпуск его на мировой рынок, оно окончательно обесценится… демонетизируется, как говорят…

— И вы говорите мне… — Карсон онемел от изумления.

— Я рад, что встретил вас. Понадобится года два и все наши деньги, чтобы осушить озеро. Это

осуществимо. Но для этого потребуется поставить на работу все население страны, всех, кто захочет работать, как рабочий, за плату. Нам нужна армия рабочих, и как раз сейчас мы нуждаемся в подходящих людях для начала дела. Согласны войти в нашу группу?

— Согласен ли я? А вы разве не видите? Я уже до такой степени чувствую себя миллионером, что начинаю побаиваться перехода через этот ледник. Было бы весьма некстати сломать теперь себе шею. Хотел бы я иметь побольше таких шипов! Я как раз вколотил последний из моего запаса, когда вы подошли. А ваши как? Покажите-ка!

Смок поднял ногу.

— Подошва гладкая, как каток! — воскликнул Карсон. — Вы, верно, здорово побродили. Подождите минутку, я выдеру для вас несколько штук моих шипов.

Но Смок воспротивился.

— Сойдет и так, — сказал он, — у подножия ледника у меня припрятано около сорока футов веревки. Мы с приятелем уже однажды пользовались ею при переходе через ледяной мост. Переход нетрудный.

II

Однако подъем был мучительно тяжел. Солнце ослепительно сверкало на поверхности льда, и путники карабкались вверх, обливаясь потом, задыхаясь и выбиваясь из сил. Попадались места, изрезанные вдоль и поперек бесчисленными расщелинами, и после часа мучительного и опасного карабканья они продвигались вперед не более чем на сто ярдов. К двум часам пополудни они добрались до большой лужи посреди льда, и Смок предложил сделать привал.

— Приложимся-ка к этому вяленому мясу, — сказал он. — Я все время был на голодном пайке, у меня дрожат колени. Самое худшее уже позади, мы можем отдохнуть. Через триста ярдов мы доберемся до скал — путь довольно легкий, если не считать двух подлых небольших расщелин и одной большой, по которой мы спустимся. Там есть скверненький ледяной мост, но мы с Малышом все-таки справились с ним.

Уничтожая вяленое мясо, спутники знакомились друг с другом; Энди Карсон разоткровенничался, и Смок узнал историю всей его жизни.

— Я знал, что найду Нежданное озеро, — говорил Карсон с набитым ртом. — Я должен был

найти его. Я проворонил Французскую Гору, Большой Скукум и Монте-Кристо, так что мне оставалось — либо Нежданное озеро, либо полный провал. Поэтому я здесь. Моя жена знала, что я доберусь. Она — молодец, огонь, завоевательница с головы до ног, единственная для меня женщина; чистая голубая кровь и никаких примесей. Никогда не вешает носа, хватка у нее мертвая и все такое. Взгляните-ка.

Он открыл часы; на внутренней их крышке была наклеена маленькая фотография, изображавшая белокурую женщину, по обеим сторонам которой улыбались две детские рожицы.

— Мальчики? — спросил Смок.

— Мальчик и девочка, — гордо ответил Карсон. — Мальчишка старше на полтора года. — Он вздохнул. — Они могли бы быть постарше, да нам пришлось ждать. Жена, видите ли, была больна. Легкие. Но она ни за что не хотела сдаваться болезни. Разве мы имеем понятие об этих штуках? Когда мы поженились, я был конторщиком на Чикагской железной дороге. Вся ее родня была больна чахоткой. В те времена врачи знали не бог весть как много. Говорили, что это наследственность. Передавалось, дескать, из поколения в поколение. А просто заражались друг от друга,

сами того не зная. Думали, что родились с этим. Судьба. Первые два года мы жили вместе с ее родными. Я не боялся. В моей семье отроду не бывало чахотки. Вот и схватил ее. Тогда я призадумался. Стало быть, заразительно. Я схватил ее оттого, что дышал одним с ними воздухом.

Поговорил я с женой, турнул домашнего врача и пошел к опытному специалисту. И тот сказал мне то, до чего я и сам додумался, и прибавил, что самое подходящее для нас место — это Аризона. Мы снялись и покатили — ни денег, ничего. Нанялся я в пастухи — овец пасти, — а ее оставил в городе — в «легочном» городе. Битком набит был легочными.

День и ночь находясь на чистом свежем воздухе, я стал поправляться. Иногда я проводил в степи целые месяцы. И каждый раз, когда возвращался в город, находил ее все в худшем состоянии. Никак не могла она выкрутиться. Но мы уже кое-чему научились. Я вытащил ее из этого города, и она отправилась пасти овец вместе со мной. Четыре года подряд, летом и зимой, в холод и жару, в дождь, снег, мороз и прочее такое — мы ни разу не спали под крышей и все время кочевали с места на место. Вы бы посмотрели на нас тогда — коричневые, как жареные кофейные зерна,

тощие, как индейцы, заскорузлые, как недубленая кожа. Потом мы решили, что выздоровели, и махнули в Сан-Франциско. Оказывается, поторопились. На второй месяц мы опять харкали кровью. Полетели обратно в Аризону, к овцам. Еще два года такой жизни. Полное излечение. А семья ее вся вымерла. Не хотела слушаться нас.

Тогда мы окончательно распрощались с городской жизнью. Болтались по тихоокеанскому побережью. Приглянулся нам Южный Орегон. Поселились в долине реки Игруньи, — посадили яблоневый сад. Огромная будущность за этими яблоками, только никто об этом не знает. Добыл я себе там кусок земли — в рассрочку, конечно, — по сорок долларов за акр. Через десять лет будет стоить пятьсот.

Оказывается, опять поторопились. Нужны деньги, а у нас, знаете ли, ни цента, чтобы начать, а тут надо строить дом и амбар, покупать лошадей, плуги и все такое. Она два года проработала учительницей в школе. Потом родился мальчик. Вы бы посмотрели на яблони, которые мы посадили, — сто акров засадили ими, теперь это уже крупные деревья. Но доходу мало; все шло на уплату по закладной. Вот я и попал сюда. Жена тоже отправилась бы, если бы не ребята и

деревья. Она работает там, а я тут — первоклассный миллионер в будущем.

Он посмотрел блаженным взглядом, через искрящийся на солнце лед, на зеленую полоску воды у далекого берега озера, в последний раз взглянул на фотографию и пробормотал:

— Она — замечательная маленькая женщина. Удивительно цепкая! Ни за что не хотела умирать, хоть от нее остались кожа да кости, когда она отправилась пасти овец. О, она и сейчас худенькая! Никогда не будет толстой. Но это ей идет, милее женщины мне никогда не приходилось видеть, и когда я вернусь, и деревья начнут приносить плоды, а ребята станут ходить в школу, мы с ней отправимся в Париж. Я-то не бог весть какого мнения об этом городе, но она мечтает о нем всю жизнь.

— Ну и чудесно! Вот вам и золото на расходы, — уверенно сказал Смок. — Надо только достать его со дна озера.

Карсон кивнул. Глаза его сияли.

— Я вам говорю, эта наша ферма — прелестнейший уголок на всем тихоокеанском побережье. И климат божественный. Уж там наши легкие никогда больше не заболеют. Бывшим легочным надо, знаете, беречься. И если вы вздумаете где-то

осесть, то, прежде чем решить что-либо, загляните в нашу долину. А рыбная ловля! Скажите-ка, приходилось вам вытягивать шестиунцевой удочкой тридцатипятифунтового лосося?

III

— Я легче вас на сорок фунтов, — сказал Карсон. — Пустите меня вперед.

Они стояли на краю огромной старой расщелины футов в сто шириной, с покатыми (а не острыми, как это обыкновенно бывает) краями, отполированными временем. Через расщелину вел мост, образовавшийся из огромной глыбы затвердевшего снега, наполовину превратившегося в лед. Нижний край этого моста не был им виден; не видели они и дна пропасти. Мост постепенно крошился, подтаивал и ежесекундно грозил обвалиться. Судя по свежим следам, некоторые части его уже сорвались вниз перед самым их приходом, да и теперь, в то время как они молча созерцали его, глыба в полтонны сорвалась и полетела в пропасть.

— Н-да, вид неутешительный, — заметил Карсон, многозначительно качая головой. — Если бы я не был миллионером, он бы меня не так пугал.

— И все же мы должны рискнуть, — сказал

Смок. — Мы уже почти перебрались. Мы не можем вернуться и не можем ночевать на льду, а другого пути нет. Мы с Малышом исследовали всю местность на милю кругом. Правда, мост был в лучшем состоянии, когда мы проходили через него.

— Ну ладно! Двинемся по одному. Я вперед. — Карсон взял у Смока часть смотанной веревки. — Вы будете постепенно развертывать ее. Кирку я возьму с собой. Дайте мне вашу руку — мне легче будет соскользнуть вниз.

Медленно и осторожно он сделал несколько шагов по направлению к мосту и остановился, чтобы как следует приготовиться к рискованному переходу. Мешок с запасами висел у него за плечами. Веревку он обмотал свободно вокруг шеи, прикрепив один ее конец к поясу.

— Я бы сейчас с радостью отдал добрую половину моих миллионов за артель рабочих, строящих мост, — сказал он, веселой усмешкой опровергая значение своих слов. — Все в порядке, — прибавил он. — Я ведь, как кошка.

Подражая канатным плясунам, он горизонтально вытянул кирку и палку, которой пользовался как альпенштоком. Потом попробовал выставить одну ногу, но тотчас же отдернул ее и замер, му-

чительно борясь с собой.

— Хотел бы я быть каменотесом, — усмехнулся он. — Если я когда-нибудь перестану быть миллионером, то уж вторично ни за что не стану им. Хлопотливое занятие!

— Не беда, — подбодрил его Смок. — Я уже перебирался через эту штуку. Пустите-ка лучше меня вперед.

— А ваши сорок фунтов? — возразил маленький человек. — Через минуту я буду в порядке. Я уже в порядке. — И действительно, нервы его, по-видимому, успокоились. — Ну, на карту поставлены ферма и яблони! — сказал он и выдвинул ногу. На этот раз он не только не отдернул ее, но и ступил другой. Очень медленно и осторожно он продолжал идти вперед, пока не были пройдены две трети пути. Вдруг он остановился, чтобы рассмотреть лежавшее перед ним углубление, на дне которого виднелась свежая трещина. Смок, не сводивший с него глаз, увидел, что он отвел взгляд в сторону, потом посмотрел вниз, в пропасть, и покачнулся.

— Глядите кверху! — резко скомандовал Смок. — Ну! Вперед!

Маленький человек повиновался и уже без остановок совершил остальную часть пути. Слов-

но источенный солнцем, противоположный скат расщелины был скользким, но не очень крутым. Он взобрался на него, повернулся и сел.

— Ваша очередь, — крикнул он Смоку. — Только идите не останавливаясь и не смотрите вниз. Да поторапливайтесь! Вся эта штука висит на волоске.

Балансируя палкой, Смок двинулся вперед. Было ясно, что мост вот-вот обвалится. Он почувствовал, что у него под ногами что-то скрипит все громче и громче и что вся глыба слегка колеблется. Затем раздался страшный треск. Он понял, что за его спиной что-то случилось. Ему не нужно было оборачиваться — достаточно было видеть напряженное, перекошенное лицо Карсона. Снизу доносилось слабое журчание воды; глаза Смока на мгновение невольно обратились к сверкающей бездне, но он тотчас же заставил себя смотреть прямо перед собой. Две трети пути были пройдены. Он дошел до впадины. Острые края пересекавшей ее трещины, едва тронутые солнцем, свидетельствовали о том, что она совсем недавнего происхождения. Он уже занес ногу, собираясь идти дальше, как вдруг трещина начала медленно расширяться, в то же время раздался угрожающий треск. Смок заторопился и

сделал прыжок, но стертые гвозди сапог скользнули по краю впадины. Он упал ничком и тотчас же соскользнул вниз, в самую расщелину. Его ноги болтались в воздухе; он повис грудью на палке, которую ему удалось при падении перекинуть поперек расщелины.

Первым его ощущением была тошнота, вызванная перебоем пульса; первой мыслью — удивление, что он не упал глубже. Позади него слышался треск. Снизу, из сердца ледника, донесся мягкий и глухой грохот — сорвавшиеся глыбы достигли дна. И все же мост, оторвавшийся от одного берега и провалившийся посередине, продолжал держаться у другого берега, хотя та часть его, которую только что прошел Смок, свисала под углом в двадцать градусов. Он видел Карсона, который сидел над обрывом и, упираясь ногами в талый лед, быстро сматывал веревку с шеи на руку.

— Подождите! — крикнул он. — Не двигайтесь, а то рухнет вся глыба!

Быстрым взглядом он смерил расстояние, сорвал с шеи шарф, привязал его к концу веревки, потом вынул из кармана еще один шарф и привязал к первому шарфу.

Веревка, сплетенная из санных ремней и корот-

ких кусков сырой кожи, отличалась крепостью и легкостью. Первый бросок оказался, к счастью, удачным — Смок пальцами поймал конец веревки и хотел сделать попытку выбраться из расщелины. Но Карсон, обвязавший веревку вокруг своей талии, остановил его.

— Сначала обвяжитесь как следует, — сказал он.

— Если я сорвусь, я сдерну и вас, — возразил Смок.

Внезапно гнев охватил маленького человека.

— Молчите, черт вас возьми! — крикнул он. — Одного звука вашего голоса достаточно, чтобы вся глыба обрушилась.

— Если я сорвусь… — начал Смок.

— Молчите! Вам незачем срываться. Делайте, что вам велят. Так — под плечи. Покрепче! Ну! Трогайтесь! Легче! Легче! Я буду принимать конец. Вы только ползите. Вот так! Легче! Легче!

Смок был на расстоянии двенадцати футов от цели, когда началось окончательное крушение моста. Бесшумно он все ниже сползал в бездну.

— Живо! — крикнул Карсон, поспешно сматывая конец веревки по мере приближения Смока.

Когда раздался грохот, пальцы Смока уже впивались в твердую поверхность расщелины, в то

время как тело его падало вниз вместе с рушившимся мостом. Карсон сидел, упираясь широко расставленными ногами в лед, и изо всех сил тянул веревку. Ему удалось отбросить Смока к боковой стене, но одновременно он сам вылетел из своей впадины. Он перевернулся, как кошка, судорожно цепляясь за лед и скользя вниз. А сорока футами ниже, держась за туго натянутую веревку, судорожно карабкался Смок. И прежде чем донесшийся снизу грохот известил их о том, что мост достиг дна пропасти, оба уже нашли точку опоры. Первым нашел ее Карсон. Он из последних сил потянул веревку и остановил падение Смока.

Теперь каждый из них лежал в небольшом углублении, причем углубление Смока было настолько незначительно, что он неминуемо соскользнул бы вниз, если бы его не поддерживала веревка.

Прямо перед ним вздымался ледяной выступ, заслонявший от него Карсона. Прошло несколько минут, в течение которых оба более или менее освоились с положением и изучили искусство цепляться за мокрый и скользкий лед. Первым заговорил маленький человек.

— Проклятие! — сказал он, а минутой позже:

— Если вы сможете на мгновение удержаться сами по себе и отпустить веревку, то я перевернусь. Ну-ка, попробуйте.

Смок попробовал, потом снова уцепился за веревку.

— Кажется, могу, — ответил он. — Скажите, когда будете готовы. Только поскорей.

— Тремя футами ниже у меня есть во что упереться, — сказал Карсон. — Я справлюсь в одно мгновение. Готовы?

Соскользнуть на ярд вниз, перевернуться и сесть было нелегким делом; но еще труднее было Смоку распластаться на льду и удерживаться в положении, которое с каждой секундой требовало от него все большего напряжения мышц. Он почувствовал, что начинает еле заметно скользить вниз, когда веревка снова натянулась. Смок поднял глаза и посмотрел на своего спутника: мертвенно-желтая бледность разливалась по обожженному солнцем лицу Карсона. Смок подумал: «А на кого похож я сам в эту минуту?» Вдруг он заметил, что Карсон трясущимися руками ищет нож, и решил, что час его пробил: Карсон поддался панике и собирается перерезать веревку.

— В-в-в-вы не думайте, — лепетал он. — Я не боюсь. Это только мои нервы, будь они прокляты!

Ч-ч-через минуту я буду в порядке.

Смок видел, как он перегнулся и, прижав плечи к коленям, охваченный страшной дрожью, придерживал одной рукой конец веревки, а другой вырубал и сверлил во льду дыру для ног.

Сердце Смока дрогнуло от нежности.

— Слушайте, Карсон. Все, что вам остается, это перерезать веревку. Вы все равно не сможете втащить меня, а пропадать нам обоим нет смысла. Возьмите нож и положите этому конец.

— Да замолчите вы! — возмущенно крикнул тот. — К чему молоть вздор?

И Смок убедился, что гнев оказался прекрасным успокоительным средством для нервов его спутника. Что касается его собственных, то они были напряжены до последней степени; он лежал распластавшись на льду и думал только об одном — как бы удержаться подольше.

Стон и короткий возглас: — Держитесь! — предупредили его об опасности. Припав лицом ко льду, он сделал чудовищное усилие, чтобы удержаться, почувствовал, что веревка ослабла, и понял, что Карсон скользит к нему. Он не решался поднять глаза до тех пор, пока не почувствовал, что веревка снова натягивается, и не понял, что Карсон опять нашел точку опоры.

— Ну и была потеха, — пролепетал последний. — Я сполз на целый ярд. А теперь подождите. Мне надо выковырять новые дыры. Не будь лед таким талым, все было бы в порядке.

Придерживая левой рукой веревку, маленький человек начал правой скрести и долбить лед. Так прошло минут десять.

— Теперь я скажу вам, что я сделал, — крикнул он вниз. — Я вырубил вам отверстия для рук и ног рядом со мной. Я буду потихоньку и полегоньку подтягивать веревку, а вы ползите наверх, только не слишком быстро. Подождите — еще два слова. Я буду подтягивать вас на веревке, а вы избавьтесь от вашего тюка. Поняли?

Смок кивнул и, стараясь двигать рукой как можно осторожнее, развязал ремни тюка; потом движением плеч сбросил его. Карсон увидел, как тюк перелетел через ледяной выступ и скрылся из виду.

— Так, теперь я вырублю дыры для себя самого, — крикнул он Смоку. — Устройтесь поудобнее и ждите.

Пять минут спустя началась борьба за подъем. Смок вытер руки о подкладку рукавов, вцепился в лед и, извиваясь и припадая, пополз наверх, подтягиваемый веревкой. Без веревки он не про-

двинулся бы ни на шаг. Несмотря на всю силу своих мускулов, он не мог, подобно Карсону, держаться на весу — лишних сорок фунтов мешали ему. Преодолев треть пути и добравшись до места, где склон был круче, а лед значительно крепче, он почувствовал, что веревка ослабла. Он двигался все медленней и медленней. А между тем тут ни в коем случае нельзя было останавливаться. И все же самые отчаянные его усилия не смогли предотвратить неизбежное, и он почувствовал, что снова начинает скользить вниз.

— Я сползаю! — крикнул он наверх.

— Я тоже, — сквозь стиснутые зубы прохрипел Карсон.

— Отпустите тогда.

Смок почувствовал, что веревка натягивается в последнем тщетном усилии, потом скорость падения увеличилась, и скользя мимо своей прежней позиции и через выступ вниз по скату, он успел увидеть, что Карсон перевернулся и отчаянным движением рук и ног силится преодолеть тянущую его книзу тяжесть. К удивлению Смока, он не ощутил резкого падения, когда миновал ледяной выступ. Веревка удерживала его; он только скользил по крутому скату. Наконец он застрял в новой впадине перед другим выступом.

Карсон окончательно скрылся из виду — теперь он находился на том самом месте, где раньше был Смок.

— Фу! — услыхал Смок его дрожащий голос. Настало молчание; затем Смок почувствовал, что веревка затрепетала.

— Что вы делаете? — крикнул он.

— Вырубаю новые ямы для рук и ног, — прерывистым голосом ответил Карсон. — Подождите немного. Я в один миг втащу вас сюда. Не обращайте внимания на мой тон. Я возбужден. А вообще я в полном порядке. Подождите! Сами увидите!

— Вы держите меня на весу, — возразил Смок. — Рано или поздно, как только начнет таять снег, вы сползете вниз вслед за мной. Единственное ваше спасение — перерезать веревку. Послушайте, зачем гибнуть обоим? Вы — самый замечательный маленький человек на свете, но вы сделали все, что могли. Режьте, говорю я вам!

— А я вам говорю — молчите! Я выдолблю такие дырки, что смогу втащить сюда лошадь с телегой.

— Довольно вы втаскивали меня, — настаивал Смок. — Пустите!

— Когда я втаскивал вас? — послышался суро-

вый вопрос.

— Много раз, слишком много. И оттого все время сами сползали вниз.

— А в это время я многому научился. Я буду держать вас, пока мы оба не выберемся отсюда. Поняли? Создавая меня легковесом, Бог, надо думать, знал, что делает. Ну, молчите! Я занят.

Несколько минут прошло в молчании. Смок слышал звенящие удары ножа; время от времени из-за выступа к нему долетали осколки льда. Изнывая от жажды, цепляясь руками и ногами за скользкую поверхность склона, он ловил ртом кусочки льда, ждал, пока они растают, и глотал их.

Вдруг он услышал вздох, перешедший в безнадежный стон, почувствовал, что веревка ослабла, и немедленно опять вцепился в лед. Но веревка снова натянулась. С трудом подняв голову, он увидел, что прямо на него по крутому скату скользит, острием вперед, нож. Он подставил ему щеку, прижал его ко льду, содрогнулся от боли, прижал еще крепче и почувствовал, что нож задержался.

— Я — осёл! — послышался жалобный вопль.

— Ничего, я поймал его, — ответил Смок.

— Да ну? Постойте, у меня в кармане длинная веревка. Я брошу ее вам, а вы пошлите мне наверх нож.

Смок не отвечал. Он боролся с обуревавшими его мыслями.

— Эй, вы! Идет веревка! Скажите, когда поймаете!

Маленький перочинный нож, привязанный к концу веревки в виде груза, скользил по льду. Смок поймал его, открыл большое лезвие зубами и одной рукой и удостоверился в его остроте. Потом привязал большой нож к концу веревки.

— Тяните! — крикнул он.

Напряженным взором следил он за исчезновением ножа. И тут он увидел еще кое-что. Он увидел маленького человека, испуганного, но непоколебимого, дрожавшего, стучавшего зубами, терявшего сознание и все же преодолевавшего все свои страхи, все свое отчаяние: он увидел героя. С тех пор, как повстречался с Малышом, он никогда еще так быстро не привязывался к человеку.

— Вот и хорошо! — донесся к нему голос из-за ледяного выступа. — Теперь мы в два счета выберемся отсюда.

Чудовищное усилие сохранить бодрость и надежду, трепетавшее в голосе Карсона, заставило Смока решиться.

— Слушайте меня, — твердо сказал он, тщетно

силясь отогнать от себя образ Джой Гастелл. — Я послал вам нож, чтобы дать вам возможность выбраться. Я перережу веревку маленьким ножом. Выхода нет. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим. Поняли?

— Спастись обоим или никому, — последовал резкий ответ, но в то же время в нем слышалось какое-то колебание. — Если вы продержитесь еще минуту…

— Я и так уже держался слишком долго. Я холост. Меня никто не ждет: ни прелестная худенькая жена, ни ребятишки, ни яблони. Ну, ползите наверх — и дело с концом!

— Подождите! Ради Бога, подождите! — взвизгнул Карсон. — Вы не смеете! Дайте мне возможность вытащить вас! Будьте хладнокровны! Мы все устроим, вот увидите. Я вырою такие ямы, что можно будет втащить целый дом с амбаром.

Смок не отвечал. Медленно и осторожно, не отрывая зачарованного взгляда от веревки, он пилил ее ножом, пока не лопнул один из трех ремней, из которых она была свита.

— Что вы делаете? — отчаянно закричал Карсон. — Если вы разрежете, то я никогда не прощу вам этого, никогда! Я вам говорю — оба или никто! Мы выберемся! Подождите! Ради Бога!

И Смок, глядя на перерезанную в пяти дюймах от его глаз веревку, узнал, что такое страх. Он не хотел умирать; он вспомнил о сверкающей под ним пропасти, и его сознание, охваченное паническим ужасом, молило об отсрочке. Страх толкнул его на компромисс.

— Ладно, — крикнул он. — Я подожду. Делайте, что можете. Но говорю вам, Карсон, если мы снова начнем скользить, то я перережу веревку.

— Фу! И думать не смейте об этом! Если мы вообще тронемся с места, так только наверх. Я ведь, как липкий пластырь. Будь тут вдвое круче, я бы все равно прилепился. Для одной ноги дыра уже готова — и основательная. Ну, тише, дайте мне работать!

Медленно ползли минуты. Смок сосредоточил все свои мысли на оборванном ногте указательного пальца, который причинял ему ноющую боль. Его следовало обрезать еще утром, он тогда уже болел, подумал Смок, и решил обрезать его немедленно, как только выберется из пропасти. Потом мысли его внезапно приняли другой оборот, и он посмотрел на ноготь и на пальцы с каким-то новым чувством. Через минуту, в лучшем случае через несколько минут, этот палец, так искусно соединенный с ногтем, такой ловкий

и подвижный, будет, быть может, частью исковерканного трупа на дне пропасти. Он сознавал, что его мучит страх, и ненавидел себя за это. Люди, которые едят медвежатину, сделаны из материала покрепче. Охваченный возмущением против самого себя, он чуть было не перерезал веревки.

Крик, сменившийся стоном, и дрожание ослабевшей веревки заставили его опомниться. Он начал скользить, но скользить очень медленно. Веревка была натянута — и все же он продолжал скользить. Карсон не мог больше держать его и скользил сам. Вытянутая нога Смока встретила пустоту, и он понял, что сейчас начнется стремительное падение. А он знал, что в следующий за этим момент его падающее тело увлечет за собой Карсона.

В слепом отчаянии, побеждая безумную вспышку животного страха и любви к жизни силой воли и сознанием долга, он ударил ножом по веревке, увидел, как лопаются ремни, почувствовал, что скользит все быстрее и быстрее, и наконец упал.

Что было потом, он не мог понять. Он не потерял сознания, но все произошло слишком быстро и неожиданно. Вместо того чтобы разбиться насмерть, он почти в то же мгновение коснулся

ногами воды, а потом со всего размаха сел в воду, обдавшую его лицо холодными брызгами.

— Зачем вы это сделали? — услышал он сверху жалобный стон.

— Слушайте! — крикнул он. — Я в полной безопасности — сижу в луже по самое горло. Здесь оба наших тюка. Сейчас усядусь на них. Здесь хватит места еще для полдюжины людей. Если вы скользите, то цепляйтесь покрепче — выберетесь! Идите в хижину! Там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь в этом роде, возвращайтесь и вытаскивайте меня.

— Честно? — недоверчиво спросил Карсон.

— Клянусь! Ну, пошевеливайтесь, а то я умру от простуды.

Смок согревался, прорывая каблуком сапога спуск для воды по краю лужи. К тому моменту, когда вода вылилась из углубления, в котором он находился, Карсон криком известил его, что добрался до вершины.

Тогда Смок занялся просушкой одежды. Греясь в теплых лучах вечернего солнца, он выжал ее и разложил вокруг себя. При нем была непромокаемая спичечница; он высушил при помощи спичек щепотку табаку и кусочек рисовой бумаги, чтобы сделать папиросу.

Спустя два часа, сидя нагишом на тюках и покуривая, он услышал сверху голос: мог ли он не узнать его!

— Эй, Смок! Смок!

— Алло, Джой Гастелл, — крикнул он в ответ. — Откуда вы свалились?

— Вы ранены?

— Вовсе нет.

— Отец спускает веревку. Вы ее видите?

— Да, и даже уже поймал, — ответил он, — теперь, пожалуйста, подождите минуты две-три.

— В чем дело? — тревожно спросила она через несколько минут. — О, я знаю, вы ранены!

— Да нет же! Я одеваюсь.

— Одеваетесь?

— Ну да! Я купался. Ну, готовы? Тяните!

Сначала он послал наверх оба тюка, получил за это от Джой Гастелл соответствующий выговор и наконец поднялся сам.

Джой Гастелл смотрела на него горящими глазами, пока ее отец и Карсон деловито сматывали веревку.

— Как же это вы перерезали ее? — воскликнула она. — Это было… Право же, это было изумительно!

Смок презрительно отмахнулся от компли-

мента.

— Я все знаю, — настаивала она. — Карсон рассказал мне. Вы решили пожертвовать собой ради него.

— И не думал ничем жертвовать, — соврал Смок. — Я все время видел под собой эту мелкую лужу для купания.

Как вешали Калтуса Джорджа

I

Дорога круто поднималась по глубокому, рыхлому, нетронутому снегу. Смок возглавлял шествие, утаптывая хрупкие кристаллики своими широкими, короткими лыжами. Работа эта требовала богатырских легких и железных мускулов: ему приходилось напрягать все силы. Позади, по утоптанной им тропе, тянулась упряжка из шести собак. Клубы пара, вылетавшие из открытых пастей животных, свидетельствовали об их тяжелой работе и о низкой температуре воздуха. Малыш помогал тянуть, расположившись между коренником и санями и распределяя свои силы между шестом и тягой. Каждые полчаса он и Смок менялись местами: утаптывание снега было еще более утомительным занятием, чем работа шестом.

Все снаряжение было новым и прочным. На их долю выпал тяжелый труд — проложить зимний путь через горный хребет, и они добросовестно выполняли его. Напрягая все свои силы, они могли прокладывать в день самое большее де-

сять миль дороги; это считалось у них хорошим результатом. Они держались изо всех сил, но каждый вечер заползали в свои спальные мешки совершенно разбитыми. Шесть дней прошло с тех пор, как они покинули многолюдный лагерь Муклук на Юконе. Пятьдесят миль наезженной дороги по Лосиному ручью они покрыли с нагруженными санями в два дня. А потом началась борьба с четырехфутовым девственным снегом, который в сущности был даже не снегом, а кристаллическим льдом — таким рыхлым, что от удара рассыпался, как сахарный песок. В три дня они прошли тридцать миль вверх по ручью Колюшки и пересекли ряд хребтов, разделявших несколько потоков, которые текли на юг и впадали в реку Сиваш. Теперь они должны были перебраться через горы за Лысыми Холмами и спуститься по руслу ручья Дикобраза к середине Молочной реки. Носились упорные слухи, что в верховьях реки Молочной находятся залежи меди. Туда-то они и стремились — к горе из чистой меди, в полумиле направо и вверх по первому ручью, за тем местом, где река Молочная выбивается из глубокой котловины на поросшую густым лесом равнину. Они узнали бы это место с первого взгляда. Одноглазый Маккарти описал его

во всех подробностях. Ошибка была невозможна — если только Маккарти не лгал.

Смок шел впереди. Одинокие низкорослые сосенки попадались на их пути все реже, как вдруг он увидел перед собой одно деревце, совершенно высохшее и голое. Слова были излишни; он взглянул на Малыша, и тот ответил громовым: — Хо! Собаки немедленно остановились и не двигались все время, пока Малыш развязывал постромки, а Смок обрабатывал сухую сосну топором; потом собаки бросились в снег и свернулись комочком, прикрывая хвостом косматые ноги и заиндевевшую морду.

Путники работали с быстротой, свидетельствовавшей о многолетнем опыте. Скоро в тазу для промывки золота, в кофейнике и в кастрюле уже таял снег — его надо было превратить в воду. Смок достал из саней замороженные бобы, сваренные вместе с хорошей порцией свиного сала и ветчины: в этом виде их легко было перевозить. Смок топором разрубил бобы на несколько кусков и бросил их на сковороду, чтобы они оттаяли. Точно так же поступил он и с замерзшими лепешками из кислого теста. Через двадцать минут с момента остановки обед был готов.

— Больше сорока, — промолвил Малыш, набив

рот бобами. — Надеюсь, холоднее не будет, да и теплей тоже. Самая подходящая погода для путешествия.

Смок ничего не ответил. У него рот был тоже набит бобами и челюсти усердно работали. Случайно его взгляд упал на собаку-вожака, лежавшую шагах в шести от него. Иззябший серый волкодав смотрел на него с тем бесконечным томлением, с той дикой жадностью, которая так часто вспыхивает в глазах северных собак. Смоку давно уже был знаком этот взгляд, и все же он никак не мог привыкнуть к его неизъяснимой таинственности. Словно желая стряхнуть гипноз, он отодвинул тарелку и чашку, подошел к саням и стал развязывать мешок с сушеной рыбой.

— Эй! — окликнул его Малыш. — Что ты делаешь?

— Нарушаю все путевые законы, обычаи и правила, — ответил Смок. — Собираюсь кормить собак в неурочное время — только один-единственный раз. Они много потрудились, и им предстоит взобраться еще на один хребет. Кроме того, Брайт сейчас беседовал со мной и сказал мне глазами много такого, чего не скажешь никакими словами.

Малыш скептически рассмеялся.

— Ну что ж, балуй их! Скоро ты им когти маникюрить будешь. Рекомендую кольдкрем и электрический массаж — полезнейшая штука для упряжных псов. Не помешает им иногда и турецкая баня.

— Прежде я никогда этого не делал, — защищался Смок. — Да и впредь не буду. Но на этот раз я их накормлю. Пусть это будет моя прихоть.

— Что ж, если это у тебя примета такая, то валяй. — Голос Малыша тут же смягчился. — С приметами надо считаться.

— Это не примета, Малыш. Просто Брайт каким-то образом подействовал на мое воображение. Он в одну минуту сказал мне глазами больше, чем я мог бы вычитать из книг за тысячу лет. Все тайны жизни светились в его глазах. И представь себе, я почти понял их, а потом снова все забыл. Теперь я знаю не больше, чем знал раньше, а был совсем близко к разгадке всех тайн. Не могу тебе объяснить, в чем тут дело, но глаза этого пса поведали мне, что такое жизнь, и эволюция, и звездная пыль, и космическая сила и все такое — все вообще.

— То есть, говоря на человеческом языке, ты суеверен, — настаивал Малыш.

Смок раздал собакам по одной сушеной рыбе и

покачал головой.

— А я говорю тебе — это так, — повторил Малыш. — И это серьезная примета, Смок. Еще до конца дня что-то случится. Вот увидишь. И сушеная рыба сыграет свою роль.

— Объясни, что же это может быть? — начал Смок.

— Ничего я тебе объяснять не буду. Все придет само собой. Слушай, что я тебе скажу. Твое суеверие — для меня тоже примета. Ставлю одиннадцать унций золота против трех зубочисток, что я прав. Я не боюсь смотреть приметам прямо в лицо.

— Ты уж лучше ставь зубочистки, а я поставлю золото, — ответил Смок.

— Нет, это будет неприкрытый грабеж. Я играю наверняка. Мне ничего не стоит разгадать примету. Еще до конца дня что-то случится, и сушеная рыба сыграет свою роль.

— Ерунда, — сказал Смок, обрывая спор.

— И случится что-то пакостное, — продолжал Малыш. — Принимаю еще три зубочистки на прежних условиях, что дело будет препротивное.

— Состоялось, — сказал Смок.

— И я выиграю, — возликовал Малыш. — Заработаю зубочистки из цыплячьих перышек!

II

Спустя час они перевалили через хребет и узким ущельем вышли за Лысыми Холмами на крутой открытый склон, сползавший к ручью Дикобраза. Шедший впереди Малыш внезапно остановился, и Смок немедленно остановил собак. Под ними по склону горы взбиралась наверх какая-то странная процессия, растянувшаяся чуть не на четверть мили.

— Ползут, словно на похоронах, — заметил Малыш.

— У них нет собак, — сказал Смок.

— Да. Вон двое тащат сани.

— Ты видишь, — один упал? Что-то случилось. Их тут человек двести.

— Смотри, — они шатаются, как пьяные. Вон и второй упал.

— Да тут целое племя! И дети!

— Смок, я выиграл! — провозгласил Малыш. — Примета есть примета, тут уж ничего не поделаешь. Посмотри на них — они ползут сюда словно загробные тени.

При виде путников индейцы издали дикий радостный вопль и ускорили шаг.

— Однако их здорово потрепало, — заметил

Малыш. — Смотри-ка, они валятся, как чурбаны.

— Посмотри, какое лицо у первого, впереди всех, — сказал Смок. — Это голод. Вот в чем разгадка. Они съели своих собак.

— Что мы будем делать? Удерем?

— И оставим сани и собак? — с упреком спросил Смок.

— Они съедят нас, если мы не удерем. Такой у них вид! Эй, ребята, что с вами стряслось? Не смотрите так на наших псов! Им еще рано на сковородку — поняли?

Индейцы подошли ближе и столпились вокруг путников, воя и причитая на каком-то непонятном наречии. Ужасом повеяло на Смока от этого зрелища. Это был несомненный голод. Лица индейцев со впалыми щеками и кожей, точно присохшей к костям, казались мертвыми. Толпа все росла и росла, пока Смок и Малыш не затерялись в ней окончательно.

— Прочь с дороги! Проваливайте! — заорал Малыш по-английски, после нескольких бесплодных попыток столковаться с ними при помощи тех немногих индейских слов, которые он знал.

Мужчины, женщины и дети продолжали топтаться на месте, дрожа и шатаясь на подгибающихся ногах. Толпа становилась все больше

и больше. В безумных глазах вспыхивала жадность. Какая-то женщина, спотыкаясь и кряхтя, зашла в тыл Малышу и повалилась на сани, широко растопырив руки. За ней последовал старик; пыхтя и задыхаясь, он пытался развязать ремни и добраться до лежащих на дне саней мешков с продовольствием. Какой-то юноша ринулся вперед с ножом в руках, но был отброшен Смоком. Толпа напирала на них со всех сторон; разгорелся настоящий бой.

Сначала Смок и Малыш только отталкивали нападающих, но потом пустили в ход рукоятки бичей и кулаки и начали избивать толпу, обезумевшую при виде пищи. Со всех сторон неслись рыдания и стоны женщин и детей. Там и сям, во многих местах санные ремни были уже перерезаны. Мужчины подползали на животах и, не обращая внимания на град ударов и толчков, пытались вытащить из саней продовольствие. Их приходилось отрывать от земли и отбрасывать в сторону. Они были так слабы, что валились наземь от первого же толчка. Никто из них не сделал ни одной попытки напасть на людей, оборонявших сани.

Только страшная слабость индейцев и спасла Смока и Малыша от поражения. Через пять

минут стена напиравших индейцев была сокрушена и превратилась в груду корчившихся и ползавших по снегу тел. Несчастные выли и стонали, судорожно раздували ноздри и с пеной у рта, остекленевшими, затуманенными глазами впивались в мешки с продовольствием, обозначавшим для них жизнь. И надо всем царил страшный вой женщин и детей.

— Замолчите, замолчите! — орал Малыш, затыкая уши; он задыхался от усталости. — Ах, вот ты как! — взревел он вдруг и, ринувшись вперед, выбил нож из рук человека, подползшего к саням и пытавшегося вонзить нож в горло собаки-вожака.

— Какой ужас! — пробормотал Смок.

— Фу, запарился! — ответил Малыш, отходя от спасенного Брайта. — Что нам делать с этой инвалидной командой?

Смок покачал головой, но тут задача разрешилась сама собой. Какой-то индеец выполз из кучи валявшихся тел и выпучил свой единственный глаз не на сани, а на Смока: в этом страшном взгляде Смок прочел бешеное усилие овладеть собой. Малыш вспомнил, что он только что хватил этого старика по тому глазу, который теперь закрылся и запух. Индеец приподнялся на локте

и заговорил:

— Моя Карлук. Моя хороший сиваш. Моя знает много белый человек. Моя много голодный. Все много голодный. Все не знает белый. Моя знает. Моя теперь ест пища. Все теперь ест пища. Мы купит пища. Мы много золота. Нет пища. Лето лосось не ходил Молочная река. Зима карибу не ходил. Нет пища. Моя говорит весь народ. Моя говорит — много белый человек ходит Юкон. Белый человек — много пища. Белый человек любит золото. Мы берет золото, ходит Юкон, белый человек дает пища. Много золота. Я знает — белый человек любит золото.

Дрожащими пальцами он начал шарить в мешке, который вытащил из-за пояса.

— Слишком много делать шума, — рассеянно перебил его Малыш. — Ты сказать скво[5], ты сказать папуз[6] заткнуть глотки.

Карлук повернулся и обратился с речью к воющим женщинам. Остальные мужчины прислушались и, властно возвысив голоса, мало-помалу заставили успокоиться женщин и сгрудившихся около них детей. Карлук перестал

---

[5] notes: 5
Скво — женщина.

[6] notes: 6
Папуз — ребенок.

шарить в мешке и несколько раз поднял руку с растопыренными пальцами.

— Столько людей сделать мертвый, — сказал он.

Следя за счетом, Смок понял, что семьдесят пять человек из племени умерло от голода.

— Моя купит пища, — сказал Карлук, раскрыв мешок, и вытащил из него большой, тяжелый кусок металла. Остальные последовали его примеру, и со всех сторон появились точно такие же куски. Малыш выпучил глаза.

— Батюшки! — воскликнул он. — Медь! Сырая красная медь! А они думают, что это золото!

— Это золото, — заверил их Карлук, уловив смысл восклицания Малыша.

— Бедняги! Это была их последняя ставка! — пробормотал Смок. — Посмотри-ка! Этот кусок весит сорок фунтов. У них есть сотни фунтов меди, и они все время тащили ее с собою, а сил не было и себя-то тащить. Послушай, Малыш, мы должны накормить их.

— Легко сказать. А как насчет статистики? У нас с тобой продовольствия на месяц, то есть шесть порций, помноженных на тридцать, стало быть, сто восемьдесят порций. А тут двести индейцев — и аппетит у них изрядный. Мы не можем на-

кормить их даже один раз.

— Есть еще собачий корм, — ответил Смок. — Двести фунтов сушеной лососины нас выручат. Мы должны помочь им. Они свято верят в белых, помни это.

— Верно. И разочаровывать их не годится, — согласился Малыш. — Каждому из нас выпало на долю по скверному делу, одно хуже другого. Одному придется пробежаться в Муклук за подмогой, а другой останется здесь, займется этой богадельней и, вероятнее всего, будет съеден. Не забудь, что нам понадобилось шесть дней, чтобы добраться сюда. Даже налегке быстрее чем в три дня не обернуться.

Смок задумался, взвесил количество миль и переложил их на единицы времени, измеряемого его выносливостью.

— Я могу быть там завтра вечером, — заявил он.

— Хорошо, — подхватил Малыш. — А я останусь, и меня слопают.

— Но я возьму по рыбине на каждую собаку, — прибавил Смок. — И порцию еды для себя.

— Конечно, тебе надо будет проглотить что-нибудь, если ты собираешься быть в Муклуке завтра вечером.

Через Карлука Смок изложил индейцам свой план.

— Зажигать огни, длинные огни, много огни, — закончил он. — Много белый человек жить Муклук. Белый человек много хороший. Белый человек много пища. Пять снов моя прийти обратно много пища. Этот человек, его имя Малыш, много хороший друг мне. Он остаться тут. Он большой начальник, поняли?

Карлук кивнул головой и перевел его речь.

— Вся пища остаться здесь. Малыш дать пища. Он начальник, поняли?

Карлук перевел и это. Мужчины закивали головами и разразились гортанными криками одобрения.

Смок оставался в лагере до тех пор, пока не была налажена работа. Те, у кого еще были силы, ползали или ковыляли, собирая топливо. Были разложены длинные индейские костры. Малыш с дюжиной помощников занялся стряпней, время от времени давая короткой дубинкой по тянувшимся к нему со всех сторон жадным рукам. Женщины стали греть на огне снег, которым наполнили всю имевшуюся под рукой посуду. В первую очередь все получили по тонкому ломтю ветчины, а потом по ложке сахару, надо было

хоть как-нибудь притупить их острый голод. Скоро на кострах, кольцом окружавших Малыша, зашипели горшки с бобами, а сам Малыш жарил и раздавал тончайшие оладьи, пронзая «жуликов» гневным взором.

— Я займусь стряпней, — говорил он Смоку, прощаясь с ним. — А ты лети во весь дух. Всю дорогу туда рысью, а обратно галопом. Сегодня и завтра ты будешь в пути, так что раньше чем через три дня не сможешь вернуться. Завтра они съедят последнюю из собачьих рыб и останутся без крошки пищи на целых три дня. Тебе придется поторопиться, Смок. Тебе придется очень поторопиться.

III

Несмотря на то что сани были нагружены только шестью сушеными рыбинами, двумя-тремя фунтами мороженых бобов с салом и меховым мешком для спанья, Смок двигался довольно медленно. Вместо того чтобы сидеть в санях и подгонять собак, ему приходилось возиться с шестом, бежать рядом с собаками. Кроме того, он много работал в течение дня и чувствовал себя очень усталым. Устали и собаки. Долгие полярные сумерки настигли его, едва только

он перебрался через хребет и оставил за собой Лысые Холмы.

Путь под гору был уже значительно легче. Время от времени Смок мог позволить себе роскошь вскочить в сани и на протяжении шести миль ограничиться понуканием измученных собак. Ночь застала его в широком русле какого-то безымянного ручья. Ручей вился по долине подковообразными изгибами, и, чтобы выиграть время, Смок решил выбраться из русла и ехать напрямик. Вскоре он сбился с пути и снова вернулся в русло. В течение часа он тщетно пытался взять верное направление и, убедившись наконец в бесполезности дальнейших блужданий, развел костер, дал каждой собаке по половине рыбы и разделил на две части свой собственный паек. Потом закутался в спальный мешок и, прежде чем сон сморил его, успел сообразить, где находится. Последняя пройденная им долина лежала у разветвления ручья. Он отдалился от правильного пути на целую милю. В данный момент он находился в основном русле, ниже того места, где проложенный им с Малышом путь пересекал долину и вел через маленький ручеек на низкий холм, находившийся на другом берегу ручейка.

Как только забрезжил рассвет, он собрался

в путь натощак и поднялся вверх по руслу на милю. Без завтрака и не накормив собак, он ехал восемь часов не отдыхая, пересекая мелкие ручьи, низкие перевалы и спускаясь вниз по ручью Колюшки. К четырем часам пополудни он в сгущающихся сумерках выехал на хорошо наезженную дорогу вдоль Лосиного ручья. До конца путешествия ему оставалось еще пятьдесят миль. Он сделал привал, развел костер, дал собакам по полрыбы и съел свой фунт бобов. Потом вскочил в сани, крикнул «пошел!» и погнал собак.

— Приналягте, псы! — кричал он. — Вперед за жратвой! До Муклука ни крошки! Гоните, волки! Гоните!

IV

Он подъехал к салуну «Энни-Майн» в четверть первого пополудни. Главный зал был переполнен, в огромных печах трещали дрова, и в помещении царила удушливая жара: вентиляции здесь не существовало. Треск фишек и шум за карточными столами сливались в монотонный аккомпанемент монотонному журчанию голосов. Люди беседовали стоя и сидя, по двое и по трое. Весовщики ни на минуту не покидали своих весов, ибо ходовой разменной монетой был

золотой песок, которым приходилось оплачивать даже выпивку у стойки, стоившую какой-нибудь шиллинг.

Стены комнаты были сколочены из бревен, покрытых корой и проконопаченных полярным мхом. Из открытой двери танцевального зала доносились бравурные звуки рояля и скрипки. Только что состоялся розыгрыш «китайской лотереи», и счастливчик, которому достался главный выигрыш, пропивал его в обществе полудюжины приятелей-собутыльников. За столами для игры в фаро и рулетку царило деловитое спокойствие. Точно так же спокойно было за столами для покера, вокруг которых собралось множество зрителей. Еще за одним столом шла серьезная, сосредоточенная игра в Черного Джека. Только со стола для игры в кости доносился шум, так как один из игроков швырял кости на зеленое сукно стола со всего размаха, точно преследуя ускользающее от него счастье.

— Эй, четверка! — вопил он. — Да ну, иди же! Где же ты, четверочка? Иди! Иди! Ну, тащи домой закуску!

Калтус Джордж, рослый, коренастый индеец из Серкл-сити, неподвижно стоял в стороне, прислонившись к бревенчатой стене. Он был

цивилизованным индейцем, если только жить, как живут белые, значит быть цивилизованным. Он чувствовал себя смертельно обиженным, хотя обида эта была очень давнишняя. В течение многих лет он делал все, что делают белые, работал бок о бок с ними и зачастую даже лучше, чем они. Он носил такие же брюки, как они, такие же шерстяные толстые рубахи. У него были такие же часы, как у них, он так же, как и они, расчесывал свои короткие волосы на боковой пробор и ел ту же пищу, что они, — бобы, сало и муку. И все же ему было отказано в величайшей награде белых — в виски. Калтус Джордж зарабатывал большие деньги. Он находил заявки, продавал и покупал заявки. Сейчас он был погонщиком собак и носильщиком и брал по два шиллинга с фунта за зимний пробег от Шестидесятой Мили до Муклука, а за сало, как это было принято, — три. Его кошель был туго набит золотым песком. Он мог заплатить за сотню выпивок. И все же ни один буфетчик не отпускал ему виски. Горячее, живительное виски — лучшее благо цивилизации — было не для него. Только из-под полы, таясь и дрожа, по непомерно высокой цене мог он добыть себе выпивку. И он ненавидел эту проклятую межу, отделявшую его от белых, ненавидел

глубоко, много лет. А как раз сегодня он особенно изнывал от жажды, бесился и больше чем когда бы то ни было ненавидел белых, которым так упорно подражал. Белые милостиво разрешали ему проигрывать добытое им золото за их карточными столами, но ни за какие деньги он не мог получить спиртного за их стойками. Поэтому он был очень трезв, очень логичен — и поэтому же необычайно мрачен.

В соседней комнате танцы закончились диким топотом, который не произвел ни малейшего впечатления на трех пьяниц, храпевших под роялем.

— Все пары — к стойке! — раздалась последняя команда распорядителя, когда музыка смолкла. И пары проследовали в главный зал — мужчины в мехах и мокасинах, женщины в теплых платьях, шелковых чулках и бальных туфельках. Вдруг распахнулась двойная наружная дверь, и в комнату тяжело ввалился Смок Беллью.

— Что случилось, Смок? — спросил Мэтсон, владелец «Энни-Майн».

Смок с усилием разжал рот:

— За дверью мои собаки, загнаны до полусмерти. Пусть кто-нибудь займется ими, а я тем временем расскажу, в чем дело.

Очень коротко он обрисовал положение. Игрок в кости, который все еще сидел за столом, разложив перед собой деньги, и никак не мог поймать свою четверку, встал, подошел к Смоку и заговорил первым.

— Мы должны что-то сделать. Это ясно. Но что именно? У вас было достаточно времени на размышление. Каков ваш план?

— Вот что я придумал, — ответил Смок. — Нам надо будет пустить сани совсем налегке. Скажем, по сто фунтов продовольствия на каждую запряжку. Еда для погонщика и для собак — примерно еще фунтов пятьдесят. Тогда они поедут быстро. Сию минуту выедут, скажем, пять-шесть саней — лучшие беговые запряжки, лучшие погонщики — пожиратели пространства. Выехать надо всем сразу. Как бы мы ни гнали собак, мы приедем на место тогда, когда индейцы будут уже третий день сидеть без единой крошки пищи. А после того, как мы отправим легкие сани, пустим вслед им сани потяжелее. Считайте сами. Два фунта в день на человека — это самое меньшее, что им нужно, чтобы тронуться в путь. Значит, четыреста фунтов в день, а со стариками и детьми мы сможем доставить их в Муклук не раньше чем через шесть дней. Ну, что же вы решили?

— Устроим сбор и купим продовольствие, — сказал игрок в кости.

— Продовольствие я беру на себя, — нетерпеливо начал Смок.

— Нет, — перебил его тот. — Мы все пойдем в долю. Давайте сюда таз. Мы справимся в минуту. Вот вам почин.

Он вытащил из кармана тяжелый мешок с золотом, развязал его и направил в подставленный таз струю неочищенного песку и самородков. Стоявший рядом с ним мужчина с проклятием отпихнул его и поднял кверху отверстие мешка — золотой поток прекратился. Около шести-восьми унций успело перейти в таз.

— Не хвалитесь! — крикнул он. — Не у вас одного есть золото. Пустите-ка и меня!

— Хо! — фыркнул игрок в кости. — Можно подумать, что тут гонятся за заявкой, — уж больно вы разгорячились.

Толпа сгрудилась: каждый хотел участвовать в сборе, и когда, наконец, все внесли свою долю, Смок приподнял тяжелый таз обеими руками и ухмыльнулся.

— Хватит на прокорм всего племени до самой весны, — сказал он. — Теперь о собаках. Нужно пять легких упряжек с хорошим ходом.

Немедленно была предложена дюжина запряжек; тут же был выбран комитет, который приступил к обсуждению их достоинств. Как только выбор падал на какую-либо упряжку, владелец ее с полудюжиной подручных отправлялся запрягать, чтобы быть наготове и пуститься в путь по первому сигналу.

Одна упряжка была забракована, потому что только накануне прибыла из утомительного путешествия. Один из присутствующих предложил свою, но со сконфуженным видом показал на свою забинтованную щиколотку, не позволявшую ему принять участие в походе. Его упряжку взял Смок, не обращая внимания на протестующие крики, что он слишком утомлен и должен остаться.

Долговязый Билл заявил, что хотя запряжка у Толстого Олсена отличная, но сам Олсен — настоящий слон. Двести сорок фунтов человеколюбия Толстого Олсена вознегодовали. Слезы гнева выступили у него на глазах, и поток его красноречия прекратился только тогда, когда его зачислили в тяжелый отряд. Игрок в кости воспользовался случаем и перехватил легкую упряжку Олсена.

Наконец пять упряжек были выбраны, и их начали нагружать. Но пока только четыре погон-

щика удовлетворяли требованиям комитета.

— А Калтус Джордж? — крикнул кто-то. — Он пожирает пространство, как никто другой, да и силы у него свежие.

Все взоры устремились на индейца. Но тот молчал, и лицо его было по-прежнему бесстрастно.

— Возьмете упряжку? — обратился к нему Смок.

Но рослый индеец не отвечал. Словно электрический ток пробежал по толпе; все почувствовали, что ожидается нечто непредвиденное. Люди заволновались, и вскоре вокруг Смока и Калтуса Джорджа, стоявших друг против друга, образовалось кольцо встревоженных зрителей. Смок понял, что с общего согласия он выступает в роли представителя своих товарищей в том, что совершалось, и в том, что должно было совершиться. Он был зол. Он не понимал, как может найтись хоть одно живое существо, не увлеченное общим порывом и отказывающееся принять участие в задуманном деле. Ему и в голову не приходило, что индеец отказывается по причине, не имеющей ничего общего с корыстолюбием и эгоизмом.

— Вы, конечно, возьмете упряжку? — повторил Смок.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Лица золотоискателей исказились, и страшный рев разнесся по комнате.

— Постойте, ребята! — крикнул Смок. — Может, он не понимает. Дайте-ка я объясню ему. Слушайте, Джордж. Разве вы не видите, что тут никто никого не нанимает? Мы отдаем все, что у нас есть, чтобы спасти двести индейцев от голодной смерти.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

— Да постойте же, ребята! Слушайте, Джордж. Мы хотим, чтобы вы нас поняли. Голодают ваши же сородичи. Они из другого племени, но они тоже индейцы. Вы видите, что делают белые люди? Они отдают свой песок, своих собак, свои сани, наперебой предлагают свои услуги, просят взять их с собой. С первыми санями могут ехать только избранные. Посмотрите на Толстого Олсена. Он готов был полезть в драку, когда ему не позволили ехать. Вы должны гордиться тем, что вас считают первоклассным гонщиком. Тут дело не в «сколько», а в «как скоро».

— Сколько? — еще раз сказал Калтус Джордж.

— Убить его! — Прошибить ему череп! — Дегтя и перьев! — слышалось в сплошной кутерьме, поднявшейся вслед за его словами. Дух чело-

веколюбия и товарищеской спайки мгновенно превратился в дикое исступление.

А в центре урагана неподвижно стоял Калтус Джордж. Смок отпихнул самого яростного из золотоискателей и крикнул:

— Стойте! К чему кричать? — Крики стихли. — Принесите веревку, — спокойно закончил он.

Калтус Джордж пожал плечами; мрачная, недоверчивая усмешка исказила его лицо. Он знал белых. Достаточно долго путешествовал он с ними, достаточно много бобов, сала и муки съел с ними, чтобы не знать их. Они поклонялись закону. Он прекрасно знал это. Они наказывали человека, нарушающего закон. Но он не нарушил закона. Он знал их законы. Он жил по ним. Он никого не убил, ничего не украл и не солгал. Закон белых людей не запрещал запрашивать цену и торговаться. Они все запрашивали цену и торговались. А он ничего другого не сделал, этому они сами научили его. И кроме того, если он не был достоин пить с ними, то он, конечно, не был достоин заниматься вместе с ними и благотворительностью и принимать участие в прочих их нелепых развлечениях.

Принесли веревку. Долговязый Билл Хаскел, Толстый Олсен и игрок в кости очень неловко,

дрожащими от гнева руками накинули индейцу на шею петлю и перебросили другой конец веревки через перекладину под потолком. Человек двенадцать зашли на другую сторону и стали сзади, готовясь тянуть.

Калтус Джордж не сопротивлялся. Он знал, что это блеф. Насчет блефа белые — мастера. Не покер ли их излюбленная игра? Не блеф ли все их дела — купля, продажа, торговля?

— Стойте! — скомандовал Смок. — Свяжите ему руки. А то он будет цепляться.

«Опять блеф», — решил Калтус Джордж и безропотно позволил связать себе руки за спиной.

— Ваш последний шанс, Джордж, — сказал Смок. — Берете вы упряжку?

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Удивляясь самому себе, своей способности совершить подобную вещь, в то же время возмущенный чудовищным корыстолюбием индейца, Смок подал знак. Не менее изумлен был и Калтус Джордж, когда почувствовал, что петля у него на шее затягивается и отрывает его от пола. В то же мгновение его упорство было сломлено. По его лицу пробежала быстрая смена переживаний — удивления, испуга и боли.

Смок с тревогой следил за ним. Сам он никогда

не подвергался повешению, а потому чувствовал себя новичком в этом деле. Тело индейца судорожно корчилось, руки силились разорвать путы, из горла вырывались хрипы. Смок поднял руку.

— Отпустите! — приказал он.

Те, что тянули веревку, были, по-видимому, недовольны краткостью экзекуции — они заворчали, но все же опустили Калтуса Джорджа на пол. Глаза у него вылезли из орбит, ноги подкашивались, он шатался из стороны в сторону и все еще судорожно шевелил руками. Смок понял, в чем дело; резким движением просунул он палец между веревкой и шеей индейца и, рванув веревку, ослабил петлю. Калтус Джордж вздохнул полной грудью.

— Возьмете упряжку? — спросил Смок.

Калтус Джордж ничего не ответил. Он был занят: он дышал.

— Да, мы, белые, свиньи, — заговорил Смок, проклиная роль, которую ему пришлось играть. — Мы готовы душу продать за золото и тому подобное. Но приходит и такая минута, когда мы забываем о золоте, обо всем другом и делаем нечто, не помышляя о том, сколько мы заработаем. И когда мы делаем это, берегитесь, Калтус Джордж. Так! А теперь мы желаем знать:

возьмете вы упряжку или нет?

Калтус Джордж боролся с собой. Он не был трусом. Быть может, блеф как раз достиг предела и сдаваться было глупо. А в то время как он боролся с собой, Смока грыз тайный страх, что этот упрямый индеец во что бы то ни стало захочет быть повешенным.

— Сколько? — сказал Калтус Джордж.

Смок поднял было руку.

— Иду, — быстро сказал Калтус Джордж, прежде чем петля успела затянуться.

V

— Когда спасательная экспедиция нашла меня, — рассказывал Малыш в «Энни-Майн», — этот самый индейский идол Калтус Джордж явился первым, побив Смока на три часа. А вы не забывайте, что Смок пришел вторым. Так вот, когда я услышал, что Калтус Джордж орет с верхушки холма на своих псов, это было как раз вовремя, потому что эти чертовы сиваши слопали мои мокасины, рукавицы, кожаные ремни, футляр от ножа, а некоторые из них уже начали поглядывать на меня эдакими голодными глазами, — я, знаете ли, был чуть пожирнее их.

А Смок? Ну, он был, как покойник. Он начал

помогать мне стряпать обед для двухсот страждущих сивашей, да так и заснул на корточках у ведра, в которое накладывал снег. Я разостлал свой спальный мешок, и пусть меня повесят, если мне не пришлось укладывать его, как ребенка, — до того он измаялся. Да, а зубочистки-то я выиграл. Разве псам не пришлись кстати те шесть рыбин, что Смок скормил им за обедом?

Ошибка мироздания

I

— Хо! — прикрикнул Смок на собак, откидываясь всем телом на шест, чтобы остановить сани.

— Ну, что случилось? — пробурчал Малыш. — Вода подо льдом, что ли?

— Вода не вода, а ты взгляни на эту тропу направо, — ответил Смок. — Я-то думал, что в этих местах никто не зимует.

Остановившись, собаки легли в снег и начали выгрызать кусочки льда, застрявшие у них между пальцами. Пять минут назад лед этот был водой. Животные провалились сквозь пленку запорошенного снегом льда, затянувшего весеннюю воду, которая просочилась с берега и выступила на поверхности трехфутовой ледяной коры, сковывавшей реку Нордбеска.

— Первый раз слышу, что в верховьях Нордбески есть люди, — сказал Малыш, уставившись на еле видный под двухфутовой снеговой пеленой след, который пересекал русло реки и терялся в устье небольшого ручья, впадавшего в нее с левой стороны. — Может, тут проходили охотники

со своей добычей?

Смок разбросал руками, не снимая рукавиц, легкий снег, остановился, подумал, посмотрел, снова принялся за очистку следа и снова остановился.

— Нет, — решительно произнес он. — Тут ходили вверх и вниз по ручью, но последний раз определенно вверх. Эти люди, кто бы они ни были, и сейчас еще находятся здесь, вблизи, но по тропе уже несколько недель никто не проходил. Но что их тут держит? Вот что я хотел бы знать.

— А я бы хотел знать, где мы сегодня будем ночевать, — сказал Малыш, с тоской глядя на юго-запад, где вечерние сумерки постепенно начинали сгущаться в ночь.

— Давай поднимемся вверх по ручью, по этому следу, — предложил Смок. — Там много хворосту. Мы можем сделать привал.

— Привал, конечно, сделать можно, но если мы не хотим умереть с голоду, то должны идти, насколько хватит сил, скорее и не сбиваться в сторону.

— Мы найдем что-нибудь на этом ручье, — настаивал Смок.

— Но посмотри на наши запасы! Посмотри на собак! — воскликнул Малыш. — Посмотри на…

Ну, да ладно, к черту! Все равно ты сделаешь по-своему.

— Мы и дня на этом не потеряем, — сказал Смок. — Пройдем лишнюю милю, не больше.

— Люди погибали и из-за одной мили, — возразил Малыш, с мрачным и покорным видом качая головой. — Ну что ж, поедем искать беды. Вставайте вы, бедняги колченогие, — ну, вставайте! Хо! Брайт! Хо!

Вожак повиновался, и вся упряжка лениво поплелась по рыхлому снегу.

— Стой! — крикнул Малыш. — Надо утоптать дорогу.

Смок достал из саней лыжи, прикрепил их к своим мокасинам и вышел вперед, чтобы расчистить и утоптать собакам путь.

Работа была не из легких. И люди и собаки уже много дней были на голодном пайке, а потому запас энергии у них был не велик. Шли они по руслу реки, но русло было так круто, что они с величайшим трудом преодолевали подъем, точно карабкались на высокую гору. Скоро высокие прибрежные скалы сдвинулись до такой степени, что путники оказались как бы на дне узкой котловины, в которой благодаря высоким отвесным утесам царил полумрак.

— Настоящая ловушка, — сказал Малыш. — Все вместе очень гнусно. Тут что-то неладно. Наверняка наживем беду.

Смок ничего не ответил, и в течение получаса они прокладывали себе путь в полном молчании. Наконец Малыш не вытерпел:

— Ну и дела! Сплошная мерзость! И если ты хочешь выслушать меня, я скажу тебе, что из всего этого получится.

— Говори, — сказал Смок.

— Так вот, мое предчувствие подсказывает мне, что мы не выберемся из этой дыры много-много дней. Мы наживем себе беду и надолго застрянем здесь.

— Ну, а что говорит предчувствие насчет еды? — мрачно спросил Смок. — Ведь продовольствия-то у нас припасено значительно меньше, чем на «много-много дней».

— Насчет продовольствия не знаю. Думаю, что обойдемся. Но одно я скажу тебе, Смок, прямо и открыто: я съем любую собаку из нашей упряжки, кроме Брайта. На Брайте я остановлюсь.

— Не вешай носа, — ухмыльнулся Смок. — Мне везет, и мое счастье работает и сверхурочно. Собак есть не придется — я в этом уверен. Будут ли это олени, или лоси, или жареные перепела, но

только мы даже разжиреем.

Малыш фыркнул, не скрывая негодования. И еще на четверть часа воцарилось молчание.

— Ну вот, кажется, начинаются неприятности, — заметил Смок, останавливаясь и пристально вглядываясь в какой-то предмет, лежащий в стороне от заметенного снегом следа.

Малыш оставил шест, присоединился к Смоку, и через минуту оба с недоумением смотрели на человеческое тело, лежащее около тропинки.

— Упитанный, — промолвил Смок.

— Посмотри на его губы, — сказал Малыш.

— Тверд, как кочерга, — сказал Смок. Он поднял руку трупа — та не согнулась и потащила за собой все тело.

— Если потрясти его, он рассыплется на кусочки, — заметил Малыш. Окоченелый труп лежал на боку. Так как он не был засыпан снегом, то, видимо, лежит он тут недолго.

— Сильный снег шел три дня тому назад, — прибавил Малыш.

Смок кивнул, склонился над трупом и, перевернув его лицом кверху, указал на огнестрельную рану в виске. Потом посмотрел по сторонам и кивнул в сторону валявшегося в снегу револьвера.

Пройдя сто ярдов, они наткнулись на второй

труп, лежащий ничком на дороге.

— Две вещи ясны для меня, — сказал Смок. — Оба покойника — толстые. Значит, голода не было. А в то же время им сильно не повезло, иначе они бы не покончили с собой.

— Если только они покончили с собой, — заметил Малыш.

— В этом я не сомневаюсь. Тут нет ничьих следов, кроме их собственных, и притом оба обожжены порохом. — Смок оттащил труп в сторону и носком мокасина вырыл из снега револьвер, вдавленный в него тяжестью тела. — Вот чье это дело! Говорил я тебе, что мы найдем что-нибудь!

— Пока что мы еще не много узнали. И с чего это два таких жирных молодца покончили с собой?

— Знай мы это, для нас было бы ясно и все остальное, — ответил Смок. — Едем дальше, смеркается.

Было уже совсем темно, когда Смок задел лыжами еще один труп и тотчас же упал поперек саней, на которых лежал второй. Вытряхнув снег из-за ворота, он зажег спичку, и они увидели третий труп, завернутый в одеяло и лежавший на краю наполовину вырытой могилы. Прежде чем спичка погасла, они увидели еще с полдюжины могил.

— Бррр! — содрогнулся Малыш. — Лагерь самоубийц. И каких упитанных! По-моему, тут все до одного перемерли.

— Нет, взгляни-ка вон туда. — Смок показал на мерцающий вдали огонек. — А вон еще один и еще. Идем! Да поскорее!

Больше трупов не было, и через несколько минут они добрались по хорошо утоптанной дороге до лагеря.

— Да это прямо поселок, — прошептал Малыш. — Тут не меньше двадцати хижин. И ни одной собаки. Странно!

— В этом-то и разгадка, — возбужденным шепотом ответил Смок. — Это экспедиция Лоры Сибли. Помнишь, они прошлой осенью поднялись вверх по Юкону на «Порт-Таунсенде». Они прошли мимо Доусона без остановки. Пароход высадил их, по-видимому, у ручья.

— Вспоминаю. Это были мормоны.

— Нет, вегетарианцы! — Смок усмехнулся в темноте. — Они не едят мяса и не ездят на собаках.

— Что мормоны, что вегетарианцы — все едино. А на золото и их потянуло. Лора Сибли обещала доставить их прямехонько на то место, где все до одного станут миллионерами.

— Верно. Она у них ясновидящая, у нее были

разные видения и все такое. А я думал, что они поднялись по Норденсджолду.

— Ой! Послушай-ка!

Малыш испуганным жестом схватил Смока за руку, и оба стали прислушиваться к хриплому, протяжному стону, доносившемуся из какой-то хижины. Едва он стал затихать, как его подхватили в другой, потом третьей, — этот вопль производил чудовищное, кошмарное впечатление.

— Бррр! — содрогнулся Малыш. — Меня положительно воротит от этого воя. Зайдем, посмотрим, в чем тут дело.

Смок постучался в дверь первой освещенной хижины. Услышав голос со стоном «Войдите», они шагнули с Малышом через порог. Это была простая бревенчатая хижина со стенами, законопаченными мхом, и земляным полом, посыпанным опилками и стружками. Свет керосиновой лампы позволил им разглядеть четыре койки; три из них были заняты людьми, которые перестали стонать и уставились на вошедших.

— Что с вами? — обратился Смок к одному из них, забившемуся под одеяло, которое не могло скрыть его широких плеч и мощной мускулатуры, странно противоречивших измученному

выражению глаз и впавшим щекам. — Оспа, что ли?

В ответ человек показал на свой рот и с трудом разжал черные, распухшие губы. Смок невольно отшатнулся.

— Цинга, — шепнул он Малышу. Человек на койке кивком подтвердил этот диагноз.

— Еды много? — спросил Малыш.

— Да, — раздался голос с другой койки. — Угощайтесь! Еды сколько угодно. В хижине напротив никого нет. Склад дальше, все прямо. Ступайте туда.

II

Во всех хижинах, в которых Смок и Малыш побывали за ночь, они увидели то же самое. Цинга поразила весь лагерь. В экспедиции принимали участие двенадцать женщин, но Смоку и Малышу удалось увидеть только некоторых из них. В лагере сначала было всего девяносто три человека — мужчин и женщин. Десять из них умерли, а двое недавно исчезли. Смок сообщил о своей находке и выразил изумление по поводу того, что никто из участников экспедиции не потрудился пройти это ничтожное расстояние и найти их. Больше всего его и Малыша поразила беспомощ-

ность этих людей. Их хижины были загажены до последней степени. На грубо сколоченных столах стояли немытые тарелки. Никто не помогал друг другу. Все невзгоды одной какой-нибудь хижины касались только ее обитателей. Они даже перестали хоронить покойников.

— Прямо гнусность, — сказал Смок Малышу. — Видел я лодырей и бродяг, но никогда не встречал их сразу в таком количестве. Ты слышал, что они говорят? Они за все время ни разу и пальцем не шевельнули. Держу пари, что они ни разу даже не помылись. Неудивительно, что они схватили цингу.

— Но ведь вегетарианцы как будто не подвержены заболеванию цингой, — заметил Малыш. — Говорят, только питающиеся соленым мясом заболевают ею. А они не едят мяса — ни соленого, ни свежего, ни сырого, ни вареного — словом, никакого.

Смок покачал головой.

— Знаю. Цингу именно и лечат вегетарианской диетой. Никакие другие лекарства не помогают. Овощи, особенно картофель, — вот единственное противоядие. Но не забывай одного, Малыш, мы имеем дело не с теорией, а с жизнью. Факт налицо — эти травоядные схватили цингу.

— Должно быть, заразная штука?

— Нет, это доктора твердо знают. Микробов цинги нет. Ею нельзя заразиться. Насколько я понимаю, она вызывается изменением состава крови. Дело не в том, что они ели, а в том, чего они не ели. Человек заболевает цингой от недостатка какого-то химического вещества в крови, и вещество это добывается не из порошков и микстур, а из овощей.

— Но ведь эти люди ничего не едят, кроме зелени, — пробурчал Малыш. — А травы-то у них по уши. Стало быть, ты ошибаешься, Смок. Ты строишь теории, а жизнь начисто опровергает их. Цинга заразна, и они схватили ее все до одного, и притом основательно. И мы с тобой тоже схватим ее, если застрянем здесь. Бррр! Я положительно чувствую, как эта дрянь заползает в меня.

Смок скептически рассмеялся и постучал в дверь следующей хижины.

— По-моему, тут та же история, — сказал он. — Зайдем. Надо все выяснить.

— Что вам надо? — послышался резкий женский голос.

— Видеть вас, — ответил Смок.

— Кто вы такие?

— Два врача из Доусона, — не задумываясь

выпалил Малыш, за что и был наказан сильным толчком в бок, нанесенным ему локтем Смока.

— Нам не нужны врачи, — заявила женщина прерывистым голосом, в котором слышались боль и раздражение. — Идите себе своей дорогой. Спокойной ночи. Мы не верим врачам.

Смок сбил засов, распахнул дверь и, войдя, поднял фитиль в тусклой керосиновой лампе, чтобы лучше видеть. Четыре женщины, лежавшие на четырех койках, перестали стонать и уставились на вошедшего. Две из них были молодые, с тонкими чертами лица; третья — пожилая и очень полная. А четвертая — та, что, по-видимому, говорила со Смоком, была самым худым и хрупким образцом человеческой породы, какой ему когда-либо приходилось видеть. Он тотчас же сообразил, что это и есть Лора Сибли, пророчица и ясновидящая, организовавшая экспедицию в Лос-Анджелесе и приведшая ее в этот лагерь смерти, на Нордбеску. Явно неприязненно отвечала она на расспросы Смока. Лора Сибли не верила в медицину. В дополнение ко всем ее мукам она почти перестала верить и в самое себя.

— Почему вы не послали за помощью? — поинтересовался Смок, когда она замолчала, утомленная своей первой тирадой. — На реке

Стюарт есть лагерь. А до Доусона всего восемнадцать дней пути.

— А Эймос Уэнтворт почему не пошел? — спросила она с яростью, граничившей с истерикой.

— Я не знаю этого джентльмена, — ответил Смок. — А чем он занимается?

— Ничем. Но он один не схватил цинги. А почему не заболел? Я скажу вам. Нет, не скажу… — Она сжала губы, такие тонкие и прозрачные, что Смоку показалось, будто он видит за ними зубы и десны. — Да и пойди он даже, какой был бы толк? Я-то ведь знаю. Я не дура. Наши склады набиты фруктовым вареньем и консервами из овощей. Мы защищены от цинги лучше любого лагеря в Аляске. Нет таких консервированных овощей, нет таких фруктов, которых бы у нас не было, и притом в громадном количестве.

— Вот ты и попался, Смок, — возликовал Малыш. — Вот тебе факты, а не теория. Ты говоришь — лечение овощами. Овощи налицо, а где лечение?

— Сам ничего не понимаю, — признался Смок. — А между тем во всей Аляске не найти подобного лагеря. Я видел цингу, сколько угодно отдельных случаев; но мне в жизни не приходилось видеть, чтобы целый лагерь болел ею, и

притом в такой тяжелой форме. Так или иначе, мы должны помочь этим людям всем, чем можем. Но сперва нам надо устроиться и позаботиться о собаках. Утром увидимся, э-э… миссис Сибли.

— Мисс Сибли, — отрезала она. — И вот что, молодой человек. Если вы вздумаете соваться к нам в хижину с какими-нибудь лекарскими снадобьями, я накормлю вас дробью.

— Приятная дамочка — эта божественная прорицательница, — рассмеялся Смок, пробираясь вместе с Малышом в темноте к пустой хижине, рядом с той, которую они посетили первой.

Вероятно, в ней еще недавно жили два человека — быть может, те самые самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они перерыли склад и нашли баснословное количество всевозможных продуктов в консервированном, сушеном, печеном, сгущенном и стерилизованном виде.

— И как это им только вздумалось болеть цингой? — спрашивал Малыш, тыча пальцем в пакеты с яичным порошком и сухими грибами. — Взгляни-ка сюда! А вот это! — Он вытащил несколько жестянок с томатами, с различной крупой, банки с оливками. — И божественная следопытка тоже подхватила цингу. Что ты на это скажешь?

— Психопатка, а не следопытка, — поправил Смок.

— Следопытка, — повторил Малыш, — разве не привела она сюда, в этот ад, всю свою экспедицию? Она же нашла путь сюда.

III

Встав на следующее утро с рассветом, Смок встретил человека, тащившего нагруженные дровами сани. То был маленький, чистенький, подвижный человек, двигавшийся очень быстро, несмотря на тяжелый груз. Смок сразу же почувствовал к нему антипатию.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил человек.

— Я знаю, что ничего, — сказал Смок. — Потому-то я и спрашиваю. Вы — Эймос Уэнтворт. Почему, скажите на милость, вы единственный не заболели цингой?

— Потому что я работал, — последовал быстрый ответ. — Никто из них не заболел бы цингой, если бы они дышали свежим воздухом и хоть чем-нибудь занимались. А они что делали? Ворчали, жаловались на холод и долгие ночи, тяжелую работу, болезни и вообще на все на свете. Они валялись на кроватях до тех пор, пока не распухли

так, что теперь уж и встать не могут. Вот вам и все. Посмотрите на меня. Я работал. Идемте ко мне в хижину.

Смок последовал за ним.

— А ну, посмотрите. Чистенько, а? Попробуйте подкопаться. Как стеклышко! Если бы я не боялся упустить тепло, я бы не держал на полу этих опилок и стружек, но зато уж они чистые, будьте уверены. А вы бы посмотрели на полы в их берлогах! Хлев, да и только! А я ни разу не ел с немытой тарелки. Нет-с, сударь! Работать надо было, и я работал — и у меня нет цинги. Вот вам и вся премудрость, зарубите это себе на носу.

— Да, можно сказать, вы попали в точку, — подтвердил Смок. — Но я вижу только одну койку. Отчего такая необщительность?

— Так мне больше нравится. Легче прибирать за одним, чем за двумя, — вот и все. Лентяи и лодыри! Неудивительно, что у них началась цинга.

Все, что он говорил, было вполне резонно, и все-таки Смок не мог отделаться от чувства неприязни к этому человеку.

— А что против вас имеет Лора Сибли? — внезапно спросил он.

Эймос Уэнтворт быстро взглянул на него.

— Она помешанная, — ответил он. — Впрочем,

мы все помешанные. Но да избавит меня Небо от помешанных, которые не хотят мыть тарелки и едят на грязных. А такова вся эта банда.

Несколько минут спустя Смок беседовал с Лорой Сибли, которая с помощью двух палок умудрилась доползти до его хижины.

— Почему вы сердиты на Уэнтворта? — спросил он, неожиданно переменив тему разговора. Вопрос этот застал ее врасплох.

Ярость вспыхнула в ее зеленых глазах, исхудалое лицо на мгновение исказилось, а искусанные губы дрогнули, словно она собиралась заговорить. Но только какое-то невнятное бормотание, какое-то всхлипывание сорвалось с ее губ; чудовищным усилием воли она сдержалась.

— Потому что он здоров, — прохрипела она. — Потому что у него нет цинги. Потому что он эгоистичен до последней степени. Потому что он пальцем не пошевелит, чтобы помочь кому-нибудь, и спокойно даст нам сгнить и умереть. Он это делает и сейчас. Ему и в голову не придет принести нам ведро воды или вязанку дров. Вот какой это зверь! Но пусть он будет осторожен! Вот и все. Пусть будет осторожен!

Все еще задыхаясь и всхлипывая, она заковыляла обратно, а когда пятью минутами позже Смок

вышел из хижины покормить собак, он увидел, что она входит в хижину Эймоса Уэнтворта.

— Здесь что-то неладно, Малыш, что-то неладно, — многозначительно качая головой, сказал он своему товарищу, когда тот появился на пороге с помойным ведром в руках.

— Верно! — весело откликнулся Малыш. — И мы с тобой оба схватим эту штуку. Вот увидишь.

— Да я не о цинге говорю.

— А, так ты о божественной следопытке? Настоящий скелет. В жизни не видал я такой тощей женщины.

IV

— Работа сохранила нам с тобой здоровье, Малыш. Она сохранила здоровье Уэнтворту. А ты видел, во что превратило безделье остальных? Стало быть, мы должны прописать этим больным клячам работу. Назначаю тебя старшей сестрой.

— Кого? Меня? — крикнул Малыш. — Отказываюсь!

— Нет, ты не откажешься. Я буду тебе хорошим помощником, потому что нам предстоит нелегкое дело. Мы должны заставить их попотеть. Первым делом они похоронят покойников. Самых крепких — в похоронную команду. Тех, что чуть

послабее, пошлем за дровами — они валяются на койках, чтобы сэкономить топливо, и так далее, по состоянию здоровья. А потом — хвойный чай. Они, вероятно, и не слыхали о нем.

— Ну, кончено наше дело, — осклабился Малыш. — Не успеем мы и рта раскрыть, как в нас всадят хороший заряд свинца.

— С этого-то мы и начнем, — сказал Смок. — Идем!

За час они обошли все двадцать с лишком хижин. Все патроны, все винтовки, ружья и револьверы были конфискованы.

— Эй вы, калеки! — приговаривал Малыш. — Давайте сюда ваши самострелы! Они нам нужны.

— Кто это говорит? — осведомились в первой хижине.

— Врачи из Доусона, — ответил Малыш. — Наше слово — закон. Ну, живо! И патроны тоже давайте.

— Зачем они вам?

— Чтобы отбить вооруженный отряд мясных консервов, наступающий со стороны ущелья. Кстати, заблаговременно предупреждаю вас о предстоящем вторжении соснового чая. Пошли дальше!

Это было только начало. Уговорами, угрозами,

а подчас и просто силой Смок и Малыш согнали всех мужчин с коек и заставили их одеться. Смок отобрал самых крепких и сформировал из них похоронную команду. Другой команде было предписано набрать хворосту, чтобы в промерзшей земле можно было выкопать могилы. Еще одна команда получила задание заготовить топливо и аккуратно снабжать им отдельные хижины. Тем, кому состояние здоровья не позволяло работать на воздухе, было предложено прибрать в своих хижинах и выстирать белье. Одна команда заготовила множество сосновых веток, и все печи были заняты под варку хвойного чая.

Но как Смок и Малыш ни бодрились, положение было, в сущности, чрезвычайно серьезное. По меньшей мере тридцать совершенно безнадежных больных никак не удавалось поднять с постели, — Смок и Малыш с отвращением и ужасом это констатировали. В хижине Лоры Сибли умерла женщина. Требовались решительные меры.

— Я не любитель избивать больных, — говорил Малыш, угрожающе стискивая кулаки. — Но если это принесет пользу, то я способен размозжить им черепа. И в чем вы все нуждаетесь, проклятые лодыри, так это в основательной взбучке! Ну, вы-

лезайте и напяливайте вашу сбрую! Да поживей, а не-то я прогуляюсь по вашим физиономиям!

Больные роптали, вздыхали и ныли: слезы струились и замерзали у них на щеках во время работы.

Когда к полудню работники вернулись, их уже ожидал вкусный обед, состряпанный наиболее слабыми обитателями хижин под наблюдением и из-под палки Смока и Малыша.

— Будет, — сказал Смок в три часа дня. — Отчаливайте! Марш по койкам! Может, вы и чувствуете себя теперь погано, но это ничего — завтра будет лучше. Лечение — вещь неприятная, но я вас вылечу.

— Слишком поздно, — ухмылялся Эймос Уэнтворт, наблюдая за усилиями Смока. — За них надо было приняться прошлой осенью.

— А ну-ка, пойдемте со мной, — ответил Смок. — Берите эти два ведра. Вы ведь не больны.

Они начали втроем ходить из хижины в хижину и вливали в каждого мужчину и в каждую женщину по пинте хвойного чая. Это оказалось нелегким делом.

— Вам бы следовало заметить с самого начала, что мы сюда пришли не шутки шутить, — заявил Смок первому же больному, пытавшемуся

воспротивиться и стонавшему сквозь стиснутые зубы. — Подсоби-ка, Малыш. — Смок схватил одной рукой пациента за нос, а другой стукнул его под ложечкой так, что у него немедленно открылся рот.

— Ну, Малыш! Пошло!

И действительно пошло — под аккомпанемент воплей, плевков и фырканья.

— В следующий раз будет легче, — утешил Смок жертву, принимаясь за очередной нос.

— Я бы охотнее выпил касторки, — по секрету признался Малыш, готовясь проглотить собственную порцию. — Великий Мафусаил! — заявил он во всеуслышание и в назидание слушателям, проглотив горькое пойло. — Всего-то одна пинта, а крепости в ней на целую бочку!

— Мы совершаем обход с хвойным чаем четыре раза в день и каждый раз поим восемьдесят человек, — заявил Смок Лоре Сибли. — Так что вам от нас не спрятаться. Будете вы пить, или мне придется взять вас за нос? — Его большой и указательный пальцы красноречиво повисли над ее лицом. — Это штука растительная, так что угрызений совести у вас не будет.

— Угрызений совести? — фыркнул Малыш. — Вот еще! Из-за такой-то прелести?

Лора Сибли колебалась.

— Ну? — решительно спросил Смок.

— Я… я… выпью, — сказала она дрожащим голосом. — Только поскорей.

Вечером Смок и Малыш растянулись на своих койках разбитые, как после долгой и утомительной дороги.

— Я чувствую себя совершенно больным, — признался Смок. — Они ужасно страдают. Но работа — это единственное средство, которое я мог придумать. И надо испробовать его до конца. Вот если бы хоть один мешок сырого картофеля…

— Спаркинс больше не может мыть посуду, — сказал Малыш. — Его корчит от боли. Он был так слаб, что мне пришлось уложить его обратно в постель.

— Эх, если б у нас был сырой картофель! — опять начал Смок. — В этой консервированной дребедени не хватает чего-то существенного, чего-то главного. Из нее выпарена вся жизнь.

— И еще я готов держать пари, что парнишка Джонс из хижины Браунлоу не дотянет до утра.

— Да перестань! Не скули ты! — взмолился Смок.

— Ведь нам же придется хоронить его, а? —

послышалось негодующее фырканье. — Я тебе говорю, этот мальчишка совсем плох.

— Замолчи! — сказал Смок.

С соседней койки раздалось еще более негодующее фырканье, сменившееся скоро храпом, — Малыш заснул.

V

Утром не только Джонс был мертв. Повесился один из самых крепких мужчин, работавший в топливной команде. Потянулась вереница кошмарных дней. Целую неделю Смок, напрягая все силы, заставлял своих пациентов работать и пить хвойный чай. И все же ему приходилось освобождать их от работы то по одному, то по двое, а то и по трое. Он понял, что работа для больных цингой — плохое лекарство. Похоронная команда таяла с каждым днем, но работала не покладая рук — на всякий случай было заготовлено около полудюжины могил.

— Худшего места для лагеря вы не могли найти? — спросил Смок Лору Сибли. — Посмотрите, как он расположен! На дне узкой котловины, выходящей на запад и восток. Даже в полдень солнце не поднимается выше скал. У вас, наверное, несколько месяцев не было солнца.

— Откуда я могла это знать?

Он пожал плечами.

— Вы должны были знать! Сумели же вы увести за собой сотню сумасшедших на золотые россыпи.

Она злобно посмотрела на него и заковыляла прочь. Возвращаясь через несколько минут после посещения команды, с оханьем и стонами собиравшей сосновые ветки, Смок увидел, что «прорицательница» входит в хижину Эймоса Уэнтворта, и последовал за нею. Подойдя к двери, он услышал ее стонущий и умоляющий голос.

— Только мне одной! — клянчила она в тот момент, когда он вошел в хижину. — Я никому не скажу.

Оба испуганно и виновато посмотрели на вошедшего. Смок почувствовал, что наскочил на какую-то тайну — на какую именно, он не мог понять, и проклинал себя за то, что не догадался подслушать у двери.

— Выкладывайте! — резко скомандовал он.

— Что «выкладывайте»? — мрачно переспросил Эймос Уэнтворт.

А что «выкладывать», Смок-то и не мог объяснить.

VI

Положение становилось все страшней и страшней. В темной дыре ущелья, куда не проникало солнце, жуткий список покойников все увеличивался. Изо дня в день Смок и Малыш с дрожью в сердце осматривали друг другу рты и искали первых признаков болезни — белого налета на деснах и на слизистой оболочке.

— С меня довольно, — возвестил Малыш в один прекрасный вечер. — Я как следует поразмыслил и решил, что с меня довольно. Надсмотрщиком за рабами я бы еще мог быть, но надсмотрщиком за калеками — это мне не по нутру. Им с каждым днем становится все хуже. Двадцать человек — больше я не могу выгнать на работу. Сегодня вечером я позволил Джексону остаться в постели. Он готов был покончить с собой. Я видел — это ему засело в голову. От работы никакой пользы.

— Я тоже так решил, — ответил Смок. — Мы отпустим всех, за исключением двенадцати человек. А хвойный чай продолжать?

— Никакого толку.

— Я готов согласиться и с этим. Но ведь во всяком случае он и не вредит им.

— Еще самоубийство, — возвестил Малыш на

следующее утро. — На этот раз Филипс. Я уже несколько дней ждал этого.

— Мы работаем впустую, — пробормотал Смок. — А что бы ты предложил, Малыш?

— Кто? Я? У меня нет никаких предложений. Пусть все идет как идет.

— Но ведь это значит, что они все перемрут! — запротестовал Смок.

— Кроме Уэнтворта, — буркнул Малыш, который уже давно разделял антипатию своего товарища к этому человечку.

Необъяснимый иммунитет Уэнтворта ставил Смока в тупик. Каким образом он один из всех избежал цинги? Почему Лора Сибли ненавидит его? И вместе с тем юлит перед ним, что-то выпрашивает? Что? Чего он не хотел дать ей?

Смок неоднократно делал попытки застигнуть Уэнтворта врасплох во время обеда. Единственное, что он заметил подозрительного, — это подозрительное отношение самого Уэнтворта к нему. Тогда он взялся за Лору Сибли.

— Сырой картофель излечил бы всех, — сказал он как-то прорицательнице. — Я знаю. Я видел, как он действует.

По ее глазам, загоревшимся сначала верой, а потом ненавистью, он понял, что напал на вер-

ный след.

— Почему вы не захватили на пароход хоть сколько-нибудь картофеля?

— Был у нас картофель. Но, поднявшись по реке, мы продали его в форте Юкон очень выгодно. У нас осталось много сушеной картошки — мы знали, что сушеная дольше держится.

— И вы весь свежий продали? — спросил Смок.

— Да. Откуда мы могли знать?

— А не осталось ли двух-трех мешков? Не завалились ли они где-нибудь на пароходе случайно?

Она покачала головой, не совсем решительно, как ему показалось.

— А может быть — все-таки где-нибудь? — настаивал он.

— Откуда я знаю? — раздраженно ответила она. — Я не заведовала провиантом.

— Стало быть, им заведовал Эймос Уэнтворт, — тут же догадался Смок. — Очень хорошо. Ну, а как по-вашему — так, между нами? Не думаете ли вы, что у Уэнтворта где-нибудь припрятан сырой картофель?

— Нет, безусловно, нет. Как бы он мог это сделать?

— А может быть?

Она только пожала плечами.

VII

— Уэнтворт — свинья, — был приговор Малыша, когда Смок поделился с ним своими подозрениями.

— И Лора Сибли тоже, — прибавил Смок. — Она убеждена, что у него есть картофель, но скрывает это от других, уговаривая его поделиться с нею.

— А он не дает, а? — Малыш обрушил на человеческую подлость серию изысканнейших проклятий и остановился, чтобы перевести дух.

Вечером, когда в лагере стонали и спали, или стонали и не спали, Смок зашел в неосвещенную хижину Уэнтворта.

— Выслушайте меня, Уэнтворт, — сказал он. — Вот в этом мешке у меня золотого песку на тысячу долларов. Я считаюсь в этой стране богачом и могу себе позволить подобную роскошь. Меня, кажется, тоже начинает пробирать. Суньте мне в руку сырую картофелину — и песок ваш. Получайте!

И Смок вздрогнул, когда Эймос Уэнтворт протянул в темноте руку и схватил золото. Смок услышал, как он рылся под одеялом, и почувствовал, что в руку ему сунули самую настоящую

картофелину.

Смок не стал ждать утра. В лагере было двое безнадежно больных, с минуты на минуту ждали их смерти. Смок и Малыш направились в их хижину. Там они раздавили и растерли в чашке тысячедолларовую картофелину вместе с кожурой и приставшей к ней землей — получилась густая жидкость, и они вливали ее, по нескольку капель на прием, в жуткие черные дыры, бывшие когда-то ртами. Всю долгую ночь они сменяли друг друга, давая больным по каплям картофельный сок.

К вечеру следующего дня в состоянии обоих больных произошла чудесная, просто невероятная перемена. А когда через сорок восемь часов картофельный сок закончился, опасность уже миновала, хотя до полного излечения было еще далеко.

— Слушайте, что я намерен сделать, — сказал Смок Уэнтворту. — У меня есть кое-какое имущество в этой стране, и моя расписка ходит здесь как наличные деньги. Я дам вам по пятьсот долларов за картофелину, на общую сумму до пятидесяти тысяч долларов. Это выходит сто картофелин.

— А золотого песку у вас больше нет? — осведомился Уэнтворт.

— Мы с Малышом наскребли все, что у нас было. Но, говоря откровенно, мы с ним стоим по меньшей мере два миллиона.

— У меня нет картофеля, — сказал наконец Уэнтворт. — Очень бы я хотел, чтобы он у меня был. Та картофелина, что я вам дал, была у меня единственная. Я берег ее всю зиму на тот случай, если схвачу цингу. Я продал ее только для того, чтобы выбраться из этих краев.

Несмотря на отсутствие картофельного сока, оба больные, которых им лечили, продолжали поправляться. Положение же остальных все ухудшалось. На четвертое утро пришлось хоронить три страшных тела. Малыш молча выполнил ужасную работу, которую считал хуже всякой пытки, а потом заявил Смоку:

— До сих пор ты все делал по-своему. Теперь мой черед.

Он ринулся прямо в хижину Уэнтворта. О том, что там происходило, Малыш никогда не распространялся. Когда он вышел оттуда, с его ободранных кулаков сочилась кровь, но зато лицо Уэнтворта долго носило следы основательного избиения, а голова бессильно свисала набок на полупарализованной шее. Последнее находило свое объяснение в черных и синих отпечатках

четырех пальцев на одной стороне его горла и одного сине-черного пятна на другой.

Затем Смок и Малыш вместе вторглись в хижину Уэнтворта и, вышвырнув его в снег, перевернули там все вверх дном. Лора Сибли лихорадочно помогала им искать.

— Вы-то, положим, ничего не получите, старуха, хотя бы мы нашли целую тонну, — успокоил ее Малыш.

Но их постигло не меньшее разочарование, чем прорицательницу. Они ничего не нашли, хоть и разрыли весь пол.

— По-моему, его нужно поджаривать на медленном огне, пока он не заговорит, — предложил Малыш.

Смок неодобрительно покачал головой.

— Это убийство, — продолжал Малыш. — Он убивает этих бедняг так же, как если бы он попросту пробил им черепа.

Прошел еще день, посвященный бдительному наблюдению за каждым движением Уэнтворта. Несколько раз, когда он с ведром в руках направлялся к ручью, они как бы случайно приближались к его хижине, и он каждый раз бежал обратно, не набрав воды.

— Картофель спрятан в хижине, — сказал

Малыш. — Это так же верно, как то, что Уэнтворт — свинья. Но где? Ведь мы же перерыли ее всю. — Он встал и натянул рукавицы. — Я найду картофель, хотя бы мне пришлось снести всю эту лачугу.

Он взглянул на Смока. Смок сидел с застывшим, отсутствующим взглядом и не слушал его.

— Что с тобой? — гневно спросил Малыш. — Только не говори мне, что ты схватил цингу!

— Стараюсь вспомнить что-то.

— Что?

— Не знаю. В том-то и беда. Во всяком случае, что-то важное… Если бы только вспомнить!

— Слушай, Смок, не раскисай, пожалуйста, — взмолился Малыш. — Подумай обо мне. Плюнь ты на свои размышления. Идем, помоги мне свернуть эту лачугу. Я бы поджег ее, если бы не боялся изжарить нашу картошку.

— Есть! — взревел Смок, вскакивая на ноги. — Как раз это я и старался вспомнить. Где жестянка с керосином? Я с тобой, Малыш! Картофель наш!

— Что я должен делать?

— Смотреть, что буду делать я, больше ничего, — самодовольно усмехнулся Смок.

Через несколько минут, при слабом зеленоватом мерцании северного сияния, приятели

крались к хижине Эймоса Уэнтворта. Осторожно и бесшумно облили они керосином балки, обратив особое внимание на дверную и оконную рамы. Потом чиркнули спичкой и стали наблюдать, как разгорается пламя.

Они увидели, как Уэнтворт выскочил из хижины, дико уставился на пламя и нырнул обратно.

Не прошло и минуты, как он появился вновь, — на этот раз медленно, согнувшись пополам под тяжестью мешка, вид которого не оставлял сомнений относительно своего содержимого. Как два голодных волка, кинулись на него Смок и Малыш. Слева и справа обрушились на него два удара. Он упал под тяжестью своего мешка, который Смок тотчас же схватил обеими руками. В то же мгновение Уэнтворт обвил его колени и поднял к нему бледное, перекошенное лицо.

— Дайте мне дюжину, только дюжину! — взвыл он. — Полдюжины — берите себе остальное! — Он оскалил зубы и, охваченный слепой яростью, нагнул голову, чтобы укусить Смока за ногу, но тут же передумал и снова начал молить. — Только полдюжины! — скулил он. — Только полдюжины! Я собирался отдать его вам завтра. Да, завтра! Так я решил. В них — жизнь! Жизнь! Только несколько штук!

— Где другой мешок? — рявкнул Смок.

— Я все съел, — честно признался Уэнтворт. — Этот мешок — все, что осталось. Дайте мне хоть несколько штук. Можете взять остальное.

— Сожрал! — взвизгнул Малыш. — Целый мешок! А те бедняги подыхали без картофеля! Вот тебе! И еще! И еще! И еще! Свинья! Боров!

После первого же удара Уэнтворт оторвался от колен Смока. Второй удар опрокинул его в снег. Но Малыш продолжал бить его ногами.

— Ногти на пальцах обломаешь, — заметил Смок. Это было все, что он нашел нужным сказать.

— Я работаю пяткой, — ответил Малыш. — Обрати внимание. Я вгоню ему ребра в брюхо. Ну-ка получай! Жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах ты, боров!

VIII

В ту ночь в лагере никто не спал. Смок и Малыш обходили хижины, вливая чудотворный картофельный сок, по четверть ложки на прием, в жалкие, изуродованные рты больных. Они продолжали работать весь следующий день, сменяя друг друга.

Больше не было умирающих. Самые безнадеж-

ные больные начали быстро поправляться. На третий день люди, неделями не вставшие с коек, выползли с костылями на свежий воздух. В тот день солнце, уже два месяца клонившееся к северу, в первый раз приветливо улыбнулось над хребтом ущелья.

— Ни одной штуки! — говорил Малыш скулящему Уэнтворту. — Цинга вас даже не коснулась. Вы съели целый мешок и застраховали себя от цинги на добрых двадцать лет. Познакомившись с вами, я начал понимать Бога. Я всегда удивлялся, почему он позволяет жить сатане. Теперь я понимаю. Он позволяет ему жить точно так же, как я позволяю жить вам. И все-таки это вопиющая несправедливость!

— И вот мой совет, — сказал Смок Уэнтворту. — Эти люди быстро поправляются. Через неделю мы с Малышом тронемся в путь, так что защищать вас будет некому, когда они примутся за вас. Снимайтесь отсюда. До Доусона восемнадцать дней пути.

— Собирай пожитки, Эймос, — прибавил Малыш. — Не то моя расправа покажется тебе безделицей рядом с тем, что сделают с тобой эти выздоравливающие.

— Джентльмены, выслушайте меня, молю

вас, — хныкал Уэнтворт. — Я чужой в этих краях. Я не знаю здешних дорог. Я заблужусь. Позвольте мне ехать с вами. Я дам вам тысячу долларов, если вы позволите мне ехать с вами.

— Ладно, — злорадно ухмыльнулся Смок. — Если Малыш согласится.

— Кто? Я? — Малыш выпрямился с величайшим усилием. — Я — ничтожество. Я — червяк, гусеница, брат головастика, мухин сын. Я не боюсь и не стыжусь ничего, что ползает и копошится на земле. Но путешествовать с этой ошибкой мироздания? Отойди, человек! Меня тошнит.

И Эймос Уэнтворт удалился, один как перст, волоча сани с продовольствием, рассчитанным до Доусона. Не успел он пройти милю, как его нагнал Малыш.

— Эй, ты, пойди сюда, — приветствовал он Эймоса. — Поближе! Так. Вытряхивай!

— Я не понимаю… — пискнул Уэнтворт, содрогаясь при воспоминании о двух затрещинах, полученных им от Малыша.

— А тысячу долларов, это ты понимаешь? Тысячу долларов, которую Смок заплатил тебе за ту картофелину? Ну, пошевеливайся!

Уэнтворт молча передал ему мешок.

— Я надеюсь, что тебя укусит хорек, и ты сдох-

нешь от водобоязни, — было напутственное слово Малыша.

Яичная афера

I

Морозным зимним утром Люсиль Эрол вошла в доусонский магазин A. C. Company и подозвала Смока Беллью к прилавку с галантерейными товарами. Приказчик в это время открыл дверь в склад, и, несмотря на то что большая печка была раскалена докрасна, Люсиль поспешно надела снятые было рукавицы.

Смок тотчас же повиновался ее зову. Во всем Доусоне не было мужчины, которому не польстило бы внимание Люсиль Эрол, эстрадной певицы в маленькой труппе, дававшей вечерние представления в оперном театре «Палас».

— Умереть можно со скуки, — пожаловалась она кокетливо-капризным тоном, как только они обменялись рукопожатием. — Целую неделю нечего делать. Маскарад, который собирался устроить Скиф Митчел, отложен. Ни крупицы золотого песка в обращении. Фойе в театре пусты. Из Штатов уже две недели нет почты. Все забрались в свои берлоги и завалились спать. Надо что-нибудь предпринять. Необходимо оживить

город — и мы с вами можем это сделать. Если кто-нибудь вообще может расшевелить наших горожан, так это только мы с вами. Знаете, я порвала с Уайльдом Уотером.

Два видения почти одновременно возникли перед мысленным взором Смока. Одним из них была Джой Гастелл; другим — он сам, распростертый на пустынной снежной дороге, под холодной полярной луной, чисто и со знанием дела подстреленный упомянутым Уайльдом Уотером. Явное нежелание Смока заняться встряской Доусона в компании с Люсиль Эрол не укрылось от внимания певицы.

— Пожалуйста! Мне безразлично, что вы об этом думаете! — сказала она и надула губки. — Если я вешаюсь вам на шею, то вам бы следовало выказать больше внимания ко мне.

— У некоторых людей от неожиданной радости бывал разрыв сердца, — пробормотал Смок, неумело изображая восторг.

— Лжец, — кокетливо отпарировала она. — Вы больше всего на свете боитесь этого. Так вот, мистер Смок Беллью, я не намерена влюбляться в вас, а если вы вздумаете влюбиться в меня, то вам придется иметь дело с Уайльдом Уотером. Вы ведь знаете его. Кроме того я… я, в сущности,

вовсе и не порывала с ним.

— Продолжайте ваши шарады. Может быть, я и догадаюсь, что вы задумали.

— Тут нечего догадываться, Смок. Я прямо скажу вам, в чем дело. Уайльд Уотер думает, что я порвала с ним, понимаете?

— Так что же — порвали вы с ним или нет?

— Да нет же, конечно! Но пусть это останется между нами. Он думает, что я порвала с ним, — я подняла такой шум, словно в самом деле бросаю его навсегда. Впрочем, он только этого и заслуживает.

— А при чем тут я? — осведомился Смок.

— То есть как при чем? Вы загребаете кучу денег, мы поднимем Уайльда Уотера на смех, мы встряхнем Доусон, а самое главное, самое существенное — Уайльд Уотер чуточку притихнет. Ему это необходимо. Он… как бы это сказать… он слишком буйный. А все потому, что он огромный детина, и у него столько заявок, что он им счет потерял.

— И потому, что он помолвлен с очаровательнейшей женщиной во всей Аляске, — вставил Смок.

— Да, и поэтому тоже. Но ведь это еще не причина беситься. Вчера его снова прорвало. Усеял

пол бара «М и М» золотым песком. Не меньше чем на тысячу долларов. Взял, развязал мешок и начал швырять золото под ноги танцорам. Вы, конечно, уже слышали?

— Да, сегодня утром. Хотел бы я быть уборщиком в этом учреждении. И все-таки я ничего не понимаю. При чем тут я?

— Послушайте, он чересчур необуздан. Я расторгла нашу помолвку, и теперь он ходит и шумит, словно у него и вправду разбито сердце. Вот тут и завязка истории. Я люблю яйца.

— Их больше нет! — в отчаянии воскликнул Смок. — Что делать? Что делать?

— Подождите.

— Но что значат яйца и аппетит для вашей истории? — спросил он.

— Все, если вы только будете слушать.

— Слушаю, слушаю, — пропел он.

— Так слушайте же, ради Бога! Я люблю яйца. В Доусоне они — редкость.

— Верно. Это я тоже знаю. Больше всего их в ресторане Славовича. Порция ветчины с одним яйцом — три доллара. Порция ветчины с двумя яйцами — пять долларов. Иначе говоря — два доллара яйцо в розницу. Только богачи, Эролы и Уайльды Уотеры могут позволить себе такую

роскошь.

— Он тоже любит яйца, — продолжала она. — Но не в этом дело. Их люблю и я. Я завтракаю ежедневно в одиннадцать утра у Славовича. И постоянно съедаю два яйца. — Она выразительно помолчала. — Предположите, только предположите, что кто-нибудь скупает все яйца.

Она замолчала. Смок посмотрел на нее восхищенным взглядом и в глубине души одобрял выбор Уайльда Уотера.

— Вы не слушаете, — сказала она.

— Продолжайте, — ответил он. — Я сдаюсь. Так что же будет?

— Вот глупый! Вы ведь знаете Уайльда Уотера. Как только он увидит, что я тоскую по яйцам, — а я читаю в его душе, как в открытой книге, и умею делать тоскующий вид, — что он, по-вашему, сделает?

— Говорите, говорите!

— Он, разумеется, побежит к тому, кто скупил яйца. Он скупит всю партию, сколько бы она ни стоила. Картина: я прихожу в одиннадцать часов к Славовичу. За соседним столом сидит Уайльд Уотер. Он будет ходить туда, как на службу. «Два яйца в мешочке», — говорю я официанту. «К сожалению, мисс Эрол, яиц больше нет», — от-

вечает лакей. Тогда начинает говорить Уайльд Уотер медвежьим своим голосищем: «Официант, шесть яиц всмятку». И тот отвечает: «Слушаюсь, сэр» и несет яйца. Картина: Уайльд Уотер искоса поглядывает на меня, а я становлюсь похожей на негодующую ледяную сосульку и начинаю пробирать официанта. «К сожалению, мисс Эрол, это — собственность мистера Уайльда Уотера. Он скупил все яйца, мисс». И вот вам картина: Уайльд Уотер торжествует и старается изо всех сил сделать невинное лицо, съедая свои шесть яиц.

И еще картина: сам Славович приносит мне два яйца в мешочке и говорит: «Привет от мистера Уайльда Уотера, мисс». Что же мне остается делать? Мне остается только улыбнуться Уайльду Уотеру, и тогда, разумеется, все начинается сначала. И в результате он будет думать, что сделал чрезвычайно выгодное дело, скупив всю партию яиц хотя бы по десять долларов за штуку.

— Дальше, дальше! — настаивал Смок. — При чем же тут я?

— Глупенький! Вы-то и скупите яйца! Вы начнете скупать их сегодня же, сейчас же. Вы можете купить все яйца в Доусоне по три доллара за штуку и продать их Уайльду Уотеру по любой цене.

Потом мы расскажем правду. Весь город будет смеяться над Уайльдом Уотером. И он, пожалуй, умерит свой пыл. Мы же с вами поделим славу. Вы заработаете кучу денег, а Доусон будет покатываться со смеху. Конечно, если эта спекуляция кажется вам рискованной, то я могу дать вам денег на покупку яиц.

Этого Смок не мог вынести. Будучи простым смертным, да еще уроженцем Запада, со своеобразными понятиями насчет денег и женщин, он с негодованием отверг предложенный ею песок.

II

— Эй, Малыш! — окликнул Смок своего компаньона, быстро шагавшего по другой стороне главной улицы, с бутылкой, в которой была какая-то замерзшая жидкость. — Где ты пропадаешь все утро? — прибавил он, подойдя к Малышу.

— У доктора, — ответил тот, показывая бутылку. — С Салли что-то неладно. Я осматривал ее вчера за вечерней кормежкой. У нее вылезли все волосы на морде и на боках. Доктор говорит…

— Это неважно, — нетерпеливо перебил его Смок. — Дело в следующем…

— Какая муха тебя укусила? — с негодованием спросил Малыш. — Ты хочешь, чтобы Салли хо-

дила облезлой по такой мерзкой погоде?

— Салли может подождать. Послушай-ка…

— Не может она ждать, говорю я тебе! Ты становишься жестоким к животным! Салли замерзнет! Чего ради ты в такой горячке?

— Сейчас все расскажу, Малыш. Но только сделай мне одно одолжение.

— Пожалуйста, — галантно сказал немедленно успокоившийся Малыш. — В чем дело? К черту Салли! Весь к твоим услугам.

— Я хочу, чтобы ты купил мне яйца.

— Ну, конечно, и одеколон, и рисовую пудру, и что еще? А несчастная Салли пусть облезает, как черт знает что? Послушай, Смок, если тебе так хочется вести светский образ жизни, так ты уж покупай себе яйца сам.

— Я и буду покупать их. Только я хочу, чтобы ты мне помогал. Молчи и слушай, Малыш. Слово предоставляется мне. Иди прямо к Славовичу. Плати ему до трех долларов за штуку и купи у него все яйца, какие есть.

— Три доллара? — застонал Малыш. — А я только вчера слышал, что у него на складе лежит семьсот штук яиц. Две тысячи сто долларов за куриный помет! Слушай, Смок, что я тебе скажу. Немедленно беги к врачу. Он займется тобой. Он

вкатит тебе на первый раз всего-навсего унцию чего-нибудь такого — и дело с концом. А я тем временем отнесу домой бутылку.

Но Смок схватил приятеля за плечо.

— Смок, я для тебя готов на все, — серьезно запротестовал Малыш. — Если бы ты застудил себе голову и переломил себе обе руки, то я бы дни и ночи дежурил у твоей постели и утирал бы тебе нос. Но будь я проклят во веки веков, если я выброшу две тысячи сто хороших звонких долларов на куриный помет!

— Доллары не твои, а мои, Малыш. Я хочу сделать дело. Я намерен скупить все яйца в Доусоне, в Клондайке и Юконе. И ты должен помочь мне. У меня нет времени рассказывать тебе суть дела — отложим это пока. Но если хочешь, можешь войти в долю, твоя половина. Факт тот, что нужно купить яйца. Лети к Славовичу и покупай.

— А что я скажу ему? Он ведь поймет, что я не собираюсь их съесть.

— Не говори ничего. Пусть скажут деньги. Он продает яйца в вареном виде по два доллара за штуку. Предложи ему по три доллара за сырое яйцо. Если он начнет расспрашивать, скажи ему, что ты собираешься разводить кур. Словом, мне нужны яйца. Принимайся за дело; разнюхай и

скупи все яйца, какие есть в Доусоне. Валяй! И не забудь, что у маленькой женщины с лесопилки — у той, что шьет мокасины, тоже имеется дюжины две.

— Ладно, Смок, пусть будет так, как ты говоришь. Но больше всего, кажется, у Славовича?

— Да. Лети! Вечером посвящу тебя в подробности.

Но Малыш потряс бутылкой.

— Сперва я отнесу домой лекарство для Салли. Яйца могут подождать. Если их еще не съели, то их и не съедят, пока я займусь бедной хворой собакой, которая неоднократно спасала жизнь и тебе и мне.

III

Никогда еще ни один товар не скупался с такой быстротой. В три дня все яйца в Доусоне, за исключением нескольких дюжин, перешли в руки Смока и Малыша. Смок оказался более сговорчивым покупателем. Он не краснея признался, что купил у некоего старика из Клондайк-сити двадцать два яйца по шесть долларов за штуку. Большинство же яиц скупил Малыш, причем немилосердно торговался. Женщине, шьющей мокасины, он заплатил всего по два доллара за

штуку и хвастался тем, что надул Славовича, забрав у него всю партию в семьсот пятьдесят яиц по весьма умеренной цене — два с половиной доллара за штуку. Зато он жаловался на маленький ресторанчик по ту сторону улицы, который умудрился содрать с него по два доллара семьдесят пять центов за жалкие сто тридцать четыре яйца.

Несколько дюжин, которые им еще не удалось купить, находились у двоих. С женщиной-индианкой, жившей в хижине за госпиталем, вел переговоры Малыш.

— Сегодня я покончу с ней, — заявил он на четвертый день. — Вымой посуду, Смок. Я буду дома через несколько минут, если не рассыплюсь от ее болтовни. Эх, если бы это был мужчина, с ним бы я столковался! Но проклятые женщины — прямо ужасно, как они умеют выматывать душу из покупателя!

Смок вернулся домой после обеда и нашел Малыша растянувшимся на полу и растирающим хвост Салли какой-то мазью, причем лицо его выражало подозрительное безразличие.

— Как дела? — беззаботно спросил Малыш.

— Никак, — ответил Смок. — А что у тебя слышно?

Малыш торжествующе кивнул в сторону небольшой корзинки с яйцами, стоявшей на столе.

— Семь долларов штучка! — прибавил он, после того как минуту втирал мазь.

— А я под конец дошел до десяти, — сказал Смок, — и тогда парень признался мне, что уже продал все, что у него было. Это очень скверно, Малыш. Очевидно, впутался еще кто-то. Эти двадцать восемь яиц могут доставить нам массу неприятностей. Видишь ли, весь успех дела зависит от того, сумеем ли мы забрать все яйца до единого…

Вдруг Смок замолчал и уставился на своего компаньона. С Малышом произошла поразительная перемена: под маской равнодушия в нем бурлило страшное возбуждение. Он закрыл банку с мазью, медленно и тщательно вытер руки о шерсть Салли, прошел в угол комнаты, взглянул на градусник, вернулся обратно и заговорил тихим, ровным и сверхвежливым тоном:

— Пожалуйста, будь добр, повтори, сколько яиц тот человек отказался продать тебе?

— Двадцать восемь штук.

— Гм, — пробормотал Малыш и небрежным кивком выразил свою признательность. Затем со

смутным беспокойством посмотрел на плиту. — Кажется, нам придется поставить новую плиту, Смок. В этой так нелепо устроена духовка, что лепешки вечно подгорают.

— Оставь духовку в покое, — рассердился Смок, — и скажи мне, в чем дело.

— Дело? Ах, вы хотите знать, в чем дело? В таком случае, покорнейше прошу вас обратить ваши дивные глаза на сию корзину, помещающуюся на столе. Изволите видеть?

Смок кивнул.

— Так, а теперь я скажу вам одну вещь, всего только одну вещь. В этой корзине лежат считанные, проверенные, не более и не менее как двадцать восемь яиц, стоящие, каждое в отдельности, ровно семь больших, толстых, круглых долларов. Если вы жаждете дальнейшей, подробной информации, то я с радостью и полной готовностью пойду вам навстречу.

— Продолжай, — сказал Смок.

— Так вот, тот дядя, с которым ты торговался, — жирный тупой индеец, не так ли?

Смок кивнул и продолжал кивать при каждом дальнейшем вопросе.

— У него недостает полщеки на одной стороне лица — там, где его цапнул медведь. Прав я? Он

торгует собаками, да? Зовут его Джим Рваная Щека? Не так ли? Ну, что?

— Ты хочешь сказать, что мы натолкнулись…

— Друг на друга. Вот именно. Эта женщина — его жена, и живут они на холме за госпиталем. Я мог бы получить эти яйца по два доллара за штуку, если бы ты не сунулся.

— И я тоже, — рассмеялся Смок, — если бы не ты. Но это пустяки. По крайней мере мы знаем, что скупили весь товар. А это самое главное.

В течение следующего часа Малыш выводил что-то огрызком карандаша на полях газеты трехлетней свежести. И чем бесконечней и неразборчивей становились его иероглифы, тем большей радостью озарялось его лицо.

— Вот оно где! — сказал он наконец. — Недурно, ей-богу. Дай-ка, я скажу тебе итог. В нашем распоряжении в данный момент находится ровно девятьсот семьдесят три яйца. Обошлись они нам ровно в две тысячи семьсот шестьдесят долларов, считая золотой песок по шестнадцать долларов за унцию и не учитывая потраченного времени. А теперь слушай. Если мы спустим яйца Уайльду Уотеру по десять долларов за штуку, то заработаем, за всеми вычетами и прочим, чистых шесть тысяч девятьсот семьдесят долларов. Это прямо

как на скачках! Мы с тобой вроде букмекеров[7]. И я участвую в половине. Давай ее сюда, Смок.

IV

В одиннадцать часов вечера Смока разбудил Малыш. От его меховой парки валил пар, свидетельствовавший о крепком морозе, а руки его были холодны как лед, когда он прикоснулся к щеке Смока.

— Что еще? — проворчал Смок. — У Салли вылезла последняя шерсть?

— Нет, не то. Я просто хочу сообщить тебе приятные новости. Я говорил со Славовичем. Вернее, Славович говорил со мной, потому что он начал. Он сказал мне: «Малыш, я хочу поговорить с вами насчет яиц. Я держал всю эту историю в секрете. Никто не знает, что я вам их продал. Но если вы задумали спекуляцию, то я могу предоставить вам блестящую возможность». И он не соврал, Смок. Как бы ты думал, что он предложил мне?

— Ну, ну, дальше!

— Так вот. Может быть, это звучит неправдоподобно, но блестящая возможность — это Уайльд Уотер Чарли. Он ищет яйца. Он является к Славо-

---

[7] notes: 7
Букмекер — агент при тотализаторе на скачках.

вичу, предлагает ему по пять долларов за яйцо и, прежде чем тот успевает рот раскрыть, набавляет до восьми. А у Славовича ни одного яйца. Слово за слово, Уайльд Уотер заявляет Славовичу, что если он узнает, что Славович припрятал их где-нибудь, то он раскроит ему череп. Славовичу приходится сказать, что он продал яйца, но что покупатель пожелал остаться неизвестным. Теперь Славович просит, чтобы мы позволили ему сказать Уайльду Уотеру, кто купил яйца. «Малыш, — говорит он мне, — Уайльд Уотер зарвался, вы можете содрать с него по восьми долларов». — «Восемь долларов, — нет, бабушка! — кричу я ему. — Он будет молить меня, чтобы я уступил их ему по десять». Словом, я сказал Славовичу, что ночью подумаю и наутро дам ответ. Разумеется, мы позволим ему сказать Уайльду Уотеру, кто купил яйца. Так?

— Так, Малыш. Утром первым делом беги к Славовичу. Пускай говорит Уайльду Уотеру, что дело сработали мы.

Через пять минут Малыш снова разбудил Смока:

— Смок! А Смок!

— Да?

— Ни центом меньше десяти?

— Ну конечно, о чем говорить! — сонно отве-

тил Смок.

Утром Смок снова встретил в магазине Люсиль Эрол.

— Дело идет, — сообщил он ей ликующим тоном. — Уайльд Уотер был у Славовича и пытался купить яйца либо вырвать их у него силой. А Славович сказал ему, что все яйца купили мы с Малышом.

Глаза Люсиль Эрол загорелись восторгом.

— Иду завтракать! — воскликнула она. — Попрошу официанта подать яйца, а когда их не окажется, сделаю такую жалобную мину, что камень — и тот смягчится. А вы-то ведь знаете, что у Уайльда Уотера сердце из чего угодно, только не из камня. Он купит всю партию, если даже она обойдется ему в один из его рудников. Я знаю его. Но вы не спускайте ни полцента. Только десять долларов могут удовлетворить меня. И если вы уступите ему, Смок, то я никогда не прощу вам этого.

Когда Смок вечером пришел в хижину, Малыш поставил на стол миску с бобами, кофейник, кислые лепешки, масло, жестянку сгущенных сливок, блюдо с копченой олениной и ветчиной, миску компота из сушеных персиков и крикнул:

— Обед на столе! Только посмотри сначала, что

делает Салли.

Смок отложил в сторону сбрую, которую чинил, открыл дверь и увидел, что Салли и Брайт мужественно отбивают нападение шайки соседских собак, прибежавших чего-нибудь раздобыть. Увидел он и еще кое-что, заставившее его поспешно прикрыть дверь и броситься к плите. Он поставил горячую сковородку, на которой только что жарилось мясо, снова на плиту, бросил на нее изрядную порцию масла, достал яйцо, разбил его и выпустил на сковородку. Когда он потянулся за вторым яйцом, к нему подскочил Малыш и судорожно вцепился в его руку.

— Эй, ты! Что ты делаешь? — крикнул он.

— Яичницу, — объяснил Смок, разбивая второе яйцо и стряхивая с себя руку Малыша. — Что с тобой?

— Может, тебе нездоровится? — робко осведомился Малыш, когда Смок разбил третье яйцо и нетерпеливо отпихнул товарища локтем. — Ты уже загубил яиц на тридцать долларов.

— И собираюсь загубить на шестьдесят, — был ответ Смока, хладнокровно разбивавшего яйцо. — Отойди, Малыш. Сюда поднимается Уайльд Уотер. Он будет здесь через пять минут.

Малыш издал глубокий вздох облегчения, сви-

детельствовавший также и о том, что он проник в замысел Смока, и сел за стол. К тому времени, когда раздался долгожданный стук в дверь, Смок уже сидел за столом против Малыша. Перед каждым из них стояла тарелка с яичницей из трех яиц.

— Войдите! — крикнул Смок.

Уайльд Уотер Чарли, стройный молодой силач, без малого шести футов роста и ста девяноста фунтов чистого весу, вошел в комнату и пожал руки хозяевам.

— Присаживайтесь и угощайтесь, Уайльд Уотер, — пригласил его Малыш. — Смок, состряпай ему яичницу. Бьюсь об заклад, что он сто лет не ел яичницы.

Смок выпустил на горячую сковородку еще три яйца и через несколько минут поставил ее перед гостем. Тот посмотрел на нее таким напряженным и странным взглядом, что Малыш, как он сам впоследствии признавался, не на шутку испугался, как бы Уайльд Уотер не спрятал яичницу в карман и не удрал бы с ней.

— Вы не находите, что мы в отношении еды перещеголяли всех богачей из Штатов? — ухмыльнулся Малыш. — К примеру, вы, я и Смок — мы в данный момент едим на девяносто долла-

ров яиц, и хоть бы кто из нас глазом моргнул.

Уайльд Уотер смотрел на быстро исчезавшие яйца и казался окаменевшим.

— Ну что же вы? Налегайте! — подбодрил его Смок.

— Они… яйца не стоят десяти долларов, — медленно произнес Уайльд Уотер.

Малыш принял вызов.

— Всякая вещь стоит того, что вы можете получить за нее, не так ли? — сказал он.

— Да, но…

— Без всяких «но». Я скажу вам, сколько мы можем получить за них. По десять долларов за штуку. Смок и я, мы — яичный трест, прошу не забывать! — Он вытер свою тарелку куском лепешки. — Я без труда мог бы съесть еще штучки две, — вздохнул он, принимаясь за бобы.

— Вы не можете так есть яйца, — вымолвил Уайльд Уотер. — Это… это несправедливо.

— Мы со Смоком прямо влюблены в яйца, — извинился Малыш.

Уайльд Уотер мрачно расправился со своей яичницей и вопросительно посмотрел на хозяев.

— Послушайте-ка, не можете ли вы сделать мне одно большое одолжение? — испытующе начал он. — Продайте мне, либо одолжите, либо просто

подарите дюжину яиц.

— С удовольствием, — ответил Смок. — Я по себе знаю, как можно стосковаться по яйцам. Но мы не такие уж нищие, чтобы продавать наше гостеприимство. Они вам не будут стоить ни гроша. — Тут сильный удар под столом дал ему понять, что Малыш начинает нервничать. — Дюжину, — говорите вы, Уайльд Уотер?

Тот кивнул.

— А ну-ка, Малыш, — продолжал Смок, — свари яйца. Я ему сочувствую. Было времечко, когда я сам мог съесть дюжину, не сходя с места.

Но Уайльд Уотер удержал рукой расторопного Малыша и пояснил:

— Я имел в виду не вареные яйца. Я хочу получить их сырыми, в скорлупе.

— Чтобы взять их с собой?

— Вот именно.

— Это уже не гостеприимство, — заметил Малыш. — Это сделка.

Смок поддержал его:

— Совсем другое дело, Уайльд Уотер. Я думал, что вы попросту хотите съесть их. Мы, видите ли, купили их на предмет спекуляции.

Синие глаза Уайльда Уотера потемнели, и что-то грозное зажглось в них.

— Я заплачу вам, — резко сказал он. — Сколько?

— О, но только не за дюжину, — ответил Смок. — Мы дюжинами не продаем. Мы не розничные торговцы. Мы не можем своими собственными руками испортить себе рынок. Нам надо держаться крепко.

— Сколько у вас всего яиц, и что вы за них хотите?

— Сколько их у нас, Малыш? — осведомился Смок.

Малыш прочистил глотку и занялся устным счетом:

— Сейчас скажу. Девятьсот семьдесят три, минус девять — это выходит девятьсот шестьдесят два. Стало быть, вся история будет стоить — по десять долларов за удар — ровно девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Разумеется, мы ведем чистую игру, Уайльд Уотер, и за каждое тухлое яйцо возвращаем деньги. Впрочем, здесь нет тухлых. Чего я никогда в жизни не видал в Клондайке, так это тухлых яиц. Нет такого дурака, который решился бы привезти сюда тухлые яйца.

— Это верно, — подтвердил Смок. — За тухлые яйца деньги обратно, Уайльд Уотер. Словом, вот

вам наше предложение — девять тысяч шестьсот двадцать долларов за все яйца Клондайка.

— Вы можете догнать их до двадцати за штуку и заработать сто на сто, — вставил Малыш.

Уайльд Уотер досадливо покачал головой и принялся за бобы.

— Больно дорого выходит, Малыш. Да мне столько и не нужно. Я возьму у вас две дюжины по десять долларов за штуку.

— Все или ничего, — был ультиматум Смока.

— Слушайте, друзья, — произнес Уайльд Уотер в припадке доверчивости. — Я буду говорить с вами как на духу, только вы не болтайте. Вы ведь знаете, что я был помолвлен с мисс Эрол. Так вот. Она порвала со мной. Это вы тоже знаете. Это знает всякий. Для нее-то мне и нужны яйца.

— Ага! — рявкнул Малыш. — Теперь я понимаю, почему они нужны вам в скорлупе. Только никогда бы я про вас этого не подумал.

— Чего?

— Что вы способны на подобную низость, — горячо продолжал Малыш с видом оскорбленной добродетели. — Я бы нисколько не удивился, если бы кто-нибудь угостил вас за это хорошей порцией свинца. Ничего другого вы не заслуживаете.

Уайльд Уотер загорелся гневом, грозившим

перейти в один из его пресловутых припадков ярости. Он стиснул кулаки так, что зажатая в одном из них дешевая вилка погнулась; его синие глаза вспыхнули.

— Послушайте, Малыш, что вы этим хотите сказать? Если вы чего-нибудь не договариваете…

— Хочу сказать то, что говорю, — отрезал Малыш. — Вы можете поручиться вашей драгоценной головой, что я все договариваю. Только открыто и честно, иначе ничего не получится. Вы не смеете швыряться.

— Чем швыряться?

— Яйцами, сливами, мячами, всем, чем угодно! Послушайте, Уайльд Уотер, вы совершаете большую ошибку. Еще не бывало в оперном театре публики, которая позволила бы вам это. А что она актриса — так это еще не основание, чтобы публично швырять в нее куриный помет.

На мгновение можно было подумать, что Уайльд Уотер вот-вот лопнет или что его хватит апоплексический удар. Он отхлебнул горячего кофе и мало-помалу пришел в себя.

— Вы ошибаетесь, Малыш, — произнес он холодно. — Я не собираюсь швырять в нее яйца. Черт побери, — крикнул он, внезапно возбуждаясь. — Я хочу преподнести ей эти яйца на тарелке,

в мешочке, она любит в мешочке.

— Я так и думал, что это недоразумение, — великодушно воскликнул Малыш. — Я знал, что вы не способны на такую низость.

— Ну ладно, Малыш, — примиряюще сказал Уайльд Уотер. — Перейдем к делу. Теперь вы понимаете, зачем мне нужны яйца.

— Покупаете за девять тысяч шестьсот двадцать долларов? — осведомился Малыш.

— Это издевательство, вот что это такое! — объявил взбешенный Уайльд Уотер.

— Это — дело, — отпарировал Смок. — Уж не думаете ли вы, что мы скупаем яйца для собственного потребления?

— Слушайте, опомнитесь, — взмолился Уайльд Уотер. — Мне нужно всего две дюжины. Я дам вам по двадцать долларов за штуку. Что я буду делать с такой кучей яиц?

— Зачем кипятиться? — перебил его Малыш. — Не хотите, так не берите. Мы вам их не навязываем.

— Но они мне нужны, — жалобно сказал Уайльд Уотер.

— Так вы же знаете, что они стоят девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Если я неправильно сосчитал, то мы после сквитаемся.

— А может, они уже не помогут? — заметил Уайльд Уотер. — Может, мисс Эрол тем временем уже разлюбила яйца?

— Я бы сказал, что мисс Эрол все равно стоит этих денег, — спокойно вставил Смок.

— Стоит ли! — Уайльд Уотер вскочил в пылу красноречия. — Она стоит миллион долларов! Она стоит всего моего состояния. Она стоит всего золотого песка в Клондайке! — Он сел и продолжал более спокойным тоном: — И все-таки это не резон выбрасывать десять тысяч долларов за один ее завтрак. Вот вам мое предложение. Дайте мне две дюжины яиц. Я передам их Славовичу. Он преподнесет их ей с приветом от меня. Она сто лет не улыбалась мне. Если яйца вызовут у нее улыбку, я возьму у вас всю партию.

— Угодно вам подписать соответствующий контракт? — быстро спросил Смок, ибо он знал, что Люсиль Эрол улыбнется.

Уайльд Уотер перевел дыхание.

— У вас тут чертовски быстро делаются дела.

— Мы только принимаем ваше предложение, — ответил Смок.

— Ладно. Тащите бумагу, пишите договор, твердый и нерушимый! — воскликнул Уайльд Уотер.

Смок составил бумагу, согласно которой Уайльд

Уотер изъявлял согласие принять любое количество поставленных ему яиц по десять долларов за штуку, при условии, если полученные им авансом две дюжины яиц помогут ему помириться с Люсиль Эрол.

Уайльд Уотер уже взялся за перо, чтобы расписаться на контракте, но вдруг остановился.

— Постойте, — сказал он. — Я покупаю только хорошие яйца.

— В Клондайке нет тухлых яиц, — фыркнул Малыш.

— Все равно, если я найду тухлое яйцо, вы вернете мне десять долларов, которые я вам за него заплатил.

— Ладно, — согласился Смок.

— И я съем все тухлые яйца, которые вы вернете, — прибавил Малыш.

Смок вставил в контракт слово «хорошие». Уайльд Уотер мрачно расписался, получил обусловленный аванс — две дюжины яиц, натянул рукавицы и открыл дверь.

— До свидания, бандиты, — прорычал он и хлопнул дверью.

V

На следующее утро Смок был свидетелем сцены, разыгравшейся у Славовича. Он сидел в качестве гостя за столиком Уайльда Уотера, рядом со столиком Люсиль Эрол. Все разыгралось буквально так, как она предсказывала.

— Еще не достали яиц? — жалобно спросила Люсиль официанта.

— Никак нет, мэм, — ответил тот. — Говорят, кто-то скупил все яйца в Доусоне. Мистер Славович пытался купить хоть несколько штук, специально для вас, но тот, кто скупил их, не уступает ни одной штуки.

Таково было положение дел, когда Уайльд Уотер кивком подозвал хозяина и, положив ему руку на плечо, заставил его нагнуться.

— Слушайте, Славович, — прошептал он хрипло. — Вчера вечером я послал вам две дюжины яиц. Где они?

— В погребе, за исключением шести штук, которые я держу для вас наготове.

— Они мне нужны не для себя, — прохрипел Уайльд Уотер, еще больше понижая голос. — Сварите их и поднесите мисс Эрол.

— Я лично займусь этим, — ответил Славович.

— И не забудьте — с приветом от меня, — закончил Уайльд Уотер, выпуская из тисков плечо ресторатора.

Очаровательная Люсиль Эрол все еще растерянно смотрела на ломтики ветчины с картофельным пюре, лежавшие перед ней на тарелке, когда к ней подошел Славович и поставил на стол два яйца в мешочке.

— Привет от мистера Уайльда Уотера, — донеслось до соседнего столика.

Смок не мог не признаться, что сцена была разыграна ею замечательно: радостная краска, молниеносно вспыхнувшая на ее лице, естественный поворот головы, невольная улыбка, с трудом подавленная чувством собственного достоинства, и затем снова решительный поворот головы в сторону ресторатора.

Смок почувствовал, как обутая в мокасин нога Уайльда Уотера лягнула его под столом.

— Будет ли она есть? Вот в чем вопрос! Будет ли она есть их? — шептал гигант в смертельной тоске.

Скосив глаза, они увидели, что Люсиль Эрол с минуту поколебалась, чуть было не отодвинула тарелки, но наконец поддалась искушению.

— Я беру яйца, — сказал Уайльд Уотер Смоку. —

Договор будет выполнен. Видели вы ее? Видели? Она почти улыбнулась. Я знаю ее. Дело сделано! Еще два яйца завтра — и она простит меня и вернется. Не будь ее здесь, я бы пожал вам руку, Смок, — так я вам благодарен! Вы не бандит, вы — филантроп.

VI

Смок, ликуя, вернулся к себе в хижину на холме; к вящему своему изумлению, он застал дома Малыша в черном отчаянии, за пасьянсом «пустынник»; Смок давно уже заметил — когда товарищ его раскладывал «пустынника», это означало, что мир поколебался в своих основах.

— Молчи! Не разговаривай со мной! — были первые слова, которыми он встретил Смока.

Впрочем, он скоро немного отошел и разразился потоком слов.

— Все пропало! — выкрикнул он. — Дело лопнуло! Завтра во всех распивочных будет продаваться херес с яйцами по доллару за стакан. Во всем Доусоне не найдется ни одной голодающей сиротки, которая не будет валяться брюхом на яйцах. Как бы ты думал, на кого я наскочил? На человека с тремя тысячами яиц — понял? С тремя тысячами яиц, привезенными из Сороковой

Мили.

— Басни, — усомнился Смок.

— Хороши басни! Я видел яйца. Человека зовут Готеро — длинный такой голубоглазый верзила, француз из Канады. Сначала он спросил тебя, а потом отвел меня в сторону и нанес мне удар прямо в сердце. Он, оказывается, узнал о нашей афере с яйцами и заволновался. Он знал, что на Сороковой Миле имеется три тысячи яиц, немедленно отправился туда и купил их. «Покажите мне их», — сказал я ему. И он показал. Его сани и два индейца-погонщика стояли внизу у дамбы — на том самом месте, где они остановились по приезде из Сороковой Мили. А на санях лежали ящики из-под мыла — небольшие деревянные ящики из-под мыла.

Мы вытащили один из них на ледяную гору посередине реки и вскрыли его. Яйца! Полным-полно яиц, переложенных опилками! Смок, мы пропали! Нас обыграли. Знаешь, что он имел бесстыдство сказать мне? Что он отдает их нам по десяти долларов за штуку. Знаешь, что он делал, когда я уходил от него? Писал объявление о продаже яиц. Он сказал, что первую очередь уступает нам, по десятке, до двух часов дня, и если мы к этому времени не придем, то он вздует рынок

выше небес. И еще сказал, что, вообще говоря, он не делец, но тут сразу понял, что это выгодно, как только увидел… меня и тебя, насколько я понимаю.

— Ладно, — бодро сказал Смок. — Надень рубашку и дай мне минутку подумать. Все, что в настоящий момент требуется, это — быстрота и натиск. Я заполучу сюда к двум часам Уайльда Уотера на предмет приемки яиц. А ты тем временем купи у Готеро его яйца. Попробуй поторговаться. Впрочем, если ты заплатишь по десять долларов за штуку, Уайльд Уотер должен будет принять их от нас по той же цене. Если ты сможешь купить их дешевле — тем лучше, тогда мы еще заработаем. Ну, беги! Доставь их сюда не позднее чем к двум часам. Возьми у полковника Бови собак и запряги в наши сани. Помни — ровно к двум!

— Послушай, Смок, — крикнул Малыш Смоку, спускавшемуся с холма. — Не взять ли тебе зонтик с собой? Я не буду удивлен, если к твоему приходу начнется яичный дождь.

Смок нашел Уайльда Уотера в салуне.

— Должен предупредить вас, что мы набрали еще некоторое количество яиц, — сказал Смок после того, как Уайльд Уотер изъявил согласие прийти к нему в два часа с золотым песком и

учинить расчет.

— Вам больше везет на яйца, чем мне, — признался Уайльд Уотер. — Ну-с, так сколько же у вас теперь яиц? И сколько золотого песку я должен притащить к вам?

Смок справился со своей записной книжкой.

— Согласно вычислениям Малыша, у нас в данный момент имеется три тысячи девятьсот шестьдесят два яйца. Помножьте на десять…

— Сорок тысяч долларов! — взревел Уайльд Уотер. — Вы говорили, что там что-то около девятисот штук. Это — убийство! Я не пойду на это.

Смок вытащил из кармана договор и указал на «платеж по приемке».

— Никаких указаний насчет количества яиц тут нет. Вы изъявили согласие платить по десять долларов за каждое сдаваемое нами яйцо. Что ж, мы достали еще яиц, а договор есть договор. Хотя, по правде сказать, Уайльд Уотер, мы до сего дня понятия не имели об этих трех тысячах яиц. Нам пришлось купить их для укомплектования партии.

В течение долгих пяти минут напряженного молчания Уайльд Уотер боролся с собой и, наконец, нехотя сдался.

— Я влопался, — коротко сказал он. — Яйца

так на меня и сыплются. Чем скорее я выберусь из этой истории, тем лучше. А то дело кончится яичным обвалом. Я буду у вас в два часа. Но сорок тысяч долларов!

— Всего только тридцать девять тысяч шестьсот двадцать, — поправил его Смок.

— Это двести фунтов золотого песку, — продолжал неистовствовать Уайльд Уотер. — Мне придется взять упряжку.

— Мы дадим вам нашу, чтобы забрать яйца, — великодушно предложил Смок.

— А куда я их помещу? Куда я их дену? Ну ладно! Я буду у вас. Но пока я жив, я в рот не возьму яйца.

В половине второго с яйцами Готеро прибыл Малыш, увеличивший из-за крутого подъема в два раза количество собак.

— Мы заработаем почти вдвое больше, — сказал он Смоку, когда они устанавливали ящики внутри хижины. — Я предложил ему по восемь долларов, и он, выругавшись по-французски, согласился. Стало быть, по два доллара чистой прибыли на каждом яйце, а всего их три тысячи. Я заплатил ему сполна. Вот расписка.

Пока Смок вытаскивал весы для золотого песка и делал прочие приготовления, Малыш занимал-

ся вычислениями.

— Вот она, предусмотрительность! — торжествующе воскликнул он. — У нас прибыли двенадцать тысяч девятьсот семьдесят долларов. И притом без всякого ущерба для Уайльда Уотера. Он получает мисс Эрол. И, кроме того, все яйца. Необыкновенно выгодное дело! Никто не в накладе.

— Даже Готеро заработал двадцать четыре тысячи, — рассмеялся Смок, — конечно, за вычетом себестоимости яиц и перевозки. А если Уайльд Уотер захочет продолжать дело, то он тоже заработает.

Ровно в два часа стоявший на страже Малыш увидел поднимающегося на холм Уайльда Уотера. Уотер вошел в хижину с хмурым и деловитым видом.

— Давайте сюда яйца, пираты, — начал он. — И, начиная с этого дня, никогда не упоминайте при мне о яйцах, если вам дорога жизнь.

Все трое начали тщательно подсчитывать первую, смешанную партию. Отсчитав две сотни, Уайльд Уотер неожиданно разбил одно яйцо о край стола.

— Эй! Бросьте! — заметил Малыш.

— Мое это яйцо или нет? — зарычал Уайльд

Уотер. — Плачу я за него десять долларов или нет? Я не намерен покупать кота в мешке. Когда я выкладываю по десять кругляшек за яйцо, то я хочу знать, что я покупаю.

— Я могу съесть его, если вы хотите, — ехидно предложил Малыш.

Уайльд Уотер посмотрел на яйцо, понюхал его и покачал головой.

— Нет, Малыш, не стоит. Яйцо прекрасное. Дайте-ка мне чашку. Я сам съем его за ужином.

И еще три раза Уайльд Уотер разбивал для проверки яйца и клал их в стоявшую подле него чашку.

— На две штуки больше, чем вышло у вас, Малыш, — сказал он, когда подсчет был закончен. — Девятьсот шестьдесят четыре, а не шестьдесят два.

— Ошибся, стало быть, — добродушно согласился Малыш. — Мы засчитаем их для ровного счета.

— Могли бы и уступить, — злобно заметил Уайльд Уотер. — Давайте их сюда. Девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Сейчас я заплачу. Пишите расписку, Смок.

— Отчего не сосчитать остальные, — сказал Смок, — и не заплатить за все сразу?

Уайльд Уотер покачал головой.

— Я не мастер считать. Лучше уж каждую партию отдельно, чтобы не было недоразумений.

Он подошел к своей шубе и вытащил из ее боковых карманов два мешка с золотым песком, напоминавшие своей длиной и округлостью болонские колбасы. Когда платеж за первую партию был окончен, в мешках осталось песку не больше чем на несколько сот долларов.

На стол был взгроможден первый ящик из-под мыла, и начался новый счет. Отсчитав сотню, Уайльд Уотер сильно стукнул яйцо о край стола. Оно не треснуло.

— Здорово замерзло, — заметил он, ударяя еще сильнее.

Он поднял яйцо, и двое остальных увидели, что там, где оно ударилось об стол, скорлупа его обсыпалась мельчайшими осколками.

— Гм, — сказал Малыш. — Я думаю, оно должно было замерзнуть, раз его тащили сюда с Сороковой Мили. Его не разобьешь и топором.

— Я все-таки за топор, — сказал Уайльд Уотер.

Смок принес топор. Уайльд Уотер нацелился и искусным ударом опытного дровосека расколол яйцо пополам. Внутренность яйца едва ли можно было назвать удовлетворительной. Вещая дрожь

пробежала по телу Смока. Малыш оказался более храбрым. Он поднес половинку яйца к носу.

— Запах вполне хороший, — сказал он.

— Но вид зато скверный, — ответил Уайльд Уотер. — Да и как оно вообще может пахнуть, когда запах его давно уже замерз вместе со всем остальным. Подождите минутку.

Он положил обе половинки на сковородку и поставил последнюю на горячую плиту. Воцарилось молчание. Все трое ждали, расширив ноздри и напряженно втягивая воздух. Мало-помалу по комнате начало распространяться явственное зловоние. Уайльд Уотер не считал нужным разговаривать. Молчал, несмотря на всю свою самоуверенность, и Малыш.

— Выкиньте его! — крикнул Смок, задыхаясь.

— К чему? — спросил Уайльд Уотер. — Придется проверить всю партию.

— Только не здесь, — прохрипел Смок, преодолевая тошноту. — Разрубите их, — достаточно будет взглянуть, на них. Выбрось его, Малыш! Выбрось его! Фу!

Ящик за ящиком вскрывались; яйцо за яйцом выхватывалось наудачу и рубилось надвое. И яйцо за яйцом свидетельствовало о том же безнадежном, непоправимом гниении.

— Я не стану требовать, чтобы вы съели их, Малыш, — осклабился Уайльд Уотер. — Ну-с, что касается меня, я отсюда моментально убираюсь. Договор на хорошие яйца. Если вы дадите мне собак и сани, я увезу эти, пока они тоже не испортились.

Смок помог ему нагрузить сани. Малыш сел за стол и начал раскладывать «пустынника».

— Скажите-ка, сколько времени вы держали эту партию? — были прощальные слова Уайльда Уотера.

Смок ничего не ответил и, кинув один-единственный взгляд на погруженного в «пустынника» Малыша, стал выбрасывать ящик за ящиком в снег.

— Скажи-ка, Малыш, — промолвил он кротко, — сколько ты заплатил за эти три тысячи?

— По восемь долларов. Молчи! Не разговаривай со мной. Я умею считать не хуже тебя. Мы потеряли на этом деле семнадцать тысяч долларов — так и запомни, если тебя будут спрашивать. Я подсчитал, пока жарилось первое вонючее яйцо.

Смок несколько минут соображал что-то, потом снова нарушил молчание.

— Послушай, Малыш. Сорок тысяч долларов весят двести фунтов. Уайльд Уотер взял наши са-

ни и наших собак, чтобы увезти яйца. Он явился сюда без саней. Те два мешка с золотым песком, что он вытащил из кармана, весили фунтов по двадцать каждый. Договор предусматривал наличный расчет за всю партию. Он принес ровно столько песку, сколько требовалось, чтобы заплатить за хорошие яйца. Он ни одной минуты не рассчитывал платить за эти три тысячи. Он знал, что они тухлые. Но откуда он мог знать, что они тухлые? Что ты на это скажешь?

Малыш собрал карты, перетасовал их и отложил в сторону.

— Ха! Что может быть проще! Ребенок — и тот ответит тебе. Мы потеряли семнадцать тысяч. Яйца, которые я купил у Готеро, принадлежали Уайльду Уотеру. Тебе еще что-нибудь угодно знать?

— Да. Почему, во имя здравого смысла, ты не выяснил до платежа, хорошие ли ты покупаешь яйца?

— И на это не трудно ответить. Уайльд Уотер рассчитал игру по секундам. У меня не было времени проверять яйца. Я должен был бешено торопиться, чтобы доставить их сюда к моменту сдачи. А теперь, Смок, позволь мне тоже задать тебе один скромный вопрос. Кто вбил тебе в голо-

ву эту гнусную идею о скупке яиц?

Малыш успел разложить шестнадцатого по счету «пустынника», а Смок уже начал готовить ужин, когда раздался стук в дверь. В комнату вошел полковник Бови, молча вручил Смоку письмо и удалился.

— Ты видел его лицо? — взревел Малыш. — Он прямо лопался со смеху. Весь город издевается над нами, Смок! Кончено! Нам нельзя больше носа на улицу высунуть.

Письмо было подписано Уайльдом Уотером. Смок прочел его вслух.

Дорогие Смок и Малыш! Свидетельствуя вам глубокое мое почтение, прошу вас не отказать отужинать со мной сегодня вечером в ресторане Славовича. Будет мисс Эрол, а также Готеро. Мы с ним были компаньонами в Серкл-сити лет пять назад. Он славный парень. Кстати, насчет яиц. Они прибыли в Аляску четыре года назад и тогда уже были тухлыми. Они были тухлыми, когда отбыли из Калифорнии. Они всегда были тухлыми. Они пролежали зиму в Карлуке и зиму в Нутлике и еще зиму на Сороковой Миле, где их продали как лежалые. А нынешнюю зиму они, по-моему, проведут в Доусоне. Не держите их в теплом месте. Люсиль просит передать вам, что мы все вместе хорошо встряхнули Доусон. А за выпивку, по-моему, должны платить вы.

С совершенным почтением ваш друг
У. У.

— Ну-с? Что ты скажешь? — поинтересовался Смок. — Мы, разумеется, примем приглашение.

— Одно я скажу, — ответил Малыш. — Уайльд Уотер не пропадет, если разорится. Он чудесный

актер — чертовски хороший актер. И еще скажу — моя арифметика никуда не годится. Уайльд Уотер заработал не только свои семнадцать тысяч, но и еще кое-что почище. Мы с тобой подарили ему все хорошие яйца в Клондайке — девятьсот шестьдесят две штуки, да еще два для ровного счета. При этом у него еще хватило нахальства забрать и те, что лежали в чашке. Но вот что я скажу тебе напоследок: мы с тобой опытные и старые золотоискатели. Но когда дело доходит до финансовых операций, тут мы самые жалкие караси, когда-либо попадавшиеся на приманку быстрого обогащения. После этого нам только и остается, что уйти в пустыню; и если ты когда-нибудь заговоришь при мне о яйцах, я тебе больше не компаньон. Понял?

Ферма Тру-Ля-Ля

I

Смок и Малыш встретились на углу у салуна «Элькгорн». Лицо Смока было довольное, и шел он бодрой походной. Малыш же плелся с самым подавленным видом.

— Куда? — приветствовал его Смок.

— Будь я проклят, если знаю, — последовал мрачный ответ. — Сам очень хотел бы знать. Совершенно некуда деться. Два часа резался в карты, как очумелый, — и хоть бы что! Никакого ощущения. Остался при своих. Сыграл партию в криббедж со Скифом Митчелом на выпивку, и вдруг так захотелось заняться чем-нибудь, что вот выполз на улицу и слоняюсь — может быть, наскочу на собачью грызню, на побоище или что-нибудь в этом роде.

— А у меня есть в запасе кое-что получше, — заметил Смок. — Потому-то я тебя и ищу. Идем.

— Сейчас?

— Немедленно.

— Куда?

— Через реку, проведать старика Дуайта Сэн-

дерсона.

— Это еще кто такой? — угрюмо спросил Малыш. — Мне что-то не приходилось слышать, что на той стороне реки живет кто-нибудь. И чего ради он там поселился? Уж не полоумный ли он?

— Он кое-что продает, — рассмеялся Смок.

— Собак? Золотые копи? Табак?

Смок на каждый вопрос только качал головой.

— Идем со мной — увидишь. Я собираюсь скупить у него его товар и устроить одно дельце. Если хочешь, могу взять и тебя в долю.

— Только не яйца! — возопил Малыш, скорчив тревожную и в то же время саркастическую мину.

— Идем, идем, — успокоил его Смок. — Ты еще успеешь поломать себе голову, пока мы будем перебираться через лед.

Они спустились с высокой дамбы в конце улицы и вышли на покрытый льдом Юкон. Прямо против них, на расстоянии трех четвертей мили, крутыми уступами вздымался противоположный берег. Кое-как протоптанная дорога вела к этим уступам, извиваясь между развороченными и нагроможденными друг на друга глыбами льда. Малыш плелся вслед за Смоком, развлекаясь догадками относительно коммерческих операций

Дуайта Сэндерсона.

— Олени? Медные копи? Кирпичный завод? Медвежьи шкуры? Вообще шкуры? Лотерейные билеты? Огород?

— Близко, — подбодрил его Смок.

— Два огорода? Сыроварня? Торфяные разработки?

— Не так плохо, Малыш. Не дальше, чем на тысячу миль.

— Каменоломня?

— Приблизительно так же близко, как торфяные разработки и огород.

— Постой! Дай подумать. Кажется, я начинаю догадываться.

Минут десять царило молчание.

— Слушай, Смок, мне не нравится моя последняя догадка. Если эта штука, которую ты собираешься купить, похожа на огород, на торфяные разработки или на каменоломню, то я больше не играю. Я не войду в дело, пока не увижу собственными глазами и не ощупаю его.

— Не беспокойся, скоро все карты будут открыты. Взгляни-ка вон туда. Видишь дымок над хижиной? Там и живет Дуайт Сэндерсон. У него там земельные участки.

— А еще что?

— Больше ничего, — рассмеялся Смок, — кроме ревматизма. Я слышал, что его страшно мучит ревматизм.

— Слушай! — Малыш протянул руку и, вцепившись в плечо своего спутника, заставил его остановиться. — Уж не хочешь ли ты сказать мне, что собираешься купить в этой гнусной трущобе земельный участок?

— Это твоя десятая догадка. И на этот раз ты угадал. Идем!

— Подожди минуту, — взмолился Малыш. — Посмотри кругом. Ведь тут нет ничего, кроме уступов и обрывов. Где же тут строиться?

— А я почем знаю?

— Стало быть, ты покупаешь землю не под ферму?

— Но Дуайт Сэндерсон ни подо что другое не продает ее, — ухмыльнулся Смок. — Идем. Нам придется вскарабкаться на этот обрыв.

Обрыв был очень крутой; узкая тропинка вилась по нему зигзагами, как огромная лестница Иакова. Малыш хныкал, причитал и возмущался из-за острых уступов и крутых ступеней.

— Придумал тоже уголок для фермы! Да тут не найдется ровного места даже для почтовой марки! И к тому же берег не годится. Все грузы

идут по другой стороне. Посмотри-ка на Доусон. Там еще для сорока тысяч жителей хватит места. Слушай, Смок, я знаю: ты покупаешь эту землю не под ферму. Но скажи мне, ради Бога, для чего ты ее покупаешь?

— Чтобы продать, разумеется.

— Но ведь не все же такие сумасшедшие, как ты и старик Сэндерсон.

— Все — сумасшедшие по-своему, Малыш. Словом, я намерен купить эту землю, разбить ее на участки и продать множеству нормальных людей, проживающих в Доусоне.

— Ой! И так уж весь Доусон смеется над нами из-за яиц. Ты хочешь, чтобы он смеялся еще больше, а?

— Вот именно!

— Но это чертовски дорого стоит, Смок! Я помог тебе развеселить людей яичной историей, и моя доля смеха обошлась мне приблизительно в девять тысяч долларов.

— Чудесно! Можешь не входить в долю. Я положу себе всю прибыль в карман, но тебе все равно придется помогать мне.

— Разумеется! Помогать я буду. Пусть надо мной посмеются еще раз. Но денег я не дам ни копейки. Сколько старик Сэндерсон хочет за свой

товар? Сотни две?

— Десять тысяч. Надо сторговаться за пять.

— Хотел бы я быть пастором, — вздохнул Малыш.

— Чего ради?

— Я бы произнес красноречивую проповедь на небезызвестную тебе тему: глупому сыну не в помощь богатство.

— Войдите, — послышался раздраженный возглас Дуайта Сэндерсона, когда они постучались в дверь хижины.

Они вошли. Старик сидел на корточках у каменного очага и толок кофейные зерна, завернутые в кусок грубой холстины.

— Что нужно? — спросил он резко, высыпая потолченный кофе в стоявший на угольях кофейник.

— Поговорить о деле, — ответил Смок. — Насколько я знаю, вам принадлежит здесь кусок земли. Что вы за него хотите?

— Десять тысяч долларов, — был ответ. — А теперь можете смеяться и убираться вон. Вот дверь.

— Не имею ни малейшего желания смеяться. Я видал вещи посмешней, чем ваши скалы. Я хочу купить вашу землю.

— Хотите купить? Вот как? Ну что ж, рад слышать разумные речи. — Сэндерсон подошел и уселся перед посетителями, положив руки на стол и не спуская глаз с кофейника. — Я сказал вам свою цену, и мне нисколько не стыдно повторить се. Десять тысяч. Можете смеяться, можете покупать — мне все равно.

Чтобы показать свое равнодушие, он принялся барабанить костяшками пальцев по столу, устремив взгляд на кофейник. Минуту спустя он затянул монотонное «тра-ла-ла — тра-ла-ли — тра-ла-ли — тра-ла-ла».

— Послушайте, м-р Сэндерсон, — сказал Смок. — Этот участок не стоит десяти тысяч. Если бы он стоил десять тысяч, то он с таким же успехом мог бы стоить сто тысяч. А если он не стоит ста тысяч, — а что он их не стоит, вы знаете сам, — то он не стоит и десяти медяков.

Сэндерсон барабанил по столу и бубнил свое «тра-ла-ла — тра-ла-ли», пока не закипел кофе. Вылив в него полчашки холодной воды, он вновь сел на свой стул.

— Сколько вы даете? — спросил он Смока.

— Пять тысяч.

Малыш застонал.

Опять раздался продолжительный стук по

столу.

— Вы не дурак, — объявил Сэндерсон. — Вы сказали, что если моя земля не стоит ста тысяч, то она не стоит и десяти медяков. А между тем даете за нее пять тысяч. Значит, она стоит сто тысяч. Я повышаю мою цену до двадцати тысяч.

— Вы не получите за нее ни одного шиллинга, — в сердцах крикнул Смок, — хотя бы вам пришлось сгнить здесь.

— Нет, получу. И именно от вас.

— Ни гроша не получите!

— Ну что ж, тогда буду гнить здесь, — ответил Сэндерсон, давая понять, что говорить больше не о чем.

Он перестал обращать внимание на гостей и погрузился в свои кулинарные дела с таким видом, словно был один в комнате. Подогрев горшок бобов и лепешки из кислого теста, он поставил на стол один прибор и принялся за еду.

— Нет, спасибо, — пробормотал Малыш, — мы совсем не голодны.

— Покажите ваши бумаги, — не вытерпел наконец Смок.

Сэндерсон порылся под подушкой на своей койке и вытащил связку бумаг.

— Все связано и подобрано, — сказал он. — Вот

эта длинная бумага с большими печатями пришла прямым путем из Оттавы. Здешние власти не имеют ко мне никакого отношения. Само канадское правительство защищает мои права на владение этой землей.

— Сколько участков продали вы за те два года, что владеете этой землей? — осведомился Малыш.

— Не ваше дело! — огрызнулся Сэндерсон. — Нет такого закона, который запрещал бы человеку жить в одиночестве на своей земле, если ему этого хочется.

— Я дам вам пять тысяч, — сказал Смок.

— Не знаю, кто из вас глупее, — жалобно заметил Малыш. — Выйдем на минутку, Смок. Я хочу сказать тебе два слова по секрету.

Смок неохотно последовал за товарищем.

— Скажи, пожалуйста, — умолял Малыш, когда они вышли на покрытую снегом площадку перед хижиной, — тебе не приходило в голову, что по обе стороны этого идиотского участка на десять миль тянутся скалы, и что они никому не принадлежат, и что ты можешь сделать на них любое количество заявок?

— Они не годятся, — ответил Смок.

— Почему не годятся?

— Тебя интересует, для чего я покупаю именно этот участок, когда кругом тянутся десятки миль такой же земли, не так ли?

— Вот именно, — подтвердил Малыш.

— В этом-то вся суть, — торжествующим тоном продолжал Смок. — Если это интересует тебя, то заинтересует и других. А когда это их заинтересует, они прибегут сюда со всех ног. Ты можешь судить по себе, насколько правилен мой расчет на человеческую психологию. Слушай, Малыш. Я намерен сыграть с Доусоном шутку, которая отобьет у него охоту гоготать над нашим яичным конфузом. Идем в хижину.

— Опять вы? — сказал Сэндерсон, когда они вошли. — А я уже думал, что больше не увижу вас.

— Ну, говорите, какова ваша последняя цена?

— Двадцать тысяч.

— Я даю десять тысяч.

— Ладно, отдаю за десять. Я ведь сначала больше и не хотел. Когда вы заплатите?

— Завтра, в Северо-западном банке. Но за эти десять тысяч вы должны сделать еще две вещи. Во-первых, когда вы получите деньги, вы отправитесь вниз по реке до Сороковой Мили и останетесь там до конца зимы.

— Это нетрудно. Что еще?

— Я заплачу вам двадцать пять тысяч, и вы вернете мне пятнадцать.

— Согласен. — Сэндерсон повернулся к Малышу. — Меня называли дураком, когда я перебрался на этот берег, — ухмыльнулся он. — Ну что ж, я теперь дурак с десятью тысячами в кармане.

— Клондайк полон дураков, — только и мог ответить Малыш, — а раз их так много, то должно же хоть одному из них повезти. Как по-вашему?

II

На следующее утро состоялась официальная передача земли Дуайта Сэндерсона, «именуемой отныне поселком Тру-ля-ля» согласно поправке, внесенной Смоком в контракт. В тот же день кассир Северо-западного банка отвесил двадцать пять тысяч золотым песком из вклада Смока; с полдюжины досужих зрителей заметили вес, сумму и личность получателя.

В лагерях золотоискателей люди крайне подозрительны. Любой непредвиденный и не сразу объяснимый поступок наводит на мысль о находке новой золотоносной жилы — будь то невиннейшая охота на оленя или ночная прогулка человека, захотевшего полюбоваться северным сиянием. И как только стало известно,

что такая заметная личность, как Смок Беллью, выплатил старику Дуайту Сэндерсону двадцать пять тысяч долларов, Доусону нестерпимо захотелось узнать, за что именно заплачены эти деньги. Какое имущество, стоящее двадцать пять тысяч, могло быть припрятано у Дуайта Сэндерсона, умиравшего от голода на своем заброшенном участке. Не находя ответа, Доусон имел все основания интересоваться Смоком.

К полудню весь город уже знал, что множество доусонских жителей заготовили легкие походные тюки и припрятали их в различных салунах на Главной улице. Куда бы Смок ни шел, множество взглядов повсюду провожали его. О том, как серьезно относятся все к нему, свидетельствовало то обстоятельство, что никто из многочисленных знакомых не позволил себе расспрашивать его о сделке с Дуайтом Сэндерсоном. С другой стороны, никто не упоминал и о яйцах. Таким же дружеским, деликатным вниманием был окружен и Малыш.

— У меня такое чувство, точно я убил кого-нибудь или болен оспой. Они смотрят на меня во все глаза и боятся заговорить, — признался Малыш, случайно встретившись со Смоком у дверей «Элькгорна». — Взгляни-ка на Билла Солтмена…

Вот он идет по той стороне улицы. Он прямо умирает от желания посмотреть на нас, а заставляет себя смотреть вниз. Поглядишь на него, так скажешь, будто он вовсе нас и не знает. А я вот готов держать пари на выпивку, что если мы с тобой завернем за угол и сделаем вид, словно спешим куда-нибудь, а потом вынырнем из-за следующего угла, то мы столкнемся с ним нос к носу — он побежит за нами, как помешанный.

Они проделали этот опыт и, выйдя из-за следующего угла, столкнулись с Солтменом, мчавшимся во весь опор.

— Алло, Билл, — приветствовал его Смок, — куда путь держите?

— Алло. Так себе — гуляю, — ответил Солтмен. — Погодка, знаете ли, чудесная.

— Ха-ха! — закатился Малыш. — Если вы это называете «гулять», то что же вы называете «бежать сломя голову»?

Когда Малыш в этот вечер кормил собак, он твердо знал, что из окружающей его тьмы дюжина глаз следит за каждым его движением. А когда он привязал собак, вместо того чтобы отпустить их на ночную прогулку, он почувствовал, что окончательно разжег любопытство Доусона.

Согласно программе Смок поужинал в городе,

а потом предался невинным развлечениям. Куда бы он ни заходил, повсюду был центром внимания; поэтому Смок нарочно появлялся во всех людных местах. Стоило ему зайти в какой-нибудь салун, как там немедленно собиралась толпа, а с его уходом салун тотчас же пустел. Смок покупал пригоршню фишек, садился за пустующий стол с рулеткой, и не проходило пяти минут, как вокруг него толпились уже десятки игроков. Он до некоторой степени расквитался с Люсиль Эрол, зайдя в зал оперного театра и с шумом выйдя из него как раз в тот момент, когда она запела свою популярнейшую песенку. В три минуты две трети зрителей улетучились из театра вслед за Смоком.

В час ночи он появился на необычно оживленной Главной улице и направился к холму, на котором стояла его хижина. Остановившись у подножия холма, он услышал у себя за спиной топот множества мокасинов.

В течение часа хижина была погружена в темноту; потом он зажег свечу и, прождав ровно столько времени, сколько нужно человеку для того, чтобы одеться, вместе с Малышом вышел и стал запрягать собак. Как только луч света, вырвавшийся из хижины, упал на них, где-то

поблизости раздался тихий свист. Точно такой же свист донесся и от подножия холма.

— Слушай, слушай! — хихикнул Смок. — Они оцепили нас и теперь сигнализируют. Я готов держать пари, что сейчас в Доусоне не менее сорока человек вылезают из-под одеял.

— С ума они спятили, что ли? — задохнулся Малыш от смеха. — Слушай, Смок, ведь тут нет никакого жульничества. Работать теперь своими руками да ломать спину было бы совсем глупо. Мир доверху набит дураками, и каждый дурак до смерти хочет, чтобы его избавили от его золота. Вот что: пока мы не тронулись, я хочу заявить тебе, что если ты ничего не имеешь против, я вхожу в половинную долю.

Сани были нагружены необходимыми спальными принадлежностями и продовольствием. Из-под мешков с продовольствием с самым невинным видом выглядывал небольшой моток стальной проволоки, а на дне саней лежал наполовину прикрытый заступ.

Малыш погладил проволоку рукой в рукавице и нежно прикоснулся к заступу.

— Да, — прошептал он. — Я бы и сам, пожалуй, призадумался, если бы увидел темной ночью в чьих-нибудь санях эти штучки.

Они погнали собак вниз по холму, сохраняя полное молчание; спустившись на равнину, они свернули на север, выехали на Главную улицу, миновали деловую часть города и направились к лесопилке, принимая тысячи мер предосторожности. Никто не встретился им на пути, и все же, как только они переменили направление, за их спиной раздался свист. Проехав с большой скоростью мимо лесопилки и госпиталя, они около четверти мили ехали прямо. Потом повернули и двинулись обратно тем же самым путем. Проехав сто ярдов, они чуть было не налетели на пятерых людей, бежавших им навстречу. Все пятеро были нагружены походными мешками. Один из них остановил собаку-вожака в упряжке Смока, остальные тотчас же оцепили сани.

— Вам навстречу не попадались сани? — раздался вопрос.

— Нет, — ответил Смок, — это вы, Билл?

— О черт! Будь я проклят, если это не Смок! — воскликнул Билл Солтмен с самым неподдельным изумлением.

— Что вы тут делаете ночью? — поинтересовался Смок. — Гуляете?

Прежде чем Билл Солтмен ответил, к ним подбежали еще два человека, за ними еще несколько,

а топот ног по снегу возвестил о приближении целой толпы.

— Кто это с вами? — спросил Смок.

Не отвечая на вопрос, Солтмен закурил трубку, которая навряд ли могла доставить ему удовольствие после такого стремительного бега. Было совершенно очевидно, что он нарочно зажег спичку, чтобы разглядеть содержимое саней. Смок заметил, что глаза всех присутствующих устремились на моток проволоки и на заступ. А потом спичка погасла.

— Дошли до меня слухи, знаете ли… Так себе — слухи и ничего больше, — промямлил Солтмен с сосредоточенным и таинственным видом.

— Может, вы поделитесь со мной и Малышом? — спросил Смок.

Раздался чей-то саркастический смешок.

— Куда вы держите путь? — спросил Солтмен.

— А вы кто такие? — отпарировал Смок. — Комитет безопасности?

— Мы так только… интересуемся, — сказал Солтмен.

— Разумеется, мы интересуемся, — раздался из тьмы еще чей-то голос.

— Послушайте, — вмешался Малыш, — мне страшно хочется знать, кто тут самый сумасшед-

ший.

Все нервно засмеялись.

— Поехали, Малыш! Нам некогда, — сказал Смок, подстегивая собак.

Толпа сомкнулась за санями и двинулась вслед за ними.

— Послушайте, а не ошибаетесь ли вы? — поддразнил Малыш. — Когда мы повстречались с вами, вы все куда-то шли, а теперь возвращаетесь, нигде не побывав. Может, вы путеводитель потеряли?

— Идите вы к черту, — любезно предложил Солтмен. — Мы идем, куда нам нравится. И нам не нужны путеводители.

И сани Смока с Малышом у шеста выехали на Главную улицу под конвоем шестидесяти человек, нагруженных походными мешками. Произошло это в три часа ночи, так что одни ночные гуляки видели процессию и смогли поведать о ней на следующий день Доусону.

Спустя полчаса сани взобрались на холм. Собак распрягли у дверей хижины на глазах у шестидесяти свидетелей, сумрачно ожидавших продолжения.

— Спокойной ночи, ребята, — крикнул Смок, закрывая дверь.

Через шесть минут свеча погасла, а еще через полчаса Смок и Малыш тихонько выскользнули из хижины и, не зажигая света, стали запрягать собак.

— Алло, Смок! — сказал Солтмен, подойдя к ним так близко, что они могли разглядеть его силуэт.

— Простите, Билл, не могу пожать вам руку, — любезно ответил Смок. — Где же ваши друзья?

— Пошли промочить горло. А меня оставили присматривать за вами, Смок, что я и намерен делать. Ну так как же, Смок? Что вы задумали? Допустим, что вы не можете пожать нам руку, но почему бы вам не посвятить нас в дело? Ведь мы — ваши друзья. Вы это знаете.

— Иной раз можно посвящать друзей в свои дела, а иной раз и нельзя, — увильнул Смок. — В данном случае как раз нельзя, Билл. Идите-ка лучше спать. Спокойной ночи.

— О спокойной ночи и речи быть не может, Смок. Вы плохо знаете нас. Мы люди цепкие.

Смок вздохнул.

— Ну что ж, Билл, если уж вы уперлись, то, я знаю, вас не переубедишь. Трогай, Малыш, довольно копаться.

Как только сани тронулись, Солтмен пронзительно свистнул и бросился за ними вслед. От

подножия холма и по всей равнине раздался ответный свист. Малыш правил санями, а Смок и Солтмен шли подле, бок о бок.

— Слушайте, Билл, — сказал Смок. — Я хочу предложить вам кое-что. Хотите один принять участие в деле?

Солтмен не колебался ни одной секунды.

— И предать товарищей? Нет, сударь. Все примут участие.

— Тогда начнем с вас! — крикнул Смок. Он быстро согнулся, обхватил Солтмена и бросил его в глубокий придорожный снег.

Малыш прикрикнул на собак и погнал упряжку на юг, по дороге, которая вела от разбросанных по пологому склону хижин к окраине Доусона. Смок и Солтмен катались по снегу, вцепившись друг в друга. Смок думал, что все шансы на его стороне, но у Солтмена оказалось на пятьдесят фунтов больше хорошо тренированных мускулов. Раз за разом опрокидывал он Смока на спину, и каждый раз Смок не делал никаких попыток встать и лежал спокойно. Но как только Солтмен пытался оторваться от него и уйти, Смок хватался за него и начиналась новая свалка.

— Вы свое дело знаете, — признался Солтмен минут через десять. Он сидел верхом на Смоке

и тяжело дышал. — Но я все-таки каждый раз укладываю вас.

— А я вас держу, — задыхаясь, ответил Смок. — Мне больше ничего и не надо, лишь бы удержать вас. Как вы думаете, куда отправился Малыш?

Солтмен сделал отчаянную, но безрезультатную попытку освободиться. Смок схватил его за лодыжку, и он вновь растянулся во весь рост. От подножия холма донеслись тревожные, вопросительные свистки. Солтмен приподнялся и ответил пронзительным свистом, но Смок тотчас же схватил его, ткнул лицом в снег и уселся на него верхом, придерживая за плечи и не давая поднять голову. В этой позе их застали золотоискатели. Смок расхохотался и встал.

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он и стал спускаться с холма, преследуемый шестьюдесятью доведенными до белого каления золотоискателями.

Он повернул на север, миновал лесопилку и госпиталь и дошел по руслу реки вдоль отвесных скал до подножия Лосиной Горы. Обойдя индейский поселок, он остановился у устья Лосиного ручья, повернулся и оказался лицом к лицу с преследователями.

— Вы мне надоели, — сказал он, делая вид, что

рассвирепел.

— Мы вам не навязываемся, — вежливо пробормотал Солтмен.

— Нет, нисколько, — прорычал Смок, еще лучше имитируя гнев, и вернулся под усиленным конвоем в Доусон.

Два раза пытался он свернуть на девственную пелену снега, покрывавшего реку, и оба раза принужден был отказываться от своей затеи и возвращаться на тропинку, которая вела к берегу Доусона. Он вышел на Главную улицу, прошел ее всю, перебрался по льду, сковывавшему реку Клондайк, в Клондайк-сити и вновь вернулся в Доусон. В восемь часов, когда уже забрезжил рассвет, он усталой походкой направился в ресторан Славовича, где столики брались с бою.

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он, заплатив по счету и уходя.

То же самое пожелание он повторил, взобравшись на холм. Был уже день, и никто больше не преследовал его; толпа проводила его взглядами до дверей хижины и разошлась.

III

Два дня Смок слонялся по городу, окруженный неусыпным наблюдением. Малыш исчез вместе

с санями и собаками. Его не было видно ни на Юконе, ни на Бонанзе, ни в Эльдорадо, ни во всем Клондайке. Оставался один Смок, который рано или поздно неизбежно должен был сделать попытку связаться со своим пропавшим компаньоном; и на Смоке сосредоточилось всеобщее внимание. Вечером второго дня он заперся в своей хижине, в девять часов потушил свет и завел будильник на два часа утра. Часовой, стоявший у дверей хижины, услышал звон будильника, и когда, получасом позже, Смок вышел из хижины, его поджидали уже не шестьдесят, а человек триста. Яркое северное сияние освещало дикообразную сцену: Смок под усиленным конвоем спустился в город и проследовал в «Элькгорн». Салун тотчас же наполнился возбужденной, сгорающей от любопытства толпой, которая четыре томительных часа смотрела, как Смок играет в криббедж со своим старинным приятелем Брэком. В начале седьмого Смок покинул «Элькгорн» и с выражением одновременно презрения и насмешки на лице, ни на кого не глядя, никого не узнавая, пошел вверх по Главной улице; толпа в триста человек последовала за ним, сбившись в кучу и завывая:

— Хромоногий! Колченогий! Улю-лю-лю!

— Спокойной ночи, ребята, — сказал он, дойдя до дамбы, где начиналась тропа через скованный льдом Юкон. — Я иду завтракать, а потом завалюсь спать.

Триста глоток ответили ему, выразив свою готовность следовать за ним; толпа спустилась на лед и, предводительствуемая Смоком, направилась к Тру-ля-ля. В семь часов утра они взобрались на извилистую тропинку, миновали крутые утесы и подошли к хижине Дуайта Сэндерсона. В окно, заклеенное пергаментом, пробивалось мерцание свечи, а из трубы вился дымок. Малыш широко распахнул дверь.

— Заходи, Смок, — приветствовал он товарища. — Завтрак готов. А это что за люди?

Смок обернулся на пороге.

— Ну, спокойной ночи, ребята. Надеюсь, прогулка доставила вам удовольствие.

— Подождите минутку, Смок, — крикнул Билл Солтмен голосом, в котором звучало разочарование. — Я хочу сказать вам два слова.

— Жарьте, — приветливо ответил Смок.

— За что вы заплатили старику Сэндерсону двадцать пять тысяч? Можете сказать?

— Вы меня огорчаете, Билл, — ответил Смок. — Я перебрался сюда, так сказать, на летние кани-

кулы, а вы являетесь ко мне с целой бандой и пытаетесь устроить мне перекрестный допрос, когда я только и думаю о тишине, спокойствии и завтраке.

— Вы не отвечаете на вопрос, — возразил Солтмен.

— И не отвечу, Билл. То, о чем вы меня спрашиваете, — мое частное дело с Дуайтом Сэндерсоном. Еще какие-нибудь вопросы?

— А зачем понадобились заступ и стальная проволока, которые лежали в ваших санях?

— Не ваше дело, почтеннейший и дражайший Билл. Впрочем, если Малыш хочет, он может ответить вам.

— Это я-то? — воскликнул Малыш, выскочив из хижины. Он раскрыл рот, потом задумался и повернулся к своему компаньону. — Между нами говоря, Смок, я не думаю, чтобы это было их дело. Идем в хижину. А то из кофе вся душа выкипит.

Дверь захлопнулась, и толпа в триста человек разбилась на растерянные, ропщущие кучки.

— Знаешь, Солтмен, — раздался чей-то, голос, — я думал, что ты откроешь нам секрет.

— Никогда я не обещал этого, — яростно ответил Солтмен. — Я говорил, что это сделает Смок.

— Ну, и…

— Вы знаете столько же, сколько я. Все мы знаем, что Смок здесь что-то выискал. Иначе — с какой радости стал бы он платить Сэндерсону двадцать пять тысяч? Уж во всяком случае не за этот поганый участок!

Дружный крик поддержал Солтмена.

— Ну, хорошо, а что теперь нам делать?

— Я, например, пойду завтракать, — беззаботно сказал Уайльд Уотер Чарли. — Вы завели нас в тупик, Билл.

— А я при чем тут? — огрызнулся Солтмен. — Во всем виноват Смок. Да и не в этом дело. А вот как насчет двадцати пяти тысяч?

IV

В половине девятого, когда уже окончательно рассвело, Малыш приоткрыл дверь и выглянул наружу.

— Ого! — воскликнул он. — Все до одного вернулись в Доусон. А я думал, что они тут разобьют лагерь.

— Не беспокойся — приползут обратно, — заверил его Смок. — Будь я не я, если ты не увидишь здесь половину доусонских жителей прежде, чем мы управимся. Ну, а теперь иди сюда и помоги мне. Надо будет работать.

— Ради Бога, дай отдышаться! — взмолился Малыш через час, созерцая плоды их работы — стоящий в углу хижины ворот с приводным ремнем, обвивающим вал.

Смог слегка налег на ворот — ремень скользнул и заскрипел.

— Выйди из хижины, Малыш, и скажи, на что похож этот звук.

Стоя у закрытой двери, Малыш услышал скрипение ворота, поднимающего груз, и поймал себя на том, что невольно определяет глубину ямы, из которой этот груз извлекается. Затем последовала остановка, и он мысленно представил себе ведро, раскачивающееся под самым воротом. Потом зашуршала быстро разматываемая веревка, и наконец раздался глухой удар ведра о дно ямы. Он распахнул дверь и ворвался в хижину с сияющим лицом.

— Замечательный звук! — воскликнул он. — Я чуть было сам не поверил. Ну, а что дальше?

Дальше в хижину втащили с десяток мешков, набитых камнями. А в течение дня, посвященного лихорадочной работе, последовало еще множество «дальше».

— Сегодня же вечером ты переправишься на собаках в Доусон, — напутствовал Смок Малыша

после ужина. — Собак оставишь у Брэка; он о них позаботится. Там будут следить за каждым твоим шагом, так что ты никуда сам не ходи, а пошли Брэка в магазин А. С. Company купить весь динамит, который там есть, — двести-триста фунтов. И пусть Брэк закажет у кузнеца штук шесть сверл для твердого камня. Брэк — парень с головой; он объяснит кузнецу в общих словах, какой товар нужен. Дай Брэку точное описание участка, чтобы он мог зарегистрировать его завтра у приискового инспектора. А в десять часов будь на Главной улице и прислушивайся. Запомни — я не хочу, чтобы взрывы были слишком громкими: Доусон должен услышать их, но не больше чем услышать. Я устрою три взрыва, с разным количеством динамита, а ты заметь себе, который из них будет больше всего похож на настоящий.

В десять часов вечера Малыш бродил по Главной улице, чувствуя на себе сотни любопытных взглядов, и прислушивался. И вот он услышал очень слабый и отдаленный звук взрыва. Через полминуты раздался второй, достаточно громкий, чтобы привлечь к себе внимание прохожих. А потом последовал и третий — такой сильный, что все обитатели Доусона высыпали на улицу.

— Ну и дал же ты им встряску! — задыхаясь,

воскликнул Малыш часом позже, когда добрался до хижины на Тру-ля-ля. Он схватил Смока за руку. — Посмотрел бы ты на них! Случалось тебе когда-нибудь наступить на муравейник? Так точно выглядел Доусон! Главная улица кишела народом, когда я проходил по ней. Завтра тут яблоку негде будет упасть. Если и сейчас кто-нибудь не ползет сюда, то я не знаю, что такое золотоискатель.

Смок усмехнулся, подошел к самодельному вороту и раза два повернул его — ворот заскрипел. Малыш вытащил мох из щелей между бревнами, из которых были сколочены стены, и устроил два глазка по обе стороны хижины. Потом потушил свечу.

— Начинай, — шепнул он через полчаса.

Смок несколько минут медленно вращал ворот, потом остановился, достал оцинкованное ведро, наполненное землей, и с треском опустил его на кучу камней, доставленных в хижину накануне. Потом он закурил, прикрывая огонек спички рукой.

— Их трое, — прошептал Малыш. — Эх, если бы ты их видел! Знаешь, когда ты загрохотал ведром, они прямо-таки затряслись. А теперь один из них стоит у окна и пытается заглянуть внутрь.

Смок раскурил сигарету и взглянул на часы.

— Надо делать это регулярно, — шепнул он. — Мы будем поднимать каждые четверть часа по ведру. А тем временем…

Он тщательно завернул камень в холстину и ударил по нему долотом.

— Великолепно! — застонал Малыш, умирая от восторга. Он бесшумно отполз от глазка. — Все трое, голова к голове — я почти вижу, как они разговаривают.

И с этого момента до четырех часов утра они каждые четверть часа поднимали по пустому ведру при помощи ворота, который скрипел, вращался вокруг своей оси и не поднимал ничего. Потом ночные гости удалились, и Смок с Малышом легли спать.

Когда рассвело, Малыш осмотрел следы мокасинов.

— Один из них был верзила Билл Солтмен, — решил он.

Смок кинул взгляд на реку.

— Принимай гостей! Два человека идут по льду.

— Вот-вот! А ты посмотри, что будет в девять часов, когда Брэк зарегистрирует нашу заявку. Сюда набьется не меньше двух тысяч человек.

Малыш взобрался на верхушку крутого утеса и взглядом знатока окинул ряд установленных ими заявочных столбов.

— Самая настоящая жила, комар носу не подточит, — сказал он. — Человек опытный, пожалуй, мог бы даже указать ее направление под снегом. Собьет с толку кого угодно. Спереди она скрыта скалой, а вон сбоку разветвляется. Ну, впрямь жила, с той только разницей, что она не настоящая.

Когда те двое, что перешли реку, взобрались по извилистой тропинке на откос, они нашли хижину запертой. Билл Солтмен, шедший впереди, на цыпочках подошел к двери, прислушался, потом поманил Уайльда Уотера. Изнутри доносились скрип и скрежет ворота, поднимающего тяжелый груз. Они дождались остановки, а затем услышали, как веревка размоталась обратно и как ведро вновь стукнулось о камни. Четыре раза в течение часа слышали они этот звук. И, наконец, Уайльд Уотер постучал в дверь. Изнутри донесся какой-то приглушенный шум, потом наступило молчание, затем снова что-то зашумело, и через пять минут Смок, тяжело переводя дыхание, приотворил дверь не более чем на вершок и выглянул наружу. Его лицо и рубаха были осыпаны каменной пылью. Он приветствовал посетителей

с подозрительным радушием и прибавил:

— Подождите минутку, сейчас я к вам выйду.

Он натянул рукавицы, протиснулся в дверь и подошел к посетителям. Зоркие глаза последних заметили, что рубаха его вылиняла и запылилась на плечах и что на коленях брюк видны следы наспех очищенной грязи.

— Рановато вы явились с визитом, — заметил он. — Ну, что хорошего на том берегу?

— Ну, Смок, — сказал Уайльд Уотер конфиденциальным тоном, — будьте откровенны. У вас тут что-то есть.

— Если вы насчет яиц… — начал Смок.

— Ах, да забудьте вы про яйца! Мы пришли по делу.

— Стало быть, вы хотите купить участок земли? — затараторил Смок. — Тут есть замечательные места для построек. Но мы, знаете ли, пока не можем приступить к продаже. Мы еще не произвели разбивки. Наведайтесь на той неделе, Уайльд Уотер, и я покажу вам чудесный, в смысле тишины и спокойствия, участок, если вы серьезно задумали перебраться сюда. На той неделе разбивка наверное будет кончена. Будьте здоровы. Жаль, что я не могу пригласить вас в хижину, но Малыш… вы ведь знаете его, — он

ужасный чудак. Затвердил себе, что живет здесь ради тишины и спокойствия. Теперь он спит, и мне бы очень не хотелось будить его.

С этими словами Смок горячо пожал им руки. Не переставая болтать, он шагнул через порог и запер дверь.

Посетители посмотрели друг на друга и покачали головой.

— Штаны видел? — хрипло прошептал Солтмен.

— Видел. И плечи тоже. Он копался в яме. — Уайльд Уотер окинул взглядом занесенное снегом ущелье и вдруг увидел нечто такое, что заставило его присвистнуть.

— Ну-ка, взгляни туда, Билл! Вон туда, куда я показываю пальцем. Ведь это же разведочная шахта! А по сторонам-то… видишь там, где на снегу следы от их ног. Если это не подпорки, то я вообще не знаю, что такое подпорки. Это жила, теперь все ясно!

— А ты посмотри, какая она огромная! — воскликнул Солтмен. — Они наскочили на жилу, бьюсь об заклад!

— Обрати внимание на откос. Скалы-то какие! Все сползают в расщелины. Все ущелье — сплошная залежь!

— А ты взгляни на реку, на тропинку, — вздохнул Солтмен. — Похоже, что сюда прет весь Доусон, как по-твоему?

Уайльд Уотер увидел, что вся дорога вплоть до дамбы в Доусоне усеяна людьми. На самой дамбе тоже кишел народ.

— Как тебе будет угодно, а я пойду, взгляну на эту разведочную шахту, прежде чем соберется народ, — сказал он и, повернувшись, побежал к ущелью.

Но тут распахнулась дверь хижины, и на пороге появились оба хозяина.

— Эй, вы! — крикнул Смок. — Куда вы идете?

— Выбрать себе участок, — откликнулся Уайльд Уотер. — Посмотрите на реку. Весь Доусон бежит покупать участки, и мы хотим перебить у них лакомый кусочек. Так, Билл?

— Вот именно, — подтвердил Солтмен. — Тут есть все данные для постройки прекрасного поселка. И населения в нем будет, по-видимому, чертовски много.

— Все это так, но мы не продаем участков в том районе, куда вы идете, — ответил Смок. — Участки под застройку направо и вверх по скалам. А этот кусок, от реки до ущелья, мы покамест придержим. Поворачивайте!

— А мы облюбовали как раз эту землю, — вызывающе сказал Солтмен.

— Она не для вас, говорю я вам, — резко ответил Смок.

— И против прогулки вы тоже возражаете? — настаивал Солтмен.

— Решительно! Ваши прогулки начинают надоедать мне. Идите обратно!

— А я полагаю, что мы все-таки прогуляемся туда, — бросил Солтмен. — Идем, Уайльд Уотер!

— Предупреждаю вас, вы нарушаете закон! — сказал Смок резким тоном.

— Нет, мы просто гуляем, — беспечно крикнул Солтмен и, повернувшись, двинулся дальше.

— Эй, остановитесь, Билл, не то я продырявлю вам шкуру! — прогремел Малыш, выхватывая два мрачного вида 44-калибровых револьвера и взводя курки. — Сделайте-ка еще один шаг, и я просверлю ваш проклятый костяк в одиннадцати местах. Поняли?

Солтмен остановился, пораженный.

— Кажется, начинает понимать, — шепнул Малыш Смоку. — Но если он не послушается, то я здорово влопался. Не могу же я стрелять! Что делать?

— Слушайте, Малыш, будьте благоразумны, —

взмолился Солтмен.

— Идите сюда, и мы потолкуем, как благоразумные люди, — ответил Малыш.

Когда первые участники похода осилили извилистую тропинку и взобрались на скалу, они все еще толковали, как благоразумные люди.

— Нельзя называть человека нарушителем закона только за то, что он хочет выбрать себе участок, — доказывал Уайльд Уотер, а Малыш возражал:

— Но эта земля — частная собственность, и этот участок — тоже частная собственность, вот и все. Он не продается, говорю я вам…

V

— Ну, надо кончать. Самое время, — шепнул Смок Малышу. — Если у них лопнет терпение…

— У тебя, по-видимому, железные нервы, если ты надеешься удержать их, — шепотом ответил Малыш. — Их тут две тысячи, и народ все прибывает. Они ежесекундно могут прорвать линию.

Демаркационная линия пролегала по краю ущелья; она образовалась благодаря тому, что Малыш задержал первых прибывших как раз на этом месте и преградил им дальнейший путь. В толпе находилось человек шесть из северо-запад-

ной полиции во главе с лейтенантом, с которым Смок стал совещаться вполголоса.

— Из Доусона все еще идет народ, — сказал он. — Скоро тут будет тысяч пять. Больше всего я боюсь того момента, когда они бросятся ставить заявочные столбы. Ведь тут только пять участков. Это значит, что на каждый участок придется по тысяче человек. И, кроме того, четыре тысячи из пяти бросятся на ближайший. Все это совершенно недопустимо; если начнется драка, трупов будет больше, чем за все время существования Аляски. К тому же эти пять заявок зарегистрированы только сегодня утром, так что брать их еще нельзя. Короче говоря, драка недопустима.

— Совершенно верно, — сказал лейтенант. — Я соберу и расставлю своих людей. Мы не хотим беспорядка и не допустим его. А еще лучше будет, если вы поговорите с ними.

— По-видимому, произошла какая-то ошибка, братцы, — громогласно начал Смок. — Мы еще не все приготовили для продажи участков. Улицы еще не разбиты. Продажа начнется на той неделе.

Вопли нетерпения и негодования прервали его речь.

— На черта нам земельные участки? — рявкнул

какой-то юный старатель. — Мы пришли за тем, что под землей!

— Откуда же мы можем знать, что у нас под землей? — ответил Смок. — Мы знаем только, что купили чудесную землю на вершине холма.

— Вот именно, — подтвердил Малыш. — Замечательно живописный и спокойный уголок.

Снова раздались нетерпеливые крики. Солтмен выступил вперед.

— Мы пришли застолбить участки, — начал он. — Мы знаем, что вы сделали. Вы поймали кварцевую жилу и застолбили пять участков лентой, вроде как бы для застройки. Только вы промахнулись. Две из ваших заявок фальшивые. Кто такой Сэт Талбот? Никто никогда не слыхал о нем. А между тем вы сегодня утром сделали заявку на его имя. И еще одну вы сделали на имя Гарри Максуэлла. А Гарри Максуэлл сейчас в Ситле. Стало быть, и он отпадает. Две заявки свободны — их можно брать.

— А может, у меня есть от него доверенность, — возразил Смок.

— Никакой доверенности у вас нет, — ответил Солтмен. — А если есть, то покажите нам ее. Так или иначе — мы будем брать эти участки.

Солтмен перешагнул демаркационную линию

и обернулся к толпе, чтобы увлечь ее за собой.

— Стойте! Вы не смеете! — крикнул лейтенант.

— Я поступаю по закону. Вы не согласны? — грозно спросил Солтмен.

— Может, вы и правы, — ответил лейтенант. — Но я не могу позволить и не позволю, чтобы пять тысяч человек бросились на две заявки. Это грозит катастрофой. В этих местах есть один закон — закон северо-западной полиции. Кто осмелится перешагнуть эту черту, будет убит. Вернитесь, Билл Солтмен!

Солтмен неохотно повиновался, но по сгрудившейся толпе пробежал трепет, не предвещавший ничего хорошего.

— Черт побери! — шепнул лейтенант Смоку. — Посмотрите, как они облепили тот утес — точно мухи.

Смок содрогнулся, но все же заставил себя выйти вперед.

— Я буду играть начистоту, ребята. Если вы настаиваете на участках, я, так и быть, продам их вам, по сто долларов за штуку. Можете брать их, как только будет снят план. — Толпа заволновалась, но он повелительным жестом заставил ее успокоиться. — Ни с места! Если вы тронетесь, то погибнут сотни людей.

— Все равно, вы не можете принудить нас, — раздался чей-то голос. — Мы хотим застолбить участки.

— Но ведь тут всего-навсего две спорных заявки, — сказал Смок. — Что останется остальным, когда они будут заняты?

Он вытер лоб рукавом рубашки.

— Пусть все участвуют поровну! — крикнул кто-то.

Толпа громким ревом поддержала это предложение. И никто не догадывался, что сделано оно было человеком Смока, который только и дожидался условного знака.

— Валите все в общий котел! Мы войдем в долю! Вся земля и все, что в ней, будут общими, — продолжал тот же голос. — И ископаемые тоже!

— Да тут нет никаких ископаемых! — заметил Смок.

— Тем более, в общий котел! Мы уж посмотрим!

— Это насилие, братцы! — сказал Смок. — Уж лучше бы вы оставались в Доусоне.

В его голосе звучала такая нерешительность, что толпа бешеным ревом вырвала у него согласие. Солтмен и еще несколько человек в первых рядах пытались протестовать.

— Билл Солтмен и Уайльд Уотер не хотят, чтобы вы входили в долю! — крикнул Смок.

И с этого момента Солтмен и Уайльд Уотер стали самыми непопулярными людьми в Доусоне.

— А как же мы все это устроим? — спросил Смок. — Нам с Малышом контрольный пакет! Мы открыли участок.

— Правильно! — раздался крик.

— Три пятых нам, — предложил Смок, — а на вашу долю, ребята, две пятых. И вам придется заплатить за ваши паи.

— По десять центов за доллар! — раздались крики.

— И чтобы председатель компании лично обходил всех и подносил каждому в отдельности дивиденд на серебряном подносе? — усмехнулся Смок. — Нет, дудки! Вы покупаете две пятых всего пакета, сто долларов номинальных за акцию, — выпускная цена десять долларов. Вот все, что я могу сделать для вас.

— Без крупных капиталов! — крикнул кто-то. Этот возглас выразил общее мнение всех собравшихся.

— Вас тут около пяти тысяч человек; значит, акций будет пять тысяч, — начал вслух высчитывать Смок. — Пять тысяч — это две пятых

от двенадцати тысяч пятисот. Итак, Компания Земельных Участков Тру-ля-ля учреждается с основным капиталом в миллион двести тысяч долларов, распределенным на двенадцать тысяч пятьсот акций по сто долларов номинальных, причем вы, ребята, покупаете пять тысяч акций по выпускной цене, то есть по десять долларов штука. Соглашайтесь или нет — мне безразлично!

Толпа была довольна. Смока-то ведь поймали с поличным — две подложных заявки! Тут же был выбран комитет.

Так была образована Компания Земельных Участков Тру-ля-ля. Комитет отверг предложение о распределении акций в Доусоне на следующий день на том основании, что граждане, не принимавшие участие в походе, стали бы требовать своей доли; и у костра, разведенного на льду у подножия скалы, каждому участнику похода в отдельности была выдана расписка в получении десяти долларов золотым песком, отвешенным надлежащим образом.

В сумерки работа была закончена, и поселок Тру-ля-ля опустел. Остались только Смок и Малыш, которые уселись ужинать и, хихикая, ощупывали мешки с золотом и просматривали

списки пайщиков — в количестве четырех тысяч восьмисот семидесяти четырех человек.

— Подожди! Это еще не все, — заметил Малыш.

— Он придет, — убежденно ответил Смок. — Он — прирожденный игрок, и когда Брэк шепнет ему два-три теплых слова, то его не удержит и разрыв сердца.

Через час раздался стук в дверь, и в хижину вошел Уайльд Уотер в сопровождении Билла Солтмена. Их глаза жадно забегали по хижине.

— Но предположите, что я хочу подписаться на тысячу двести акций, — говорил Уайльд Уотер часом позже. — С остальными пятью тысячами, расписанными сегодня, это составит всего-навсего шесть тысяч двести акций. Так что на вас с Малышом придется шесть тысяч триста. Контрольный пакет останется за вами.

— Но ведь и Биллю тоже кое-что нужно. А мы не хотим отдавать больше, чем пятьсот акций.

— Сколько денег ты хочешь вложить в это дело? — обратился Уайльд Уотер к Солтмену.

— Тысяч пять, скажем.

— Уайльд Уотер, — промолвил Смок, — если бы я не знал вас так хорошо, то я бы не продал вам и одной самой захудалой акции. Как бы там ни было, мы с Малышом больше пятисот штук

не отдадим, и они обойдутся вам по пятьдесят долларов за штуку. Это мое последнее слово. Билл может удовольствоваться сотней, тогда вам останется четыреста штук.

VI

На следующий день Доусон смеялся. Начал он смеяться рано утром, когда Смок подошел к щиту для объявлений, висевшему на стене магазина A. C. Company и прибил лист бумаги. Он еще не успел вколоть последнюю кнопку, как за его спиной уже собрался народ и, читая объявление, надрывался от смеха. Вскоре у щита образовалась толпа в несколько сот человек, и так как не все могли прочесть написанное, то тут же открытым голосованием был избран чтец. В течение дня чтецы сменялись неоднократно, и каждый из них громким голосом читал записку, вывешенную Смоком Беллью. Были люди, которые весь день топтались в снегу и в сотый раз слушали чтение, чтобы хорошенько запомнить во всех подробностях следующий документ:

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУ-ЛЯ-ЛЯ

Каждый пайщик, не желающий пожертвовать десять долларов в пользу Центрального Госпиталя города Доусона, может получить свои деньги лично у Уайльда Уотера Чарли; в случае же отказа последнего от уплаты деньги будут немедленно возвращены Смоком Беллью.

ПРИХОД И РАСХОД

За 4874 акции по 10 долларов 48 740 дол.

Дуайту Сэндерсону за участок Тру-ля-ля 10 000 дол.

На единовременные расходы: динамит, сверла, ворот, регистрация у приискового инспектора и пр. 1000 дол.

Центральному Госпиталю гор. Доусона 37 740 дол.

Итого 48 740 дол.

От Билла Солтмена за 100 акций, приобретенных частным путем по 50 дол. 5000 дол.

От Уайльда Уотера Чарли за 400 акций, приобретенных частным путем по 50 дол. 20 000 дол.

Вознаграждение Биллу Солтмену за его

деятельность в качестве добровольного организатора похода на Тру-ля-ля 3000 дол.

Центральному Госпиталю гор. Доусона 5000 дол.

Смоку Беллью и Джеку Малышу — в полный расчет по сделке с яйцами и в виде возмещения морального ущерба 17 000 дол.

Итого 25 000 дол.

Имеется остаток акций на сумму 7126 долларов. Эти акции, принадлежащие Смоку Беллью и Джеку Малышу, не стоят ничего и могут быть приобретены бесплатно, по первому требованию, любым жителем Доусона, желающим переменить местожительство и насладиться тишиной и уединением в поселке Труля-ля.

Примечание. Тишина и уединение гарантируются в поселке Тру-ля-ля на вечные времена.

Подписи: Смок Беллью, председатель
Джек Малыш, секретарь.

Тайна женской души

I

— А все-таки, я вижу, ты не очень-то спешишь жениться, — заметил Малыш, возобновляя разговор, оборвавшийся несколько минут назад.

Смок не ответил; сидя на краешке мехового одеяла, он опрокинул в снег ворчащую собаку и внимательно обследовал ее лапы. А Малыш, поворачивая перед огнем надетый на палку мокасин, от которого валил пар, пристально всматривался в лицо компаньона.

— Погляди-ка на северное сияние, — продолжал Малыш. — Экое непостоянство! Совсем, как женщина: то она так, то этак, и не поймет, чего ей надо. У самой лучшей женщины ветер в голове, если уж она не совсем дура. И все они настоящие кошки — что большие, что маленькие, красавицы и уродины. А если какая увяжется за мужчиной — ну, считай, за тобой охотится голодный лев или гиена.

И снова красноречие Малыша иссякло. Смок ударил собаку, которая чуть не укусила его за руку, и продолжал осматривать ее израненные,

кровоточащие лапы.

— Фу ты! — опять заговорил Малыш. — Да неужто я не женился бы, если б захотел? А может, меня бы и против моей воли окрутили, но только я всегда удирал, как заяц. Знаешь, Смок, что меня спасало? Хорошее дыхание. Я просто бегу что есть духу. Хотел бы я посмотреть на ту юбку, которая способна меня загонять.

Смок отпустил собаку и тоже повернул перед огнем свои мокрые мокасины, насаженные на палки.

— Придется нам завтра сидеть на месте и шить для собак мокасины, — сказал он наконец. — Этот битый лед совсем искалечил им лапы.

— Нам нельзя оставаться на месте, — возразил Малыш. — На обратный путь у нас не хватит продовольствия, и если мы в самом ближайшем времени не встретим стадо карибу или белых индейцев, то нам придется есть собак. Ну а кто видел этих белых индейцев? Слухи — и ничего больше. Да и как индеец может быть белым? Это все равно что белый чернокожий. Завтра надо непременно двинуться в путь, Смок. Вся местность кругом вымерла. Вот уже неделя как мы даже зайца не видали. Мы должны перебраться из этой мертвой полосы в такое место, где водится дичь.

— Они гораздо лучше побегут, если мы дадим им денек отдохнуть и наденем на них мокасины, — сказал Смок. — Попробуй-ка завтра взобраться на какой-нибудь холм и как следует осмотреться. Мы, по-видимому, скоро выберемся на открытое место. Об этом-то и говорил Лаперль.

— Гм! Лаперль, по собственным его словам, проходил здесь лет десять назад; притом он так обалдел от голода, что едва ли соображал, что кругом него делается. Вспомни, что он рассказывал об огромных флагах, развевающихся на вершинах гор. Понимаешь, до чего он обалдел? Да он и сам признавался, что ни разу не видал белых индейцев. Белых индейцев придумал Энтон. А Энтон протянул ноги за два года до того, как мы с тобой попали в Аляску. Ну что ж, все равно, завтра погляжу. Может, и оленя удастся подстрелить. Как ты насчет того, чтобы соснуть?

II

Все следующее утро Смок провел в лагере, занимаясь шитьем мокасинов для собак и починкой сбруи. В полдень он приготовил обед на двоих, съел свою порцию и стал поджидать Малыша. Через час он надел лыжи и отправился по следам товарища. Дорога вела вверх по руслу ручья,

через узкую котловину, которая вдруг расширялась в оленье пастбище. Впрочем, олени сюда не заглядывали с первого снегопада прошлой осени. Следы Малыша пересекали пастбище и поднимались по пологому склону невысокого холма. Смок поднялся на его вершину и остановился. Следы спускались по другому склону. Первые сосны, росшие на берегу ручья, находились на расстоянии мили. По всей видимости, Малыш миновал их и пошел дальше.

Смок взглянул на часы, вспомнил о надвигающихся сумерках, о собаках и лагере и решил воздержаться от дальнейшего путешествия. Но прежде чем двинуться обратно, он еще раз внимательно осмотрел местность. Весь восточный небосклон был загромождeн зубчатыми, обледенелыми вершинами Скалистых Гор. Вся горная гряда как бы наступала, цепь за цепью, на северо-запад, замыкая вход в равнину, о которой рассказывал Лаперль. Казалось, эти горы сговорились отбросить путника обратно на запад, на Юкон.

До полуночи Смок поддерживал большой костер, чтобы помочь Малышу найти дорогу. А поутру свернул стоянку, запряг собак и, дождавшись полного рассвета, пустился на поиски. В

узком коридоре ущелья собака-вожак, бежавшая впереди, насторожила уши и заскулила, а затем Смок наткнулся на шестерых индейцев, двигавшихся ему навстречу. Они шли налегке, без собак, неся на спине по маленькому тюку с самым необходимым снаряжением. Они окружили Смока и сильно удивили его своим поведением: было очевидно, что индейцы искали именно его. Говорили они на каком-то совершенно непонятном Смоку индейском наречии. Они не были белыми индейцами, но превосходили ростом и весом представителей любого племени, населяющего Юконский бассейн. Пятеро из них были вооружены старинными долгоствольными мушкетами, а в руках у шестого Смок увидел винчестер, в котором тотчас же признал собственность Малыша.

Индейцы, без дальних проволочек, взяли его в плен. Он был безоружен, и ему оставалось только подчиниться. Содержимое его саней было тут же размещено по их тюкам, а ему самому был дан тюк, состоявший из спальных мешков его и Малыша. Собаки были распряжены, и когда Смок запротестовал, один из индейцев знаками пояснил ему, что по этому пути саням не проехать. Смок подчинился неизбежному, зарыл сани в снег на берегу ручья и поплелся вслед за своими

победителями. Они шли через гребень водораздела на север, по направлению к соснам, которые Смок видел накануне вечером.

Первую ночь они провели в покинутом лагере, в котором индейцы стояли, по-видимому, несколько дней назад. Здесь было спрятано немного сушеной лососины и вяленого мяса вроде пеммикана[8]. Все это индейцы уложили в свои мешки. От лагеря тянулись бесчисленные следы лыж; вероятно, их оставили индейцы, захватившие Малыша, решил Смок.

Еще до наступления темноты ему удалось отыскать следы, оставленные более узкими лыжами самого Малыша. Он стал знаками расспрашивать индейцев, и те, утвердительно кивнув, указали на север.

На север показывали они и все последующие дни; на север пролегал их путь, извивавшийся среди лабиринта зубчатых горных вершин. Снежный покров был тут гораздо толще, чем в долине; его приходилось на каждом шагу утаптывать лыжами. Индейцы — сплошь молодые люди — шли легко и быстро, и Смок не мог подавить щекочущее чувство гордости, заметив, что он без

---

[8] notes: 8

Вяленое на солнце мясо, нарезанное узкими и длинными полосками. Способ сохранять мясо, принятый у североамериканских индейцев.

труда поспевает за ними.

Через шесть дней они достигли центрального перевала и осилили его. По сравнению с обступившими его скалами он был не высок, но тем не менее переход через него представлял огромные трудности, а для нагруженных саней был и вовсе немыслим. После пяти дней бесконечных блужданий по лабиринту, опускавшемуся террасами все ниже и ниже, они вышли на открытую холмистую равнину, которую десять лет тому назад нашел Лаперль. Смок понял это с первого взгляда. Был холодный, ветреный день; термометр показывал сорок градусов ниже нуля, и воздух был так прозрачен, что Смок мог видеть на сотню миль вдаль. Куда он ни обращал взгляд, повсюду перед ним расстилалась волнистая равнина. Далеко на востоке Скалистые Горы все еще вздымали к небу свои снежные шапки. На юг и на запад тянулись зубчатые гряды только что пройденных ими отрогов. А в громадной впадине лежала открытая Лаперлем страна — занесенная снеговым покровом, но все же изобилующая в определенное время года дичью и пышно расцветающая летом.

К полудню они спустились по руслу широкого горного потока, миновали погребенные в снегах

ивы и голые осины и, пройдя сосновую рощу, наткнулись на остатки большого, недавно покинутого лагеря. Бросив на него беглый взгляд, Смок решил, что костров в лагере было не меньше четырех-пяти сотен и что, стало быть, здесь стояло племя, насчитывающее несколько тысяч человек. Дорога была так хорошо утоптана недавно прошедшими по ней толпами, что Смок и его стража сняли лыжи и, оставшись в одних мокасинах, ускорили шаг.

Все чаще и чаще сказывалось присутствие дичи. Об этом можно было судить по множеству следов, оставленных волками и рысями, которые не могли бы здесь жить без мяса. Как-то раз один из индейцев издал радостный возглас, указав на открытое снежное поле, сплошь усеянное начисто обглоданными костями карибу; снег был истоптан и взрыт так, словно тут сражалось целое войско. Смок понял, что охотники здесь перебили немало дичи совсем недавно: снег еще не успел засыпать следов пиршества.

Наступили долгие сумерки, но индейцы не проявляли ни малейшего желания сделать привал. Они упорно шли вперед, в сгущающуюся тьму; небосвод был ярко освещен огромными мерцающими звездами, плававшими в зеленоватой

пелене трепетного северного сияния. Первыми почуяли близость жилья собаки Смока. Охваченные смутным волнением, они насторожили уши и заскулили. Вслед за ними и люди услышали дальний рокот, приглушенный расстоянием. Но в рокоте этом не звучала та тихая, мягкая грусть, которая обычно свойственна звукам, доносящимся издалека. Нет, то был какой-то дикий шум, прерывистая смена все более и более резких звуков — протяжный волчий вой волкодавов — вопль тревоги и муки, в котором слышались отчаяние и мятеж. Смок вынул из своих часов стекло и, нащупав пальцами стрелки, установил время: одиннадцать часов. Его спутники ускорили шаг. После томительного двенадцатичасового пути они нашли в себе силы идти еще быстрее, чуть ли не бежать. Пройдя темную сосновую рощу, они внезапно вступили в резко очерченную полосу света, лившегося от множества костров. Теперь шум стал еще сильнее. Перед ними раскинулся огромный лагерь.

Они шли по извилистым тропинкам охотничьего стана, и волна оглушительного шума вставала им навстречу и смыкалась за их спиной: крики, приветствия, вопросы и ответы, шутки, встреченные шутками же, рычание и

щелканье клыков волкодавов, которые ринулись косматыми, яростными шерстяными комками на незнакомых собак Смока, женская брань, смех, детский плач, писк грудных младенцев, стоны больных, разбуженных для новых мук, — весь лагерный пандемониум[9] первобытного, не имеющего представления о нервах народа.

Палками и прикладами ружей спутники Смока отогнали нападавших псов, в то время как его собственные собаки, испуганные таким количеством врагов, рыча и щелкая зубами, жались к ногам своих покровителей.

Они остановились у большого костра, вокруг которого был утоптан снег. Малыш и двое юношей-индейцев сидели перед ним на корточках и жарили куски мяса карибу. Трое других таких же юных индейца вскочили с циновок из сосновых веток, на которых они лежали, закутавшись в меха. Малыш поглядел через костер на своего товарища, но лицо его при этом не дрогнуло и осталось таким же бесстрастным, как у его сотрапезников-индейцев. Он не проронил ни звука и продолжал жарить мясо.

— В чем дело? — несколько раздраженно спро-

---

[9] notes: 9

Пандемониум — собрание всех злых духов; храм, посвященный всем демонам.

сил Смок. — Говорить разучился, что ли?

Старая, знакомая усмешка скользнула по лицу Малыша.

— Нисколько, — ответил он. — Я индеец. Учусь ничему не удивляться. Когда они поймали тебя?

— На другой день после того, как ты ушел.

— Гм! — сказал Малыш, и насмешливый огонек вспыхнул в его глазах. — А вот я себя чувствую прекрасно и бесконечно благодарен тебе. Ты видишь перед собою лагерь холостяков. — Он широким жестом обратил внимание Смока на великолепие обстановки, состоявшей из костра, сосновых циновок, положенных прямо на снег, палаток, сшитых из шкур карибу, и щитов от ветра, сплетенных из сосновых и ивовых ветвей. — А вот и сами холостяки. — Он указал на юношей и издал несколько гортанных звуков на их наречии: индейцы одобрительно сверкнули зубами и белками.

— Они рады познакомиться с тобой, садись и суши твои мокасины, а я тем временем приготовлю чего-нибудь поесть. А здорово я научился болтать по-ихнему, правда? Тебе тоже придется научиться, потому что, как видно, мы проживем здесь довольно долго. Кроме нас, тут есть еще один белый. Ирландец. Они поймали его лет

шесть назад на Большом Невольничьем озере. Зовут его Дэнни Мак-Кен. Устроился здесь, взял себе жену. У них уже двое ребят, но тем не менее он хочет улизнуть, как только представится удобный случай. Видишь вон тот небольшой костер направо? Это его стоянка.

По-видимому, костер Малыша был назначен Смоку как постоянное место жительства, так как конвой покинул его и собак и удалился в глубь лагеря.

Пока Смок приводил в порядок свою обувь и поглощал куски горячего мяса, Малыш не переставал стряпать и болтать.

— Мы здорово влопались, Смок, уж ты мне поверь! И нам надо как следует поднатужиться, чтобы выбраться отсюда. Эти парни — самые что ни на есть доподлинные дикие индейцы. Сами-то они не белые, зато вождь у них белый. Он говорит так, словно рот у него набит горячей кашей, и если он не чистокровный шотландец, то на свете вообще не существует тех, кого именуют шотландцами. Он — верховный вождь всей оравы. Слово его — закон. Это ты должен запомнить с самого начала. Дэнни Мак-Кен вот уже шесть лет пытается удрать от него. Дэнни — парень не промах и все-таки никак не может обмануть его.

Дэнни знает лазейку — нашел ее как-то на охоте — к западу от той дороги, по которой пришли мы с тобой. Но у него не хватает храбрости удрать в одиночку. Втроем мы, пожалуй, могли бы рискнуть. Бородач сколочен из крепкого дерева, но у него голова не совсем в порядке.

— Кто такой Бородач? — осведомился Смок, на минуту переставая есть.

— Бородач? Главный заправила. Это тот самый шотландец. Он становится стар и сейчас, наверное, уже спит. Но завтра он непременно придет посмотреть на тебя и доказать тебе, как по писаному, какой ты жалкий, ползучий червь по сравнению с ним. Вся эта земля принадлежит ему. Это ты должен как следует зарубить себе на носу. Ее никто никогда не исследовал, никто о ней понятия не имеет, словом — она его. И уж он не даст тебе забыть об этом. Около двадцати тысяч квадратных миль принадлежат ему. Они-то и есть белые индейцы — он и бабенка. Фу! Не гляди ты на меня такими глазами. Подожди, сам увидишь ее. Красотка, и притом совершенно белая, как и ее отец, то есть Бородач. А карибу, я тебе доложу! Собственными глазами видел их. Стадо идет на восток, и теперь мы день за днем будем преследовать его. Мясо мы едим, а оставшееся

коптим и вялим, чтобы хватило до тех пор, пока не начнется лов лосося. Чего Бородач не знает о лососях и карибу, того не знает никто на свете, — это ты запомни!

III

— Вон он идет, Бородач. Делает вид, будто идет куда-то по делу, — шепнул Малыш.

Было раннее утро. Холостяки завтракали, сидя на корточках; они жарили мясо карибу на костре и тут же поедали его. Смок поднял глаза и увидел невысокого худощавого человека, закутанного в шкуры наподобие дикаря, но несомненно белого. Следом за ним тянулась упряжка, сопровождаемая дюжиной индейцев. Смок разгрыз горячую кость и, высасывая дымящийся мозг, посмотрел на вновь прибывшего. Пушистая желтовато-седая, прокопченная лагерным дымом борода скрывала большую часть его лица. Все же под ней ясно обрисовывались худые, впалые щеки. Но то была здоровая худоба, решил Смок, заметив раздувающиеся ноздри и широкую грудь старика.

— Как поживаете? — спросил последний, сняв рукавицу и протягивая руку. — Меня зовут Снасс, — прибавил он, пожав Смоку руку.

— А меня Беллью, — ответил Смок, чувствуя

себя как-то неловко под пристальным взором острых черных глаз.

— Еды у вас достаточно, я вижу.

Смок кивнул и вновь принялся за свою кость. Мурлыкающее шотландское произношение Снасса странно ласкало его слух.

— Грубоватая пища. Зато мы почти не знаем голода. Да она и гораздо естественней, чем городская еда.

— Вы, я вижу, не любите города, — улыбаясь, заметил Смок, чтобы хоть что-нибудь сказать; и тотчас же был глубоко поражен переменой, произошедшей в Снассе.

Все тело старика содрогнулось и скорчилось, подобно чувствительному растению. А затем все его переживания, напряженные и дикие, сосредоточились в глазах, в которых вспыхнула ненависть, кричащая о безмерной муке. Он порывисто отвернулся и, взяв себя в руки, заметил как бы случайно:

— Я еще зайду к вам, мистер Беллью. Карибу идут на восток, и я должен пойти распределить места стоянок. Завтра двинутся все.

— Каков Бородач, а? — буркнул Малыш, когда Снасс во главе своего отряда двинулся дальше.

IV

Несколько позже Смок пошел прогуляться по лагерю, погрузившемуся в свои несложные заботы. Только что с охоты вернулся большой отряд, и мужчины расходились к своим кострам. Женщины и дети уводили запряженных собак и вместе с ними тащили тяжелые сани, нагруженные только что освежеванными и уже замерзшими тушами. Стоял холодный весенний день — все эти сцены первобытной жизни происходили при температуре в тридцать градусов ниже нуля. Тканей ни на ком не было видно. Все были одеты в меха и мягкую дубленую кожу. В руках у проходивших мальчиков были луки и колчаны, полные стрел с костяными наконечниками; за поясами и в чехлах, висевших у них на шее, Смок увидел костяные и каменные ножи. У костров копошились женщины, коптившие мясо. На спинах у них сидели грудные дети, таращили круглые глазенки и сосали кусочки сала. Собаки — близкая родня волкам — кидались на Смока и, несмотря на занесенную над ними дубинку, обнюхивали незнакомца, с присутствием которого им приходилось мириться из-за этой самой дубинки.

В самом центре лагеря Смок набрел на стоянку, принадлежавшую, по-видимому, Снассу. Стоянка, хотя и временная, сооружена была солидно и занимала большую площадь. На высоком помосте, недоступном для собак, были навалены груды шкур и всевозможное снаряжение. Широкий холщовый занавес, почти шатер, скрывал спальню и жилое помещение. В стороне стояла шелковая палатка, столь излюбленная путешественниками-исследователями и охотниками за крупной дичью. Смок никогда еще не видел такой палатки; он подошел ближе. И когда он стоял, погруженный в созерцание, полотнища палатки раздвинулись и из нее вышла молодая женщина. Ее движения были так быстры и появилась она так внезапно, что Смоку показалось, будто он видит перед собою призрак. Такое же точно впечатление произвел, по-видимому, и он на нее, ибо они несколько секунд молча смотрели друг на друга.

Она была вся закутана в меха — такого великолепия, какое и не снилось Смоку. Ее парка с откинутым капюшоном была из какого-то странного, бледно-серебристого меха. Мокасины на моржовой подошве были сшиты из серебристых рысьих лапок. Длинные рукавицы, кисточки

на мокасинах и различные меха, из которых состоял ее костюм, были того же бледно-серебристого цвета, мерцавшего на зимнем солнце; и из этого серебряного мерцания поднималась гибкая, нежная шейка, увенчанная головкой с розовым лицом, синими глазами, маленькими ушками, подобными двум розоватым раковинам, и пышными светло-каштановыми волосами, запорошенными инеем и усеянными кристаллами снега.

Все это Смок увидел как во сне; лишь через некоторое время он пришел в себя и рука его потянулась к шапке. В тот же миг изумление, написанное на лице девушки, сменилось улыбкой; быстрым, уверенным движением она сняла рукавицу и протянула ему руку.

— Здравствуйте, — важно промолвила она со странным, очаровательным акцентом. Ее голос, серебристый, как и облекавшие ее меха, поразил слух Смока, приученный к хриплым голосам туземных женщин.

Смок пролепетал несколько фраз, оставшихся в его памяти от далеких времен светской жизни.

— Рада познакомиться с вами, — продолжала она, медленно подбирая слова и сияя улыбкой. — Прошу снисхождения к моему английскому

языку. Я говорю не очень хорошо. Я такая же англичанка, как вы, — заверила она серьезным тоном. — Мой отец шотландец. Мать моя умерла. Она была наполовину француженкой, наполовину англичанкой, а также и немного индианкой. Ее отец был большим человеком в Компании Гудзонова Залива. Бррр! Холодно! — Она натянула рукавицу и потерла уши, которые из розовых стали белыми. — Пойдем к костру, поболтаем. Меня зовут Лабискви. А вас?

Так Смок познакомился с Лабискви, дочерью Снасса, которую Снасс называл Маргерит.

— Имя моего отца вовсе не Снасс, — сообщила она Смоку. — Снасс — это только его индейское прозвище.

Смок много узнал в тот день и в последующие дни, когда все население лагеря двинулось по следам карибу. Его спутники были настоящими дикими индейцами — теми самыми индейцами, к которым много лет назад попал Энтон и от которых ему удалось ускользнуть. В данный момент они кочевали по восточной окраине своих владений; летом же они обычно уходили на север, в тундры на берегу Ледовитого океана и на восток до Лусквы. Какая река называлась у них Лусквой, Смоку так и не удалось выяснить;

не могли объяснить ему это ни Лабискви, ни Мак-Кен. Иногда Снасс ходил с отрядом опытных охотников на восток, через Скалистые Горы, за озера, за Маккензи, в глубь Баррен-Граундз. В одном из этих походов и была найдена шелковая палатка, в которой теперь жила Лабискви.

— Она принадлежала экспедиции Миллисента и Эдбери, — сообщил Снасс Смоку.

— А! Припоминаю. Они охотились на мускусных быков. Спасательная экспедиция так и не нашла их.

— Зато я нашел их, — сказал Снасс. — Но оба уже были мертвы.

— А у нас еще никто об этом не знает. Не было никаких известий от них.

— Известий отсюда не бывает никогда, — любезно заверил его Снасс.

— Вы хотите сказать, что если бы даже они были живы, когда вы наткнулись на них…

Снасс кивнул.

— Они остались бы со мной и с моим народом.

— Однако Энтону удалось выбраться, — подзадорил его Смок.

— Не припомню такого имени. Как давно это было?

— Лет четырнадцать-пятнадцать назад, — ска-

зал Смок.

— А, да-да! Значит, в конце концов он все-таки пробился! Вы знаете, я за него боялся. Мы прозвали его Длинный Зуб. Сильный был человек!

— Был тут и Лаперль, лет десять назад.

Снасс покачал головой.

— Он нашел следы ваших стоянок. Дело было летом.

— Ну да, тогда все ясно! Летом мы уходим на сто миль к северу.

Но как ни старался Смок, ему так и не удалось найти ключ к биографии Снасса до того момента, когда этот шотландец поселился в далекой северной пустыне. Он был человеком образованным, но за последние годы не прочел ни одной книги, ни одной газеты. Он понятия не имел о том, что творится на белом свете, и не проявлял ни малейшего желания знать это. Он слыхал о юконских золотоискателях и о клондайкской горячке. Но на его территории золотоискатели не показывались, чему он был очень рад. Внешний мир не существовал для него. Он не выносил даже упоминания о нем.

Лабискви тоже ничем не могла помочь Смоку в его изысканиях. Она родилась в охотничьем лагере. Ее мать умерла, когда ей было шесть лет.

Мать была очень красива, — единственная белая женщина, которую Лабискви когда-либо видела. Все это она рассказала ему с грустью — с той же грустью она всячески давала ему понять, что ей известно о существовании огромного внешнего мира, ворота которого были замкнуты ее отцом. Но она скрывала, что знает об этом мире. Она давно поняла, что одно упоминание о нем приводит отца в бешенство.

Энтон как-то сказал одной женщине-индианке, что мать Лабискви была дочерью видного служащего Компании Гудзонова Залива. Впоследствии это было передано Лабискви. Но имени своей матери она так и не узнала.

Мак-Кен также никуда не годился в качестве справочника… Он не любил авантюр. Дикая жизнь была для него ужасом, а между тем ему пришлось прожить так девять лет. Он был завербован в Сан-Франциско на китобойное судно, но, доехав на нем до мыса Барроу, дезертировал вместе с тремя товарищами… Двое из них умерли, а третий бросил его во время жуткого перехода на юг. Два года прожил он у эскимосов, прежде чем набрался храбрости отправиться на юг, — и вот в нескольких днях пути от поста Гудзоновой Компании попал в руки Снассовых индейцев…

Дэнни Мак-Кен был маленький, тупой человек с больными глазами. Он мечтал только об одном и только об одном мог говорить — о возвращении в дорогое его сердцу Сан-Франциско, к благословенному ремеслу каменщика.

V

— Вы первый интеллигентный человек, попавший к нам, — сказал Снасс Смоку, беседуя с ним как-то вечером у костра, — кроме старика Четырехглазого. Так его прозвали индейцы за его очки. Он был профессором зоологии, умер год назад. Мои ребята подобрали его на верховьях Поркьюпайны — он отбился от экспедиции. Четырехглазый был интеллигентным человеком — да, но и сумасшедшим тоже. Он был чертовски рассеян, но хорошо знал географию и обработку металлов. На Лускве — там есть уголь — устроил несколько очень приличных кузниц, а также чинил нам ружья и обучил этому искусству нашу молодежь. Умер он в прошлом году, и мы очень жалели о нем. Заблудился, конечно, по своему обыкновению, и замерз на расстоянии мили от лагеря.

В тот же вечер Снасс сказал Смоку:

— Вам бы следовало найти себе жену и устро-

ить собственный очаг. Это гораздо удобнее, чем жить с молодежью. Девичьи костры — нечто вроде праздника девственницы — будут зажжены только в середине лета, когда пойдет лосось. Но если вы хотите, я могу устроить их и раньше.

Смок рассмеялся и покачал головой.

— Прошу помнить, — спокойно закончил Снасс, — что уйти удалось одному Энтону. Ему повезло, необыкновенно повезло.

— У моего отца железная воля, — говорила Лабискви Смоку. — Четырехглазый обычно называл его Ледяным Пиратом — не знаю, что это значит, — или Владыкой Мороза, Пещерным Медведем, Первобытным Зверем, Царем Карибу, Бородатым Леопардом и еще по-разному. Четырехглазый любил такие слова. Он-то, главным образом, и научил меня говорить по-английски. Он вечно шутил. С ним невозможно было говорить. А когда я сердилась, называл меня своим гепардом. Что это такое?

Она щебетала с увлечением и детской наивностью, которую Смок никак не мог увязать со зрелой женственностью ее фигуры и лица.

Да, ее отец был строг. Все боялись его. В гневе он был страшен. Вот, например, племя Дикобразов. Через них и через племя Луксва Снасс продавал

свои шкуры на компанейские посты и пополнял свои запасы снаряжения и табака. Он всегда был честен, а вождь Дикобразов начал его обманывать. И Снасс, после двух предостережений, сжег его поселок; затем в бою было убито около двадцати человек из его племени. Зато обмана больше не было. Однажды, когда она была еще совсем маленькой, был убит один белый, пытавшийся бежать. Нет, отец сам не убивал его, он отдал приказание молодежи. Ни один индеец не смел ослушаться ее отца.

И чем больше Смок слушал ее, тем загадочнее становилась для него фигура Снасса.

— А вот скажите мне еще, — спрашивала его девушка: — Правда ли, что существовали мужчина и женщина по имени Паоло и Франческа и что они очень любили друг друга?

Смок кивнул.

— Мне говорил об этом Четырехглазый, — просияла она. — Но он не рассказывал подробностей, и я не была уверена. Я спросила отца, о, как он рассердился! Индейцы говорили мне, что он потом ужасно отругал Четырехглазого. И еще Тристан и Изольда — две Изольды. Очень грустная история! И все-таки я хотела бы так любить. Неужели все молодые мужчины и женщины так любят? У нас

— нет. У нас просто женятся. У наших как будто не хватает на это времени. Я — англичанка, и я никогда не выйду замуж за индейца. А вы? Поэтому-то я и не зажигаю своего девичьего костра. Многие из наших юношей пристают к отцу, чтобы он приказал мне зажечь костер. Либаш например. Он великий охотник. А Махкук все бродит кругом и поет песни. Он смешной. Подойдите сегодня вечером к моей палатке — услышите, как он поет, стоя на морозе. Но отец говорит, что я вольна поступать, как я хочу, — вот я и не зажигаю костра. Понимаете, когда девушка хочет выйти замуж, она таким образом оповещает о своем намерении всех молодых людей. Четырехглазый всегда говорил, что это прекрасный обычай. Но я заметила, что сам он никого не взял себе в жены. Может, он был слишком стар. У него было очень мало волос, но я все-таки думаю, что он был не так уж стар. А как вы узнаете, что вы влюблены? Как Паоло и Франческа? Да?

Смок смутился под ясным взглядом ее синих глаз.

— Они говорят друг другу, — пролепетал он, — те, кто влюблены, говорят… что любовь дороже жизни. Когда замечаешь, что любишь кого-нибудь больше всех на свете, — ну вот тогда, значит,

ты влюблен. Вот так и бывает. Только объяснить это ужасно трудно. Просто узнаешь, вот и все.

Она посмотрела вдаль, за лагерный дым, вздохнула и снова углубилась в шитье меховой рукавицы.

— Так вот, — заявила она решительно, — я никогда не выйду замуж.

VI

— Если только мы выберемся отсюда, нам придется бежать изо всех сил, — угрюмо сказал Малыш.

— Вся эта местность — огромная ловушка, — откликнулся Смок. Стоя на вершине голого холма, они обозревали снежные владения Снасса. На востоке, западе и юге владения эти были замкнуты высокими пиками и извилистыми горными цепями. На север тянулась равнина, казавшаяся бесконечной; но они знали, что даже и в этом направлении она была перерезана несколькими горными цепями.

— В это время года можно выиграть только три дня, — сказал Снасс Смоку в тот вечер. — Вы все равно не скроете ваших следов. В этом все дело. Энтон удрал уже после того, как стаял снег. Моя молодежь может потягаться с лучшим из белых

бегунов, и кроме того, вы проложите для нее дорогу. А когда стает снег, я позабочусь о том, чтобы вам не представился случай, как Энтону. У нас здесь чудесная жизнь. А тот мир, где мы жили, скоро забывается. Я всегда удивлялся, как легко можно обойтись без него.

— Что меня смущает, так это Дэнни Мак-Кен, — поведал Малыш Смоку. — Он плохой ходок. Но он клянется, что знает на западе лазейку. И нам придется отправиться вместе с ним, Смок, а то уж больно крепко влопаешься.

— Мы все одной веревкой связаны, — ответил Смок.

— Ну, нет! До тебя добираются самым определенным образом.

— Что это значит?

— Разве ты не слышал новости?

Смок покачал головой.

— Мне говорили холостяки. Они уже кое-что прослышали. Сегодня вечером начинается — за много месяцев до срока.

Смок пожал плечами.

— Тебе не интересно? — подзадорил его Малыш.

— Я слушаю.

— Так вот, жена Дэнни сказала холостякам… —

Малыш сделал многозначительную паузу. — А холостяки, в свою очередь, сказали мне, что сегодня вечером будут зажжены девичьи костры. Вот и все. Как тебе это нравится?

— Не понимаю, что ты этим хочешь сказать, Малыш.

— Не понимаешь, вот как? Да ведь это же ясно как день! На тебя охотится девчонка, и девчонка эта собирается зажечь костер, и зовут ее Лабискви. О, я видел, как она смотрит на тебя, когда ты этого не видишь. Она еще ни разу не зажигала костра. Говорит, что не хочет выходить замуж за индейца. Так что если она зажжет его, то, очевидно, только ради моего бедного старого друга Смока.

— Это логично, — сказал Смок. Сердце у него упало, и он стал мысленно разбирать все поступки Лабискви за последние несколько дней.

— Скажи лучше — это так и есть, — возразил Малыш. — Ведь вот всегда так: только мы приготовимся удрать, как является эдакая штучка и путает все наши карты. Не везет нам... Ого! Послушай-ка!

Три старухи остановились между лагерем холостяков и стоянкой Мак-Кена, и самая старшая из них начала что-то декламировать пронзитель-

ным фальцетом.

Смок кое-как разобрал имена, но большинство слов остались для него непонятными. Малыш начал переводить самым меланхолическим тоном:

— Лабискви, дочь Снасса, Заклинателя Дождя, Великого Вождя, зажигает свой первый девичий костер сегодня вечером. Мака, дочь Оуитса, Победителя Волков…

Затем последовало около дюжины девичьих имен, и три глашатая поплелись к следующему костру объявлять ту же новость.

Юные холостяки, давшие обет никогда не разговаривать с девушками, были мало заинтересованы предстоящей церемонией и, чтобы выказать свое презрение, немедленно начали собираться в поход, хотя по приказу Снасса должны были отправиться только на следующее утро. Вопреки мнению старых охотников, Снасс решил, что стадо карибу разбилось на две части. Холостякам было поручено произвести разведку в северном и западном направлениях и найти след второй половины огромного стада.

Смок, смущенный намерением Лабискви зажечь костер, заявил, что хочет сопровождать холостяков. Но сначала он потолковал с Малышом и Мак-Кеном.

— Ты будешь там на третий день, Смок, — сказал Малыш. — Мы приготовим упряжку и собак.

— Но помни, — предостерег Смок, — если тебе почему-либо не удастся встретиться со мной, то иди дальше прямо на Юкон. Это совершенно необходимо. Если тебе удастся выбраться, ты можешь явиться за мной летом. Если же мне представится удобный случай, я удеру и вернусь за тобой.

Мак-Кен, стоя у своего костра, указал глазами на огромную скалу, вздымавшуюся на западе, где высокая горная цепь сползала на открытую равнину.

— Эта самая, — сказал он. — С южной стороны — небольшой ручей. Мы поднимемся по его руслу. На третий день вы встретите нас. В каком бы месте вы ни вышли на этот ручей, вы найдете нас либо наши следы.

VII

Случая на третий день, однако, не представилось. Холостяки изменили направление разведки, и в то время как Малыш и Мак-Кен пробирались вместе с собаками вверх по ручью, Смок с холостяками выслеживал в шестидесяти милях к северо-востоку второе стадо карибу.

Несколько дней спустя они вернулись в главный лагерь. Снег падал тяжелой пеленой. Какая-то женщина, причитавшая у костра, сорвалась с места и бросилась к Смоку. В глазах ее горела смертельная ненависть, и голос ее срывался. Она осыпала Смока хриплыми проклятиями, тыча пальцем в какой-то неподвижный, завернутый в меха предмет, лежавший в санях, которые только что прибыли в лагерь.

Смок мог только догадываться о том, что случилось, и, подходя к костру Мак-Кена, готовился встретить второй поток проклятий. Вместо этого он увидел самого Мак-Кена, усиленно жевавшего мясо карибу.

— Я не гожусь в бой, — плаксиво пояснил Мак-Кен. — Но Малыш удрал, хотя они все еще гонятся за ним. Он наверное будет драться с ними. Все равно они его поймают. У него нет никаких шансов уйти далеко. Он ранил двух молодых индейцев — скоро об этом узнает весь лагерь. А одного убил.

— Знаю, — ответил Смок. — Я только что встретил вдову.

— Старик Снасс хочет видеть вас, — добавил Мак-Кен. — Он приказал, чтобы вы явились к нему, как только вернетесь. Я не проболтался. Вы

ничего не знаете. Помните это. Малыш удрал со мной по собственному почину.

У костра Снасса Смок нашел Лабискви. Она встретила его таким нежным и любящим взглядом, что он испугался.

— Я рада, что вы не пытались бежать, — сказала она. — Видите ли, я… — Она заколебалась, но не опустила глаз; их сияние не оставляло места сомнениям. — Я зажгла костер и сделала это ради вас. Свершилось! Я люблю вас больше всего на свете… больше отца… больше, чем тысячу Либашей и Махкуков. Я люблю, это очень странно. Я люблю, как любила Франческа, как любила Изольда. Старик Четырехглазый сказал правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза, и я белая. Мы оба белые — вы и я.

Смоку никогда в жизни не делали предложения — он совершенно не представлял себе, как следует поступать в таких случаях. А что еще хуже — это даже не было предложением. Его согласие было предрешено. Лабискви была так уверена в успехе своего предприятия, глаза ее сияли таким теплым светом, что ему оставалось только удивляться, почему она не обнимает его и не припадает головой к его плечу. Потом он сообразил, что, несмотря на всю чистоту ее чувства,

ей неведомы красивые проявления любви. Такие вещи не в ходу у первобытных дикарей. Ей не у кого было научиться им.

Она щебетала, воспевая счастливое время любви, а он боролся с собой, принуждая себя каким-нибудь образом сказать ей убийственную правду. Ведь это был на редкость удобный случай.

— Но послушайте, Лабискви, — начал он. — Вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?

Она всплеснула руками и, непоколебимо уверенная в своем счастье, залилась радостным смехом:

— О! А разве есть продолжение? Я так и думала, что там будет еще больше любви. Я очень много думала с тех пор, как зажгла костер. Я…

Тут сквозь пелену падающего снега у костра показался Снасс, и Смок упустил случай.

— Добрый вечер, — угрюмо буркнул Снасс. — Ваш товарищ заварил кашу. Я рад, что у вас оказалось больше здравого смысла.

— Может быть, вы скажете мне, что случилось? — обратился к нему Смок.

Белые зубы старика сверкнули из-под седых усов в усмешке, которую вряд ли можно было

назвать любезной.

— Пожалуйста! Ваш товарищ убил одного из моих людей. Этот слюнявый карапуз Мак-Кен удрал при первом выстреле. Он-то уж больше не сбежит. Но мои охотники гонятся в горах за вашим товарищем и в конце концов поймают его. Он никогда не доберется до Юконского бассейна. Что же касается вас, то отныне вы будете спать у моего костра. И конец разведкам с молодежью! Я буду присматривать за вами сам.

VIII

Переселение в стоянку Снасса было для Смока очень тягостно. Он встречался с Лабискви чаще, чем раньше. Что-то жуткое было для него в ее чувстве — откровенном, невинном и нежном. В ее глазах сияла любовь, и каждый взгляд ее был лаской. Десятки раз он собирался рассказать ей про Джой Гастелл и десятки раз убеждался в том, что он трус. Самое неприятное было то, что Лабискви была прелестна. Он любовался ею. Несмотря на то что каждая секунда, проведенная в ее обществе, заставляла его презирать самого себя, он чувствовал в то же время, что каждая такая секунда доставляет ему наслаждение. В первый раз в жизни он по-настоящему узнал

женщину, а душа Лабискви была так чиста, так привлекательна в своей искренности, в своем неведении, что он не мог ошибиться ни в одном движении ее. В Лабискви была сосредоточена вся первородная чистота ее пола, не исковерканная условностями культуры и ханжеством самозащиты. Он вспомнил Шопенгауэра и решил, что мрачный философ ошибался. Узнать женщину так, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — больные люди. Лабискви была очаровательна. И все же рядом с ней в его душе не меркла память о Джой Гастелл. Джой была сдержанна и умела контролировать себя, над ней тяготели все запреты, накладываемые на женщину цивилизацией, и все же его угодливое воображение наделяло ее теми же качествами, какие были у Лабискви. Одна давала ему возможность оценить другую, и все женщины мира получали надлежащую оценку благодаря тому, что Смоку в снежной стране, у костра Снасса открылась душа Лабискви.

Смоку многое открылось и в его собственной душе. Он оглянулся назад, вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. Но и Лабискви доставляла ему много радости. А чем было это чувство радости, как не любовью?

Каким другим именем мог он назвать его? Да, то была любовь. То должна была быть любовь. И он был потрясен до глубины души, обнаружив в себе эту склонность к полигамии. В салонах Сан-Франциско ему приходилось слышать утверждения, будто мужчина может одновременно любить двух или даже трех женщин. Но он не верил этому. Да и как мог он поверить, не убедившись на собственном опыте? Теперь было не то. Теперь Смок действительно любил двух женщин сразу, и хотя он чаще был убежден, что любит Джой Гастелл сильнее, у него все же бывали минуты, когда он с равной уверенностью мог сказать, что сильнее любит Лабискви.

— В мире, наверное, очень много женщин, — сказала она как-то. — И женщины любят мужчин. Должно быть, вас любило много женщин. Правда?

Он не ответил.

— Ну, скажите же, — настаивала она. — Разве это не так?

— Я никогда не был женат, — уклонился он от прямого ответа.

— И другой у вас нет?.. Другой Изольды — там, за горами?

И вот тогда-то Смок понял, что он трус. Он

солгал. Он это сделал против воли — и все же солгал. С мягкой, снисходительной улыбкой он покачал головой, и когда увидел, что Лабискви мгновенно преобразилась от радости, его лицо отразило такую любовь, какой он даже и не подозревал в себе.

Он пытался оправдаться перед самим собой. Все его доводы отличались совершенно очевидным иезуитством, и все же он не был настолько спартанцем, чтобы нанести этой женщине-ребенку роковой удар в самое сердце.

Снасс тоже усложнял возникшую перед Смоком проблему.

— Никому не приятно видеть свою дочь замужем, — говорил он Смоку. — Особенно человеку впечатлительному. Это причиняет боль. Одна мысль об этом ранит. И все-таки Маргерит должна выйти замуж — таков закон жизни.

Я суровый, жестокий человек, — продолжал он. — Но закон есть закон, и я справедлив. Более того: здесь, среди этого первобытного народа, я сам — закон и судья.

К чему клонился этот монолог, Смок так и не узнал, ибо он был прерван взрывом серебристого смеха, донесшимся из палатки Лабискви. Лицо Спасса исказилось от боли.

— Я перенесу это, — мрачно прошептал он. — Маргерит должна выйти замуж. И это большое счастье для меня и для нее, что вы здесь.

Тут Лабискви вышла из своей палатки и подошла к костру, держа на руках волчонка; словно магнитом тянуло ее взглянуть на любимого. В глазах ее светилась любовь, которую никто не научил ее скрывать.

IX

— Слушайте, — говорил Мак-Кен. — Наступила весенняя оттепель, на снегу образуется наст. Если бы не снеговые бури в горах, то нет лучшего времени, чтобы отправиться в путь. Я знаю эти бури. Я готов бежать, но только с таким человеком, как вы.

— Вы не можете бежать, — возражал Смок. — Не равняйте себя с мужчиной. Ваш хребет стал гибким, как оттаявшее сало. Если уж я убегу, то убегу один. Впрочем, мир быстро забывается, и я, быть может, не убегу отсюда вовсе. Мясо карибу — чудная вещь, а скоро придет лето, и с ним — лососина.

Снасс говорил:

— Ваш товарищ умер. Мои охотники не убили его. Они нашли его тело — он замерз в горах

в первую же весеннюю бурю. Убежать отсюда немыслимо. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?

Лабискви говорила:

— Я наблюдаю за вами. В ваших глазах, на вашем лице тревога. О, я знаю ваше лицо. У вас на шее есть маленький шрам под самым ухом. Когда вы радуетесь, уголки вашего рта поднимаются кверху. Когда вас посещают грустные мысли, они опускаются. Когда вы улыбаетесь, от ваших глаз бегут три-четыре морщинки. Когда вы смеетесь — их шесть, а иногда я насчитывала даже семь. А теперь я не могу отыскать ни одной. Я никогда не читала книг. Я не умею читать. Но Четырехглазый многому меня научил. Я правильно говорю по-английски. Он научил меня. И в его глазах я тоже видела тревогу и тоску по внешнему миру. А ведь тут было хорошее мясо, и много рыбы, и ягоды, и коренья, и нередко мука, которую давали нам за меха через племена Дикобразов и Лусква. И все-таки он был голоден, он тосковал по миру. Неужели мир так хорош, что вы томитесь по нем? У Четырехглазого не было ничего. А у вас есть я. — Она вздохнула и покачала головой. — Четырехглазый так и умер тоскующим по миру. А если вы останетесь здесь навсегда, неужели

вы тоже умрете от тоски по миру? Вероятно, я не представляю себе, что такое мир. Вам хочется бежать туда?

Смок не мог произнести ни слова, но, взглянув на уголки его губ, она поняла все.

На несколько минут воцарилось молчание. Она, видимо, боролась с собой, а Смок проклинал себя за неожиданно проявленную им слабость; она заставила его выдать свою тоску по миру и в то же время лишила его дара речи, когда он был готов признаться в любви к другой.

Лабискви снова вздохнула.

— Хорошо. Я люблю вас так сильно, что не боюсь гнева моего отца. А он в гневе страшнее, чем буря в горах. Вы объяснили мне, что такое любовь. Вот вам доказательство любви. Я помогу вам вернуться в мир.

X

Смок проснулся и лежал не двигаясь. Теплые тоненькие пальцы коснулись его щеки и скользнули на губы, нежно закрыв их. Потом он почувствовал легкое прикосновение заиндевевшего меха и услышал одно-единственное слово, сказанное шепотом:

— Идем!

Он осторожно приподнялся и прислушался. Сотни лагерных волкодавов тянули свою ночную песню, но сквозь их завывание, совсем близко он мог расслышать легкое, ровное дыхание Снасса.

Лабискви слегка потянула Смока за рукав. Он все понял — она хотела, чтобы он следовал за ней. Он взял в руки мокасины и шерстяные носки и выполз на снег в спальных мокасинах. В багровом свете догорающих костров она знаком велела ему надеть обувь и, пока он исполнял ее приказание, ушла в палатку, где спал Снасс.

Нащупав стрелки часов, Смок установил время — час ночи. Было совсем тепло — градусов десять ниже нуля, решил он. Лабискви вышла из палатки и повела его узкими тропинками по спавшему лагерю. Они старались ступать как можно легче, но снег все же скрипел под их мокасинами. Звук этот, однако, тонул в вое собак.

— Теперь поговорим, — сказала она, когда они отошли на полмили от крайнего костра.

При свете звезд Лабискви посмотрела ему в лицо. Тут Смок впервые заметил, что она держит что-то в руках, и, дотронувшись до ее ноши, убедился, что это его лыжи, два пояса с патронами и спальные меха.

— Я все приготовила, — сказала она с тихим,

счастливым смехом. — Я два дня прятала мясо, муку, спички и приготовила самые удобные для ходьбы по насту лыжи; если они даже начнут проваливаться, то их задержат перепонки. О, я умею ходить по снегу. Мы пойдем быстро, любимый.

Смок едва удержался от восклицания. Достаточно неожиданно было уже то, что она устроила ему побег; а к тому, что она решила бежать вместе с ним, он совсем не был подготовлен. Не зная, что предпринять, как действовать, он осторожно, одну за другой, отнял у нее все вещи. Потом обнял ее, прижал к себе и все же никак не мог определить свое дальнейшее поведение.

— Бог добр, — прошептала она. — Он послал мне любимого.

У Смока хватило мужества не проронить ни слова о своем намерении бежать одному. И прежде чем он заговорил, все воспоминания о светлом, далеком мире и о солнечных странах поблёкли и померкли в его душе.

— Пойдем назад, Лабискви, — сказал он. — Вы будете моей женой, и мы навсегда останемся жить с народом Карибу.

— Нет! Нет! — Она покачала головой, и все ее тело, трепетавшее в кольце его рук, воспротивилось этому предложению. — Я знаю. Я много

думала. Тоска по миру охватит вас и долгими ночами будет терзать ваше сердце. Четырехглазый умер от тоски по миру. И вы тоже умрете. Все люди, пришедшие из мира, томятся по нем. А я не хочу, чтобы вы умерли. Мы переберемся через снежные горы южным проходом.

— Послушайте меня, дорогая, — настаивал он. — Мы должны вернуться.

Она прижала руку в рукавице к его губам, не давая ему говорить дальше.

— Вы любите меня? Скажите, что вы любите меня.

— Я люблю вас, Лабискви. Вы — мое счастье, моя радость!

И снова рукавица нежным прикосновением помешала ему продолжать.

— Мы пойдем к тайнику, — решительно сказала Лабискви. — Он находится в трех милях отсюда. Идем.

Он упирался; она тянула его за руку, но не могла сдвинуть с места. Он испытывал сильное искушение рассказать ей о другой женщине, жившей по ту сторону южного прохода.

— Ради вас мы не должны возвращаться, — сказала она. — Я… я только дикая девушка, и я боюсь мира; но еще больше я боюсь за вас. Вы

видите — все случилось так, как вы говорили мне. Я люблю вас больше всего на свете, я люблю вас больше себя. Мечты моего сердца, светлые и бесчисленные, как звезды, — как мне выразить их? Есть ли слова для них? Вот они — смотрите.

С этими словами она сняла с него рукавицы и, просунув его руку за пазуху своей парки, положила ее к себе на сердце. Она прижимала ее все сильней и сильней. И в долгом молчании он почувствовал биение — биение ее сердца, и понял, что каждый трепет его — любовь. А потом медленно, почти незаметно, все продолжая держать его руку, она отстранилась от него и пошла к тайнику. Он не мог противиться. Ему казалось, что его влечет ее сердце, лежавшее под его ладонью.

XI

Наст, который за ночь затянул оттаявший накануне снег, был так крепок, что они скользили на своих лыжах с большой быстротой.

— Вот тут, за деревьями, тайник, — сказала Лабискви Смоку.

В следующее же мгновение она схватила его за руку, вздрогнув от неожиданности. Перед ними весело плясало пламя небольшого костра, а у костра на корточках сидел Мак-Кен. Лабискви

пробормотала что-то по-индейски, и звук ее слов был так похож на щелканье бича, что Смок вспомнил прозвище, данное ей Четырехглазым, — гепард!

— Я боялся, что вы убежите без меня, — пояснил Мак-Кен, когда они подошли ближе. В его маленьких зорких глазах мерцало лукавство. — Поэтому я все время следил за девушкой и, когда увидел, что она прячет лыжи и продовольствие, снялся с места. Костер? Никакой опасности! Весь лагерь спит и храпит, а ждать было порядком холодно. Ну что ж? Двинемся?

Лабискви растерянно взглянула на Смока, но тотчас же овладела собой и заговорила. И хотя она была еще ребенком во всем, что касалось любви, в словах ее звучала холодная решимость человека, умеющего стойко переносить любые невзгоды.

— Мак-Кен, вы — пес, — прошептала она и в глазах ее вспыхнула дикая ярость. — Я знаю, вы задумали поднять на ноги весь лагерь, если мы не возьмем вас с собой. Ладно, мы вынуждены взять вас. Но вы знаете моего отца. Я такая же, как он. Вы будете исполнять вашу долю работы. Вы будете повиноваться. И если вы вздумаете играть нечисто, вы пожалеете о том, что бежали.

Рассвет настиг их среди холмов, лежавших между равниной и горами. Мак-Кен предложил позавтракать, но они продолжали идти. Привал решено было сделать только тогда, когда полуденное солнце растопит наст и бежать на лыжах будет невозможно.

Лабискви рассказала Смоку все, что знала о местности, и объяснила, каким образом намерена обмануть погоню. Равнина имеет только два выхода — один на западе, другой — на юге. Снасс немедленно пошлет отряды молодежи запереть и тот и другой. Но на юге есть еще один проход. Правда, он доходит только до половины гор, а потом сворачивает на запад и, пересекая три холма, соединяется с обычным путем. Но, не найдя их следов на обычном пути, преследователи повернут назад, решив, что беглецы направились к западному проходу. Они никогда не догадаются, что беглецы рискнули пойти самой длинной дорогой. Оглянувшись на тащившегося в хвосте Мак-Кена, Лабискви вполголоса сказала Смоку:

— Он ест. Это нехорошо.

Смок обернулся. Ирландец потихоньку грыз вяленое мясо карибу, вынутое им из мешка, который он нес.

— В неурочное время не есть, Мак-Кен! — ско-

мандовал Смок. — В этой местности нет дичи. Все наше продовольствие с самого начала должно быть разделено на равные порции.

К часу дня наст настолько подтаял, что беговые лыжи начали проваливаться, а к двум стали проваливаться и канадские. Сделали привал и в первый раз поели. Смок осмотрел припасы. Мешок Мак-Кена сильно разочаровал его. Ирландец набил его таким количеством серебристых лисьих шкур, что для мяса в нем осталось очень мало места.

— Ей-богу, я не знал, что их так много, — оправдывался он. — Я укладывался в темноте. Но они стоят больших денег. У нас ведь есть оружие, и мы можем настрелять дичи в свое удовольствие.

— Волки сожрут вас в свое удовольствие, — только и нашелся ответить Смок; в глазах Лабискви вспыхнул гнев.

Пищи хватит на месяц при экономном хозяйничанье и умеренном аппетите, решили Смок и Лабискви. Смок точно распределил тюки по весу и размеру и, после долгих споров уступив настояниям Лабискви, дал и ей часть поклажи.

На следующий день русло ручья привело их в широкую горную долину. Они уже начали окончательно проваливаться сквозь наст, когда

им удалось выбраться на более крепкий склон водораздела.

— Еще десять минут — и мы не смогли бы перейти через равнину, — сказал Смок, когда они остановились передохнуть на голой вершине холма. — Здесь мы по меньшей мере на тысячу футов выше.

Лабискви, не говоря ни слова, указала вниз на открытую равнину. В центре ее, среди редких деревьев, виднелось пять темных разбросанных пятен, медленно двигавшихся вперед.

— Индейцы, — сказала Лабискви.

— Они проваливаются по пояс, — ответил Смок. — Сегодня им уже не удастся выбраться на твердую почву. У нас есть в распоряжении несколько часов. Эй, Мак-Кен, пошевеливайтесь! Мы не будем есть, пока у нас хватит сил идти.

Мак-Кен заворчал, но в его мешке не было мяса карибу, и он угрюмо поплелся за Смоком и Лабискви. Долина, по которой они шли теперь, была расположена несколько выше; тут наст не проламывался до трех часов пополудни, и за это время им удалось добраться до тенистого леса, где наст успел подмерзнуть. Только один раз остановились они, чтобы достать конфискованное у Мак-Кена мясо, которое они решили съесть на

ходу. Мясо сильно промерзло, и есть его можно было, только отогрев предварительно на огне. Но оно крошилось во рту и до известной степени успокоило их судорожно сжимавшиеся желудки.

После долгих сумерек, к девяти часам спустилась непроницаемая тьма. Небо было обложено тучами. Они сделали привал в роще карликовых сосен. Мак-Кен беспомощно скулил. Правда, дневной переход был очень утомителен, но, помимо этого, он, несмотря на свой девятилетний опыт полярного путешественника, поел снегу и теперь страшно мучился от сухости и жжения во рту.

Лабискви была неутомима: Смок не мог надивиться выносливости ее тела и непоколебимости духа. Бодрость ее не была искусственной. Она постоянно находила для него улыбку или смех, и если ее рука случайно прикасалась к его руке, она медлила отнять ее, чтобы хоть как-нибудь его приласкать.

Ночью подул сильный ветер и выпал снег; им пришлось идти вслепую сквозь вьюгу.

В результате они пропустили поворот в пути, который вел вверх по небольшому ручью и пересекал водораздел в западном направлении. Они блуждали еще два дня, пересекая один холм за другим — все не те, которые им были нужны. За

эти два дня весна осталась позади, и они вступили в царство зимы.

— Индейцы потеряли наш след. Отдохнем денек, — ныл Мак-Кен.

Но об отдыхе не могло быть и речи. Смок и Лабисквы сознавали всю опасность положения. Они заблудились в горах, где не было дичи; им не попадались даже ее следы. День за днем прокладывали они себе путь среди мрачных скал, по лабиринтам ущелий и долин, редко-редко выводивших их на запад. Попав в такое ущелье, они уже не могли изменить направление и должны были идти туда, куда оно их вело, ибо ледяные вершины и высокие горные террасы, вздымавшиеся с обеих сторон, были неприступны и недосягаемы. Отчаянная борьба и холод пожирали их энергию, и все же они урезали свои и без того скудные пайки.

Однажды ночью Смок проснулся от какого-то странного шума. Из угла, где спал Мак-Кен, до него донесся прерывистый хрип. Он поспешно раздул костер и при свете его увидел, что Лабисквы держит ирландца за горло и заставляет его выплюнуть кусок наполовину разжеванного мяса. Как раз в тот момент, когда Смок увидел это, ее рука скользнула к поясу, и через секунду в

ней сверкнул нож.

— Лабискви! — повелительным тоном крикнул Смок.

Ее рука повисла в воздухе.

— Не делайте этого, — сказал он, подойдя к ней.

Она вся дрожала от гнева, но, поколебавшись еще секунду, неохотно вложила нож в ножны. Как бы боясь, что у нее не хватит сил сдержаться, она отошла к костру и стала подбрасывать в него хворост. Мак-Кен сел, хныкая и причитая. Страх и ярость боролись в нем, и он бормотал какие-то нечленораздельные объяснения.

— Откуда вы достали мясо? — спросил Смок.

— Обыщите его, — сказала Лабискви.

Это были первые сказанные ею слова; ее голос прерывался от гнева.

Мак-Кен пытался воспротивиться, но Смок скрутил его и, обыскав, вытащил у него из-под мышки кусок мяса карибу, оттаявшего от соприкосновения с теплым телом. Резкий возглас Лабискви привлек внимание Смока. Она бросилась к мешку Мак-Кена и развязала его. Вместо мяса из него посыпались сосновые иглы, мох, щепки — всевозможные легкие отбросы, заменявшие мясо и придававшие тюку надлежащий

внешний вид.

Снова руки Лабискви скользнули к поясу, и девушка ринулась на виновного, но Смок перехватил ее, и она припала к его груди, всхлипывая от бессильной ярости.

— Любимый, я не из-за пищи! — задыхалась она. — Из-за тебя, из-за твоей жизни! Собака! Тебя он ест! Тебя!

— Ничего, выживем, — утешил ее Смок. — Теперь он будет нести на себе муку. Он не сможет есть ее в сыром виде. Если он сделает это, я сам убью его. А то он съест не только мою жизнь, но и твою.

Он крепко обнял ее.

— Дорогая моя, убийство — мужское занятие. Женщины не убивают.

— Ты перестал бы любить меня, если бы я убила этого пса? — удивленно спросила она.

— Любил бы меньше, — мягко ответил Смок.

Она покорно вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Я не убью его.

XII

Преследование не прекращалось. Отчасти по наитию, отчасти же руководствуясь топографией местности, индейцы правильно угадали путь,

избранный беглецами, и найдя заметенный вьюгой след, пустились по нему. Когда выпадал снег, Смок и Лабискви нарочно шли самым нелепым путем: они поворачивали на восток, когда гораздо удобнее было идти на юг или на запад, карабкались на высокие холмы, обходя низкие. Все равно они потеряли верный путь и уже никак не могли обмануть преследователей. Иногда им удавалось выиграть несколько дней, но в конце концов индейцы неизменно появлялись снова.

Смок потерял счет времени, дням и ночам, бурям и привалам. В какой-то бесконечной, безумной фантасмагории страданий и борьбы пробивался он по черным ущельям, склоны которых были так отвесны, что на них даже не оседал снег; беглецы шли по ледяным равнинам, где на каждом шагу попадались замерзшие озера; они делали привалы над линией лесов и не зажигали костра, согревая мороженое мясо теплотой своего тела. И все же бодрость не покидала Лабискви; только глядя на Мак-Кена, она становилась мрачной. А любовь ее к Смоку делалась все более красноречивой.

Как кошка, следила она за распределением скудного пайка. Смок видел, какую ненависть вызывало в ней каждое движение челюстей

Мак-Кена. Как-то раз они распределяли порции, и вдруг Смок услышал яростный протест ирландца. Выяснилось, что не только ему, но и себе самой она выделяла значительно меньшую долю, чем Смоку. С тех пор Смок делил мясо сам. Однажды утром, после вьюжной ночи, их настигла небольшая лавина, сбросившая их на сотню ярдов вниз по склону горы. Они выбрались полузадохнувшиеся, но невредимые. Мак-Кен потерял свой мешок, в котором находилась вся их мука. Вторая большая лавина окончательно погребла мешок. И хотя Мак-Кен был тут не повинен, Лабискви с тех пор перестала смотреть на него. Смок понял причину, — она не смела…

XIII

Было тихое, безветренное утро. По небу разливалась невозмутимая синева, а на снегу ослепительно играло солнце. Широкий склон был покрыт настом. Они шли по нему, точно истомленные призраки в царстве мертвых. Ничто не нарушало окружавшего их жесткого, застывшего покоя. Далекие пики Скалистых Гор, вздымавшиеся на расстоянии сотни миль, казалось, придвинулись до пяти миль.

— Что-то надвигается, — прошептала Лабиск-

ви. — Неужели ты не чувствуешь, — здесь, там, повсюду? Все так странно…

— Меня знобит. Но это не от холода, — ответил Смок. — И не от голода.

— Дрожь в голове и в сердце, правда? — возбужденно подхватила она. — У меня тоже.

— Нет, это не внутри, — ответил Смок. — Я чувствую, как меня обдает ледяным холодом, нервы мои стынут.

Через четверть часа они остановились передохнуть.

— Я больше не вижу вершин, — воскликнул Смок.

— Воздух становится густым и тяжелым, — сказала Лабискви. — Трудно дышать.

— Три солнца! — хрипло крикнул Мак-Кен, шатаясь и судорожно цепляясь за свою палку.

С каждой стороны солнца горело по ложному солнцу.

— Их пять, — сказала Лабискви.

И пока они смотрели, все новые и новые пылающие солнца возникали перед их глазами.

— Смотрите, на небе бесчисленные солнца! — в ужасе крикнул Мак-Кен.

И действительно, куда они ни обращали взор, повсюду на небосклоне сверкали и искрились все

новые и новые солнца.

Вдруг Мак-Кен издал дикий вопль ужаса и боли.

— Меня укусило что-то! — крикнул он.

Потом вскрикнула Лабискви; Смок тоже почувствовал щекочущий укол в щеку, холодный и жгучий, как кислота. Это напомнило ему ощущение, которое испытываешь, когда купаешься в море и вдруг натыкаешься на жалящие ядовитые нити, выпускаемые моллюском «португальский броненосец». Оба ощущения были так схожи, что он невольно потер щеку, чтобы удалить ядовитое вещество, которого не было.

А потом раздался до странности глухой выстрел. У подножия горы стояли лыжники-индейцы и один за другим открывали огонь.

— Разойдитесь! — крикнул Смок. — И скорее наверх! Мы почти на самой вершине. Они на четверть мили ниже. Мы можем выиграть несколько миль — мы ведь будем идти под гору.

Испытывая неприятный зуд и жар на щеках от невидимых воздушных уколов, трое беглецов рассыпались по снежному склону и стали карабкаться наверх. Глухие раскаты выстрелов терзали их слух.

— Какое счастье, что у четырех из наших пре-

следователей старые мушкеты и только у одного винчестер, — крикнул Лабискви Смок. — И к тому же эти солнца мешают им целиться.

— Теперь ты понимаешь, каков нрав у моего отца? — спросила она. — Он приказал им убить нас.

— Как ты странно говоришь, — сказал Смок. — Твой голос звучит откуда-то издалека.

— Закрой рот, — внезапно крикнула Лабискви, — и молчи! Я знаю, что это такое. Закрой рот рукавом!

Мак-Кен упал первым и с трудом встал на ноги. И прежде чем они добрались до вершины, все они падали по нескольку раз. Мышцы не повиновались — они сами не знали почему, и тела их как бы окоченели, а конечности налились свинцом. Взобравшись на хребет и оглянувшись, они увидели, что ползущие по склону индейцы спотыкаются и падают.

— Они никогда не поднимутся сюда, — сказала Лабискви. — Это белая смерть. Я знаю, хотя никогда не видала ее. Мне рассказывали о ней старики. Скоро опустится туман, не похожий ни на один туман, ни на один иней, ни на один ледяной пар. Немногие из видевших его оставались в живых.

Мак-Кен хрипел и задыхался.

— Закройте рот, — приказал Смок.

Беглое мерцание света, лившееся на них со всех сторон, заставило Смока посмотреть на ложные солнца. Они мерцали и туманились. Воздух был полон каких-то микроскопических искр. Жуткий туман затянул ближайшие пики; молодые индейцы, все еще пытавшиеся ползти наверх, были поглощены им. Мак-Кен сидел на корточках, поджав под себя лыжи и закрывая рот и глаза руками.

— Идем! Поднимайтесь! — приказал ему Смок.

— Не могу, — простонал Мак-Кен.

Его скорченное тело содрогалось. Смок медленно подошел к Мак-Кену, с трудом заставляя себя преодолевать сковывавшую его летаргию. Он заметил, что мысли его ясны. Только тело было парализовано.

— Оставь его, — пробормотала Лабискви.

Но Смок заставил ирландца встать на ноги и повернул его лицом к пологому откосу, по которому им предстояло спуститься. Потом он слегка подтолкнул Мак-Кена, и тот, тормозя и правя палкой, нырнул в мерцание алмазной пыли и исчез.

Смок посмотрел на Лабискви. Она улыбалась и напрягала все силы, чтобы не упасть.

Кивком он приказал ей начать спуск, но она подошла к нему, и на расстоянии футов десяти друг от друга они понеслись вниз — в жалящую гущу холодного огня.

Как Смок ни старался тормозить, его тяжелое тело быстро стремилось вперед, и он понесся под откос со страшной быстротой, обгоняя Лабискви. Только когда он достиг обледеневшего ровного плато, скорость эта начала уменьшаться. Наконец ему удалось задержаться, к нему присоединилась Лабискви, и они вместе двинулись дальше, все медленней и медленней, пока не остановились. Летаргия сковывала их все сильнее. Самые бешеные усилия воли не могли заставить их двигаться быстрее улитки. Они проползли мимо Мак-Кена, скрючившегося на своих лыжах. Смок палкой заставил его встать.

— Мы должны сделать привал, — с мучительным трудом прошептала Лабискви. — А то мы умрем. Мы должны укрыться — так говорили старики.

Не тратя времени на развязывание узлов, она перерезала ремни своих тюков. Смок сделал то же самое, и, в последний раз взглянув на огненный смертоносный туман и на ложные солнца, они закутались в свои спальные мешки и крепко

прижались друг к другу.

Они почувствовали, что на них валится какое-то тело, потом услышали слабый стон и проклятия, прерванные страшным приступом кашля, и поняли, что это Мак-Кен. Ирландец прижался к ним, кутаясь в свои меха.

Они начали задыхаться. Сухой кашель, судорожный и беспрерывный, терзал им грудь. Смок заметил, что у него поднимается температура. С Лабискви происходило то же самое. Приступы кашля все учащались и усиливались, к вечеру они достигли предельной силы. Потом, мало-помалу, кашель утих, и они задремали, терзаемые последними его приступами, окончательно обессиленные.

Мак-Кен, однако, продолжал кашлять все сильнее и сильнее, и по его стонам и воплям они поняли, что он бредит. Один раз Смок сделал попытку откинуть меха. Но Лабискви крепко вцепилась в него.

— Нет! — взмолилась она. — Открыться сейчас — значит умереть. Прижмись лицом к моей парке, дыши как можно спокойней и не разговаривай.

Так они дремали, окутанные мраком, будя друг друга постепенно ослабевающим кашлем. После

полуночи, так решил Смок, Мак-Кен закашлялся в последний раз.

Смок проснулся от прикосновения чьих-то губ к его губам. Он лежал в объятиях Лабискви; его голова покоилась у нее на груди. Ее голос был весел и звучал как обычно. Глухой звук его исчез.

— Уже день, — сказала она, приподнимая край спальных мехов. — Смотри, любимый, уже день. И мы живы и не кашляем больше. Надо идти дальше, хотя я с радостью осталась бы здесь навсегда. Последний час был сладок. Я не спала и любила тебя.

— Не слышно Мак-Кена, — заметил Смок. — А что случилось с индейцами? Почему они не настигли нас?

Он откинул меха и увидел в небе обычное одинокое солнце. Дул мягкий, прохладный ветерок, предвещавший наступление теплых дней. Весь мир снова стал естественным. Мак-Кен лежал на спине; его немытое, закопченное дымом костров лицо было твердо, как мрамор. Это зрелище нисколько не огорчило Лабискви.

— Смотри! — воскликнула она. — Зимородок! Хорошая примета. Индейцы пропали бесследно.

XIV

Пищи было так мало, что они не решались съедать и десятую долю того, что им было необходимо, и сотую долю того, чего им хотелось. В последующие дни скитаний по пустынным горам все их восприятия притупились, и они брели как во сне. Время от времени Смок приходил в сознание и ловил себя на том, что тупо смотрит на бесконечные, ненавистные снежные вершины, а в ушах его еще звучит собственная бессмысленная болтовня. А потом проходили, казалось, века, и он снова чувствовал, что просыпается от своего же бормотания. Лабискви шла по большей части тоже бессознательно. Почти все их движения были бессознательны и автоматичны. И все время они пытались пробиться на запад, и все время снежные громады обманывали их и отбрасывали на север и юг.

— На юг пути нет, — говорила Лабискви. — Старики знают. Выход на западе, только на западе.

Вдруг стало холодно. Падал густой снег; это был даже не снег, а ледяные кристаллы, каждый величиной с песчинку. Весь день и всю ночь падали эти кристаллы и продолжали падать три дня и три ночи. Идти дальше было немыс-

лимо; надо было подождать, пока под лучами весеннего солнца эти кристаллы не превратятся в сплошную массу. Смок и Лабискви лежали, закутанные в свои меха, и отдыхали и оттого, что не двигались, ели меньше. Порции, которые они назначали себе, были так малы, что голод, исходивший не столько от желудка, сколько от мозга, не утихал ни на одну минуту. И Лабискви в каком-то бреду, обезумев от вкуса жалкого кусочка мяса, всхлипывая и задыхаясь, издавая резкие, животные крики радости, набрасывалась на завтрашнюю порцию и жадно поглощала ее.

И тогда глазам Смока представлялось удивительное зрелище. Вкус пищи приводил ее в сознание. Она выплевывала мясо и в страшном гневе била себя кулаками по греховному рту.

И еще много удивительного пришлось увидеть Смоку в последние дни. После долгого снегопада подул сильный ветер, вздымавший сухие и легкие ледяные кристаллы, словно в песчаном смерче. Всю ночь напролет крутился ледяной песок, и при ярком свете ясного ветреного дня Смок, у которого темнело в глазах и кружилась голова, увидел картину, которую он сначала принял за галлюцинацию. Вокруг него громоздились высокие и низкие пики, одинокие часовые, сон-

мы могучих титанов. И с вершины каждого пика, колыхаясь, трепеща, расстилаясь по лазурному небу, веяли исполинские снежные знамена, длиною в целые мили, молочные и серебристые. В них сплетались свет и тени, золотистые солнечные блики пробегали по ним.

— Поразительное зрелище! — воскликнул Смок, глядя на эти тучи снега, спеленутые ветром в небесные знамена цвета серебристого шелка.

Он все смотрел, и знамена не исчезали, и ему казалось, что он грезит, пока Лабискви не встала на ноги.

— Я грежу, Лабискви, — сказал он. — Смотри! Неужели ты тоже мой сон?

— Это не сон, — ответила она. — Старики рассказывали мне об этом. Теперь подуют теплые ветры, и мы останемся живы и сможем отдохнуть.

XV

Смок подстрелил зимородка, и они поделили его. А в какой-то долине, где из-под снега начинали пробиваться цветы, он застрелил полярного зайца. В другой раз он добыл тощего белого хорька. И это было все мясо, которое им удалось найти.

Лицо у Лабисквы исхудало, но яркие большие глаза ее стали еще больше и ярче, и когда она смотрела на него, ее лицо озарялось какой-то дикой, неземной красотой.

Дни становились все длиннее. Снег начинал оседать. Каждый день наст таял, и каждый день замерзал снова. Они шли утром и вечером, а в полуденные часы, когда наступала оттепель и наст не мог выдержать их тяжесть, им приходилось останавливаться и отдыхать. Когда блеск снега ослеплял Смока, Лабисквы тащила его на ремне, привязанном к ее поясу. А когда этот блеск ослеплял ее, она шла позади, держась за ремень, привязанный к поясу Смока. Изнемогая от голода, в постоянном бреду, они блуждали по пробуждавшейся земле, на которой не было другой жизни, кроме их собственной.

Несмотря на истощение, Смок дошел до того, что начал бояться сна — так ужасны, так мучительны были сновидения в этой безумной сумеречной стране. Ему все время снилась пища, и все время коварная прихоть сна вырывала ее у него изо рта. Он давал обеды своим старым товарищам в Сан-Франциско и, изнемогая от голода, сам руководил приготовлениями и украшал стол гирляндами пурпурных листьев осеннего вино-

града. Его гости опаздывали. Здороваясь с ними и смеясь над их остротами, он сгорал от бешеного желания поскорее сесть за стол. Он исподтишка подкрадывался к нему, тайком хватал горсть черных, спелых маслин и тотчас же поворачивался, чтобы поздороваться с новым гостем. Гости окружали его, хохоча и перебрасываясь остротами, а он стоял и, как безумный, сжимал в руке горсть спелых маслин.

Он давал много таких обедов, и все они кончались ничем. Он присутствовал на пиршествах, достойных самого Гаргантюа[10], где толпы гостей ели бесчисленных зажаренных целиком телят, вытаскивая их из горячих печей и отрезая острыми ножами огромные куски мяса от дымящихся туш. Он стоял с разинутым ртом перед длинными рядами индеек, которых продавали лавочники в белых передниках. Их покупали все, кроме Смока; а он все стоял, разинув рот, прикованный к земле какой-то свинцовой тяжестью. Он снова был мальчиком и сидел с занесенной ложкой над огромной чашкой молока, в котором плавали куски хлеба. Он гнался по горным

[10] notes: 10

Гаргантюа — главный герой знаменитого произведения Рабле под тем же названием. Это имя стало прозвищем жадного и обжорливого человека.

пастбищам за пугливыми коровами; проходили века, а он тщетно пытался напиться их молока и изнемогал от голода. В омерзительных тюрьмах он сражался с крысами за падаль и отбросы. Не было такой пищи, вид которой не доводил бы его до исступления.

Только раз ему приснился приятный сон. Изнемогая от голода, не то потерпев кораблекрушение, не то высаженный на необитаемый остров, он боролся с волнами Тихого океана за прилипшие к прибрежным скалам раковины и таскал их через дюны к сухим водорослям, выброшенным на берег прибоем. Из этих водорослей он развел костер и положил свою драгоценную находку на угли. Он смотрел, как от раковин валит пар, как устрицы раскрываются, обнажая розоватое мясо. Сейчас они будут готовы — он знал это; и теперь уже ничье неожиданное вмешательство не отнимет у него еды. Наконец-то сбудется мечта, подумал он во сне. Наконец-то он поест. И все же, несмотря на свою уверенность, он сомневался и подготовлял себя к неминуемому крушению грезы, пока розовое мясо, горячее и вкусное, не оказалось, наконец, у него во рту. Он впился в него зубами. Он ел. Чудо свершилось. Потрясение разбудило его. Он проснулся — было темно, он лежал на

спине и издавал радостное свиное хрюканье. Его челюсти двигались, он молол зубами мясо.

Он остался лежать недвижимо; и вот тонкие пальчики коснулись его губ и вложили ему в рот кусочек мяса. На этот раз он не съел его. Он рассердился, а Лабискви заплакала и, всхлипывая, заснула в его объятиях. А он лежал и не спал, дивясь любви, дивясь подвигу, на который способна женщина.

И вот настал день, когда все их запасы истощились. Зубчатые скалы отодвинулись, хребты стали ниже, им открылась дорога на желанный запад. Но к этому времени их покинули последние силы, пищи больше не было, и вот они вечером легли спать, а наутро не встали. Смок кое-как поднялся, упал и, ползая на четвереньках, стал раскладывать костер. Лабискви тоже сделала несколько попыток подняться, но каждый раз падала, окончательно обессиленная. Смок опустился рядом с нею; слабая улыбка дрогнула на его лице. Он смеялся над бессознательной привычкой, которая заставила его биться над никому не нужным костром. Жарить было нечего, а день стоял теплый. Легкий ветерок вздыхал в соснах, и повсюду из-под тающего снега журчала музыка невидимых ручейков.

Лабискви лежала в оцепенении. Ее грудь вздымалась так незаметно, что временами Смок думал, что она уже мертва. В полдень его разбудил далекий крик белки. Волоча тяжелое ружье, он поплелся по насту, уже покрытому водой. Он полз на четвереньках, вставал, падал ничком, снова полз — полз туда, где была белка, дразнившая его яростным стрекотанием и медленно, как бы издеваясь, уходившая от него. Выстрелить сразу у него не хватало сил, а белка все не останавливалась. Порой он падал в мокрую снежную кашицу и плакал от слабости. Порой свеча его жизни начинала гаснуть, и его окутывал мрак. Он упал в обморок и лежал — он сам не знал, как долго. Вечерний холод привел его в себя: его мокрая одежда примерзла ко вновь образовавшемуся насту. Белка исчезла, и после мучительной борьбы он дополз до Лабискви. Он был так слаб и измучен, что всю ночь напролет пролежал как мертвый и ни на минуту не заснул.

Солнце стояло высоко в небе, и та же самая белка стрекотала в деревьях, когда рука Лабискви прикоснулась к щеке Смока и разбудила его.

— Положи мне руку на сердце, любимый, — сказала она ясным, но слабым, звучащим откуда-то издалека голосом. — Мое сердце — моя любовь.

Возьми ее в руки.

Казалось, прошли века, прежде чем она заговорила вновь.

— Помни, на юг пути нет. Народ карибу знает это хорошо. Выход на запад… Ты уже почти пришел… Ты достигнешь его…

Смок погрузился в оцепенение, подобное смерти, но она опять разбудила его.

— Прижмись к моим губам твоими губами, — сказала она. — Так я хочу умереть.

— Мы умрем вместе, счастье мое, — ответил он.

— Нет. — Дрожащей рукой она остановила его. Ее голос был так слаб, что Смок с трудом слышал его, и все же он разобрал каждое ее слово. Ее рука начала шарить в капюшоне парки; она достала какой-то мешочек и вложила его в руку Смока. — Теперь губы, любимый. Твои губы к моим и руку на мое сердце.

И в этом долгом поцелуе его снова окутал мрак. И когда к нему вернулось сознание, он понял, что он один и что он должен умереть. И он радовался приближению смерти.

Он почувствовал, что рука его лежит на мешочке. Мысленно улыбаясь любопытству, заставившему его дернуть шнурок, он развязал мешочек.

Жиденький поток пищи пролился из него. В нем не было ни крошки, которой бы он не узнал. Все это Лабискви украла у Лабискви — огрызки хлеба, припрятанные давным-давно, еще до того, как Мак-Кен потерял муку, наполовину разжеванные кусочки мяса карибу, крошки вяленого мяса, нетронутая задняя нога кролика, задняя нога и часть передней ноги белого хорька, крыло и ножка зимородка, на которых еще виднелся оттиск ее зубов, — жалкие объедки, трагическое самоотречение, самораспятие жизни, крохи, украденные ее невероятной любовью у чудовищного голода.

Смок с безумным смехом высыпал все это на затвердевший наст и снова погрузился во мрак.

Он видел сон. Юкон высох. Он шел по его руслу среди тинистых луж, обледенелых утесов и подбирал крупные золотые зерна. Их тяжесть клонила его к земле, но вдруг он открыл, что их можно есть. И он с жадностью начал пожирать их. Отчего же, в конце концов, люди ценят золото, как не оттого, что его можно есть?

Он проснулся. Снова взошло солнце. Его мысли странно путались. Но зрение его уже не меркло. Дрожь, терзавшая все его тело, исчезла. Его плоть, казалось, пела, точно напоенная весной. Бесконечное блаженство охватило его. Он повернулся,

чтобы разбудить Лабискви, — и вспомнил все. Посмотрел туда, куда он накануне бросил пищу. Ее не было. И он понял, что эти сухие корки и объедки и были золотыми зернами его бредового сна. В бредовом сне он вернул себе жизнь, принял жертву Лабискви, положившей свое сердце в его ладонь и открывшей ему глаза на женщину и на чудо.

Он поразился легкости своих движений, поразился тому, что смог дотащить ее тело, завернутое в меха, до песчаной полосы, оттаявшей под лучами солнца. Там он вырыл яму и похоронил Лабискви.

Три дня шел он на запад — без крошки пищи. На третий день он упал под одинокой сосной на берегу широкого вскрывшегося потока. Он понял, что это Клондайк. Прежде чем мрак окутал его, он развязал свой тюк, сказал последнее «прости» ослепительному миру и завернулся в свои меха.

Веселое чириканье разбудило его. Смеркалось. В ветвях сосны над его головой копошилось несколько куропаток. Голод заставил его действовать, но его движения были бесконечно медленны.

Прошло пять минут, прежде чем он приложил ружье к плечу, и еще пять минут, прежде

чем осмелился спустить курок, лежа на спине и целясь прямо вверх. Он промахнулся. Ни одна птица не свалилась на землю, но и ни одна не улетела. Они продолжали свою глупую, неуклюжую возню. У него болело плечо. Второй выстрел тоже оказался неудачным, так как пальцы его невольно дрогнули, когда он спускал курок.

Куропатки не улетели. Он вчетверо сложил мех, которым только что покрывался, и засунул его между боком и правой рукой. Упираясь в него прикладом, он выстрелил еще раз, и одна птица упала. Он жадно схватил ее и увидел, что с нее сорвано почти все мясо. Пуля крупного калибра оставила только комок испачканных кровью перьев. Но птицы все еще не улетали, и он решил, что нужно целиться только им в головы. Так он и сделал. Снова и снова он заряжал винтовку, давал промахи, попадал. А глупые куропатки, слишком ленивые, чтобы улететь, падали на него, как манна небесная, отдавая свои жизни для того, чтобы продлить его жизнь.

Первую он съел сырой. Потом лег и спал, пока в его жизни растворялась чужая жизнь. Он проснулся в темноте. Почувствовал, что голоден, и нашел в себе достаточно сил, чтобы развести костер. И до самого рассвета жарил и ел, жарил и

ел, размалывая кости в порошок своими отвыкшими от пищи зубами. Потом заснул, проснулся — снова была ночь — снова заснул и спал до следующей зари.

Он очень удивился, увидев, что костер весело трещит, а сбоку на груде углей дымится закопченный кофейник. У огня — можно было дотронуться рукой — сидел Малыш, курил коричневую папиросу и внимательно смотрел на него. Губы Смока зашевелились, но гортань его была как бы скована, а грудь сотрясалась от подступавших рыданий. Он протянул руку, схватил папиросу и жадно затянулся.

— Я давно не курил, — сказал он, наконец, тихим, спокойным голосом. — Очень давно.

— Да и не ел тоже, как видно, — ворчливо отозвался Малыш.

Смок кивнул и указал рукой на валявшиеся вокруг него перья куропаток.

— До вчерашнего вечера, — сказал он. — Знаешь, я бы выпил кофе. Странный у него будет вкус. И у блинчиков… и у сала…

— И у бобов, — соблазнял его Малыш.

— Небесная пища! Кажется, я опять проголодался.

Пока один из них стряпал, а другой ел, они

вкратце рассказали друг другу все, что случилось с ними за время разлуки.

— Клондайк вскрылся, — закончил Малыш свою повесть, — и нам пришлось ждать, пока пройдет лед. Две плоскодонки, шесть человек — ты их знаешь, все ребята ходовые, — ну и всякое снаряжение! Шли мы быстро — баграми, на канате и волоком. А потом застряли на неделю у порогов. Тут я оставил их. Мне, конечно, хотелось идти как можно скорее. Словом, я набил мешок продовольствием и тронулся в путь. Я знал, что найду тебя где-нибудь бредущим и окончательно раскисшим.

Смок кивнул и молча протянул ему руку.

— Идем! — сказал он.

— Но ты слаб, как грудной младенец! Ты не можешь идти. Куда нам торопиться?

— Малыш, я иду за самым великим, что только есть в Клондайке. Я не могу ждать, вот и все. Укладывайся! Это величайшая вещь во всем мире. Это больше, чем золотые озера и золотые горы, больше, чем приключения, медвежатина и охота на медведей.

Малыш сидел и таращил глаза.

— Нет, я в полном уме. Быть может, человеку надо перестать есть, чтобы у него открылись гла-

за. Так или иначе, я видел вещи, которые мне и не снились. Я знаю, что такое женщина… теперь.

У Малыша открылся рот, и в уголках губ и в глазах заиграла улыбка.

— Пожалуйста, не надо, — мягко сказал Смок. — Ты не знаешь, а я знаю.

Малыш тяжело вздохнул и дал своим мыслям иное направление.

— Гм! Я и без посторонней помощи назову тебе ее имя. Все прочие отправились сушить Нежданное озеро, а Джой Гастелл сказала, что не пойдет. Она бродит вокруг Доусона и все ждет, не приволоку ли я тебя. Эта девушка клянется, что если я вернусь без тебя, она продаст все свои заявки, наймет армию стрелков, отправится в Страну Карибу и вышибет всю начинку из башки старика Снасса и его банды. И если ты на две минуты придержишь своих коней, то я, кажется, успею упаковаться, снарядиться и отправиться в путь-дорогу вместе с тобой.

ПРИНЦЕССА


٨٠٨

Принцесса

В джунглях ярко пылал костер, около которого, небрежно развалясь, лежал какой-то человек, веселый на вид и страшный. Заросли этой узкой лесной полосы между железной дорогой и берегом реки были любимым приютом бродяг. Но лежавший не был настоящим бродягой. Он так низко погряз в общественной клоаке, что настоящий бродяга ни за что не сел бы с ним у одного костра. Новичок, недавно вышедший на «дорогу», мог бы еще присесть к его огню, но остался бы в его обществе только до тех пор, пока не распознал бы соседа. Даже самые низкие жулики и отъявленные мошенники прошли бы мимо такого человека. Настоящий бродяга, два-три проходимца или шайка молодых воришек, может быть, пошарили бы в его лохмотьях в тщетной надежде найти пару завалявшихся монет и затем разделались бы с ним, дав затрещину. Даже последний пропойца поставил бы себя намного выше его. Ибо этот человек был хуже всякого бродяги — опустившимся пьяницей, превратившимся в самого последнего пройдоху, который не способен даже «вскипеть», обозлившись. У

него не осталось и крупицы гордости, и он мог подбирать объедки из помойки. Действительно, вид этого человека был ужасен. Ему можно было дать лет шестьдесят и больше; на его лохмотья не взглянул бы и тряпичник.

Лежавший около него узелок заключал в себе изорванный пиджак, прокопченную жестянку из-под томатов, пустую погнутую жестянку из-под сгущенного молока, кусок жилистого, самого дешевого мяса, каким кормят собак, завернутый в оберточную бумагу, выпрошенный, вероятно, у какого-нибудь мясника, морковь, раздавленную тяжелым колесом на улице, три прелых картофелины и сдобный обгрызанный хлебец, покрытый засохшей грязью, очевидно, подобранный на улице.

Лицо бродяги обросло густой бородой: грязно-серая, давно не подстригавшаяся, она торчала свалявшимися комьями. Борода, вероятно, была белого цвета, но дожди еще не успели смыть с нее грязь. Лицо этого человека выглядело так, точно оно когда-то было изуродовано ручной гранатой: сломанный нос без переносицы; одна ноздря, величиной с горошину, обращена вниз, другая же, с воробьиное яйцо, направлена кверху. Один глаз — обычной величины, темно-карий и мутный,

словно заплаканный от старости, чуть не выскакивал из орбиты. Другой же, чуть больше глаза белки и такой же, как у этого зверка, блестящий, косо смотрел кверху на волосатый шрам около брови. У бродяги была только одна рука.

Однако он был весел. Его изуродованное лицо излучало благодушие. Он вяло почесывал себе бок единственной рукой. Разложив остатки пищи, он из внутреннего кармана пиджака вытащил двенадцатиунцовую аптекарскую склянку с какой-то бесцветной жидкостью. Увидев склянку, маленький глаз забегал быстрее. Взяв жестянку из-под томатов, человек встал, спустился к речке и принес мутной воды. В жестянке из-под сгущенного молока он составил смесь из воды и жидкости из бутылки. Бесцветная жидкость была спиртом, который на жаргоне бродяг носит название «алки» (от слова алкоголь).

Чьи-то медленные шаги по железнодорожной насыпи заставили его насторожиться, и он не успел выпить свою смесь. Осторожно поставив банку между ног на землю, он накрыл ее шляпой и беспокойно ждал.

Из темноты выступил человек, такой же грязный и оборванный, как он. Пришедший, по виду лет пятидесяти-шестидесяти, был комично толст.

Все его тело состояло из выпуклостей. Толстый нос был величиной с репу. Его веки едва прикрывали нелепо вытаращенные выпуклые глаза. Одежда лопалась на выпуклостях его тела. Икры сливались со ступнями, так как разлезшиеся гетры не могли сдержать жира. У него была одна рука. На плече висел небольшой узел, покрытый засохшей грязью: следы последней стоянки.

Толстый бродяга шел с привычной осторожностью; удостоверившись, что человек у костра ему не опасен, он окликнул его:

— Здорово, дед! — но тотчас же остановился, пристально уставившись на его огромную зияющую ноздрю.

— Скажи, пожалуйста, Бородач, как ты ухитрился уберечь свою ноздрю от дождя?

Бородач проворчал что-то и плюнул в огонь в знак того, что вопрос этот ему не особенно приятен.

— Нет, в самом деле, — давился смехом толстяк. — Ведь выйдешь когда-нибудь в дождик без зонтика, как раз потонешь — не так ли?

— Будет, Толстяк, будет, — устало пробормотал Бородач. — Все равно ничего нового не скажешь. Я уже это слышал. Каждый дурак мне это говорит.

— Но пить-то все-таки можешь, надеюсь?

Успокоившись, толстяк стал ловко развязывать одной рукой свой сверток.

Он вытащил из него бутылку спирта в двенадцатиунцовой склянке. Чьи-то шаги, послышавшиеся на железнодорожной насыпи, встревожили его, и, поставив бутылку между ног, он накрыл ее шляпой.

Вновь пришедший принадлежал к тому же разряду людей, что и они, и тоже был однорукий. Вид его был так неприветлив, что даже приветствие казалось ворчанием. Высокий, широкоплечий, худой как скелет, с головой, точно мертвый череп, он был отвратителен, как один из кошмарных образов старости, созданных Доре.

Под его большим горбатым носом, который почти соприкасался с подбородком и был похож на клюв хищной птицы, беззубый рот его с тонкими губами казался шрамом. Единственная рука, худая и изогнутая, напоминала коготь. Маленькие серые глазки, неподвижные, немигающие, были жестоки и беспощадны, как смерть.

В нем было что-то жуткое, а потому Бородач и Толстяк инстинктивно прижались друг к другу для совместной защиты против чего-то непонятного и угрожающего, что было в нем. Следя за ним

исподтишка, Бородач взял на всякий случай в руку большой, в несколько фунтов весом камень. Толстяк занял оборонительную позицию.

Затем оба, облизывая губы, сели виновато и неловко, а страшный человек смотрел пронзительно своими немигающими глазами то на одного, то на другого, то на приготовленный камень.

— Аа! — произнес страшный с такой свирепой угрозой, что заставил Бородача и Толстяка невольно взяться за их оружие пещерного человека.

— Аа! — повторил он, быстро и ловко опуская свой коготь в боковой карман. — Куда вам к черту, двум мелким пройдохам, со мной сравняться!

Коготь появился снова с шестифунтовым железным кистенем.

— Мы вовсе не хотим заводить ссоры, Тощий, — сказал Толстяк.

— А кто ты такой, что смеешь звать меня Тощим? — крикнул тот в ответ.

— Я, я — Толстяк… И так как я тебя раньше никогда не видел…

— А то Бородач, верно, с таким большим и ярким фонарем под бровью и с таким, прости Господи, милым, разъехавшимся по всему лицу

носом.

— Ладно, ладно, — пробормотал недовольно Бородач. — В наши годы всякая рожа хороша. Все это для меня не новость. И что зонтик мне нужен, когда идет дождь, чтобы не утонуть, и все прочее.

— Я не привык к обществу. Не люблю его, — проворчал Тощий. — А поэтому, если вы хотите иметь со мной дело, то будьте потише. Вот и все.

Он вытащил из своего кармана окурок сигары, очевидно, подобранный где-то на улице, и приготовился засунуть его в рот, но передумал, свирепо оглядел своих товарищей и развернул узел. В его руке появилась аптекарская двенадцатиунцовая склянка со спиртом.

— Что ж, — пробормотал он, — придется и вас угостить, хотя у меня самого мало, чтоб хорошо выпить.

Какой-то необычно мягкий свет озарил его увядшее лицо, когда он увидел, как два других гордо подняли свои шляпы и показали собственные запасы.

— Вот вода для разбавки, — сказал Бородач, придвигая ему жестянку из-под томатов, наполненную грязной водой. — Там выше пасется скот… — прибавил он, извиняясь. — Но говорят…

— А! — отрезал Тощий, смешивая питье. — В свое время я пивал похуже этого…

Но когда все было готово и каждый взял свою жестянку со спиртом, три существа, трое бывших людей, по старой привычке остановились, почувствовав некоторую неловкость.

Бородач первый прервал смущенное молчание.

— А я пивал и более тонкие напитки, — похвалился он.

— Из оловянного ковша, — ухмыльнулся Тощий.

— Из серебряного кубка, — поправил Бородач.

Тощий испытующе-вопросительно уставился на Толстяка.

Толстяк кивнул.

— Ниже солонки[11], — сказал Тощий.

— Выше, — поправил Толстяк. — Я знатного рода и никогда не ездил во втором классе. Или первый класс, или трюм, но не второй.

— А ты? — спросил Бородач Тощего.

— Бил бокалы в честь королевы, дай Бог ей здоровья, — ответил Тощий серьезно, без тени

---

[11] notes: 11

В рыцарские времена солонка ставилась посредине стола; по одну сторону, т. е. «выше», сидели хозяева и почетные гости; «ниже» — сидела свита и менее почетные гости.

усмешки.

— В буфетной! — поддразнил Толстяк.

Тощий потянулся к своему железному кистеню, а Бородач и Толстяк схватились за камни.

— Ну, не будем горячиться, — сказал Толстяк, опуская свое оружие. — Мы не какой-нибудь сброд. Мы джентльмены. Выпьем, как настоящие джентльмены.

— По-настоящему, — весело сказал Бородач.

— До бесчувствия, — согласился Тощий. — Да, много спирту утекло с тех пор, как мы были джентльменами. Но забудем длинный путь, который мы прошли, и чокнемся как следует. Выпьем, как пили джентльмены на сон грядущий в дни нашей юности!

— Мой отец, — начал Толстяк, и речь его вдруг изменилась и стала более правильной, из нее исчезли словечки босяцкого жаргона.

Двое других кивнули в знак того, что и они происходили от таких же отцов, и подняли свои жестянки со спиртом.

Когда они осушили до капли свои склянки со спиртом, они вытащили из лохмотьев новые склянки. Головы бродяг стали приятно кружиться, хотя не настолько, чтобы они открыли друг другу свои настоящие имена. Они оставили

босяцкий жаргон и говорили на правильном английском языке.

— Таков мой организм, — вещал Бородач. — Мало людей, которые могли бы выдержать то, что выдержал я. Я никогда не берегся. Если бы моралисты и физиологи говорили правду, я давно должен был бы умереть. Да и вы оба так же выносливы. Посмотреть только на вас! В наши преклонные годы пьем мы так, как не пьют молодые, спим на голой земле, не защищенные от мороза, дождя и ветра, не боимся воспаления легких или ревматизма, который и молодежь укладывает в госпиталь.

Он стал приготовлять себе вторую порцию спирта с водой, а Толстяк кивнул в знак согласия и прибавил:

— И повеселиться мы умели, — похвалился он, — и «нежные слова шептали возлюбленной»... — процитировал он Киплинга. — И шатались всюду, и белый свет видели...

— В свое время, — закончил Тощий его речь.

— Верно, верно, — подтвердил Толстяк. — И принцессы любили нас... по крайней мере — меня...

— Расскажи-ка об этом, — попросил Бородач. — Целая ночь впереди, почему бы нам не вспомнить

о королевских чертогах.

Толстяк не возражал, откашлялся и задумался.

— Нужно сказать, что я происхожу из хорошей семьи… Персиваль Дэланей, скажем… Да, скажем… Персиваль Дэланей; он был небезызвестен в Оксфорде когда-то… известен, конечно, не своей ученостью, откровенно признаюсь в этом, но любая веселая молодая собака, любившая покутить, если жива хоть одна из них, помнит это…

— Мои предки пришли вместе с Вильгельмом Завоевателем, — прервал Бородач, протягивая Толстяку руку.

— А как звали ваших предков? — спросил Толстяк. — Я что-то не расслышал.

— Делярауз, Чонсей Делярауз… то есть, скажем, так…

Они пожали друг другу руки и взглянули на Тощего.

— О да, теперь мы желали бы…

— Брюс Кадоган Кавэндиш, — угрюмо проворчал Тощий. — Ну, Персиваль, рассказывай о своих принцессах и о королевских чертогах.

— Да, в молодости я был настоящим чертом, — сказал Персиваль, — я сорил деньгами, занимался спортом, рыскал по всему свету. Я был мужчиной приятной наружности, пока не стал таким, как

теперь… Поло, скачки с препятствиями, бокс, борьба, плавание… Я получал медали за прыжки. Я охотился в Австралии и взял там несколько призов за плавание на расстояние более четверти мили. Женщины заглядывались на меня, когда я появлялся на улице. Женщины! Дай Бог им здоровья!

И Толстяк, он же Персиваль Дэланей, это курьезное подобие человека, прижал свои пальцы к толстым губам и послал звездному небу воздушный поцелуй.

— А принцесса… — задумчиво сказал он, послав звездам еще один поцелуй. — Она была таким же прекрасным экземпляром женщины, как я мужчины… отважна, весела, безудержна и чертовски смела! Боже, Боже! В волнах морских она была сирена, богиня моря! А что до ее происхождения, то рядом с ней я был «парвеню» — выскочка. Ее царственное происхождение терялось во мраке древности. Она не принадлежала к племени светлокожих. Она была смугло-золотая, с золотисто-карими глазами, с волосами, падающими до колен, иссиня-черными и прямыми; они только слегка завивались на концах, что придает особенную прелесть волосам женщины. Она была полинезийка — пылкая, золотистая, нежная,

милая, царственная полинезийка!

Он остановился, чтобы в память ее поцеловать кончики пальцев, а Тощий, он же Брюс Кадоган Кавэндиш, не преминул воскликнуть:

— Да, если ты и не успевал в науках, то все-таки вынес из Оксфорда недурной лексикон.

— Я обогатил свой словарь в южных морях, — там я усвоил много слов из лексикона любви, — живо откликнулся Персиваль на замечание Тощего.

— Это произошло на острове Талофе, — продолжал он, — это был ее остров, Остров Любви. Ее отец, король, был стар; он сидел неподвижно на циновках — у него были парализованы ноги — и пил джин день и ночь от тоски, от острой тоски. Она, моя принцесса, была его единственной дочерью; брат ее погиб на своей двойной пироге во время урагана, плывя в Самоа. У полинезийцев царевны имеют равное право на царство с мужчинами. Полинезийцы ведут свой род по женской линии.

При этом Чонсей Деларауз и Брюс Кадоган Кавэндиш кивнули в знак подтверждения.

— А! — сказал Персиваль. — Я вижу, что вы знаете южные моря, и думаю, что вы уже оценили чары моей принцессы. Принцессы Туи-Нуии с

острова Талофы, принцессы Острова Любви.

Он еще раз поцеловал в честь ее кончики пальцев, хлебнул из своей жестянки хороший глоток спирта и еще раз послал воздушный поцелуй.

— Но она была скромна и застенчива и не подходила ко мне близко. Когда я хотел обнять ее, ее уже не было. Я изведал как никогда ни прежде, ни после тысячу нежных и сладостных любовных томлений, манящих, угасавших и вновь возникавших по воле самой Богини Любви.

— Ну и лексикон! — пробормотал Брюс Кадоган Кавэндиш в сторону Чонсея Деляравза. Но Персиваль Дэланей пропустил это замечание мимо ушей; послал ночи воздушный поцелуй и продолжал:

— Сквозь все сладостные муки Дантова ада вела меня моя принцесса. Ах, эти дурманящие тропические ночи под пальмами, этот отдаленный шум прибоя, словно томный шепот огромной морской раковины, и моя принцесса, которая, казалось, готова была растаять в огне моей страсти, но проходила минута… и вдруг раздавался ее смех, подобный ропоту серебряных труб, и это превращало мой любовный пыл в безумие.

Моя борьба с чемпионами острова Талофы — вот первое, что заинтересовало ее. Своими

успехами в плавании я пробудил ее чувства. А после одного своего подвига я получил от нее нечто поважнее, чем кокетливую улыбку и застенчиво-робкие намеки на тайное свидание.

В тот день мы ловили осьминогов на приманку в коралловых рифах, — вы, разумеется, знаете, как это делается. Мы ныряли со скалы на пять, на десять саженей, словом, на подходящую глубину, и засовывали палку с приманкой в отверстия и углубления кораллового рифа, куда может забраться осьминог. Палку, заостренную на обоих концах и имевшую около фута длины, нужно было держать с приманкой перед норой осьминога до тех пор, пока осьминог не опутает своими щупальцами и палку, и руку. Затем всплывали на поверхность и били по голове осьминога, которая находится как раз в середине его тела, и сбрасывали осьминога в пирогу... И подумайте, я проделывал все это!

Персиваль Дэланей остановился на минуту, словно удивляясь при воспоминании величественной картины дней своей юности.

— Однажды я вытащил осьминога со щупальцами длиной в восемь футов, достав его на глубине пятидесяти футов. Я мог оставаться под водой четыре минуты. Я опускался на сто десять футов

глубины, чтобы вытащить зацепившийся якорь. Я мог нырять спиной, перекувырнувшись на лету, мог бросаться в воду с высоты восьмидесяти футов!

— Оставь, брось, перестань! — недовольна ворчал Чонсей Делярауз. — Рассказывай лучше о принцессе, о том, что волнует старую кровь. Я так и вижу ее. Она была очень хороша?

Персиваль Дэланей, не находя слов, стал целовать кончики пальцев.

— Я ведь сказал уже, что это была сирена. Да, действительно, сирена! Когда ее шхуна потерпела крушение, она пробыла в воде тридцать шесть часов, прежде чем ее подобрали. Я видел, как она ныряла на девяносто футов и поднималась, держа в обеих руках по жемчужине. Да, она была необыкновенна! Как женщина она была восхитительна. Я сказал, что это была богиня моря. Да! О, Фидий или Пракситель, изваяв ее дивное тело, создали бы бессмертное чудо!

Вот в тот же день, после ловли осьминогов, я был почти болен от любви к ней. Безумен… Я знаю, что я стал из-за нее безумцем. Мы спускались через борт большой пироги и ныряли рядом в прохладу изумрудных волн. Она смотрела на меня, когда мы плыли, и я испытывал Танталовы

муки, безумствовал под ее взором. И наконец там, под водой, на большой глубине, я потерял над собою контроль и схватил ее. Она увернулась, как сирена, и я увидел ее смеющееся лицо, когда она нырнула. Она опускалась все глубже, но я знал, что она не уйдет от меня, потому что я был между нею и поверхностью моря; но на дне она вдруг стала взрывать своей палкой мелкий коралловый песок, который мутил воду. Этот старый прием употреблялся, когда спасались от акулы. Принцесса пустила его в ход против меня. Я потерял из виду мою сирену. А когда я поднялся на поверхность воды, сирена цеплялась за борт пироги и смеялась.

Все же я не был отвергнут. Она взяла меня за руку и сказала: «Мы должны начать состязание: кто из нас достанет больше осьминогов и кому достанется самый большой и самый маленький осьминог». Поскольку призом служили поцелуи, то вы поймете, в каком состоянии я бросился в воду. Но я не поймал ни одного осьминога и никогда с тех пор не ловил их. Вот что случилось, когда мы на глубине тридцати футов искали осьминогов в щелях кораллового рифа. Я увидел подходящее отверстие и едва убедился, что оно пусто, как вдруг ощутил близость чего-то страш-

ного. Я повернулся. Около меня была огромная акула футов шести в длину. Глаз ее горел, как у кошки, сверкал, как звезда. Я понял, что это самая свирепая тигровая акула.

Справа от меня, на расстоянии не более десяти футов, принцесса ощупывала своей палкой коралловую ветвь; акула стремительно бросилась к ней. У меня была только одна мысль: во что бы то ни стало отвлечь страшного хищника. Разве я не был безумно влюбленным, который с радостью готов биться на жизнь и на смерть, — или, лучше сказать, биться за жизнь и за счастье — за свою возлюбленную? Не забывайте, что она была женщиной необыкновенной и что я пылал к ней страстью.

Вполне понимая опасность своего поступка, я ударил острием моей палки акулу в бок. Этот толчок для акулы был прикосновением легкой ветки. Но хищница повернулась ко мне. Вы знаете южные моря, знаете, что тигровая акула, как лысоголовый медведь Аляски, не отступает никогда. В морской глубине началась борьба, если можно назвать это борьбой: ведь все преимущества были на одной стороне.

Ничего не подозревая, принцесса схватила осьминога и поднялась на поверхность моря. Акула

бросилась на меня. Я ударил ее обеими руками по носу над зубастой открытой пастью, а она опрокинула меня на острый отросток кораллового рифа. У меня на спине и теперь еще виден рубец. При каждой моей попытке встать она бросалась на меня. Я не мог оставаться под водой без воздуха. Как только она кидалась на меня, я бил ее по носу руками. Я вырвался бы от нее невредимым, если бы не соскользнула моя правая рука прямо в пасть акулы. Она сжала челюсти чуть пониже моего локтя. Вы знаете, что такое зубы акулы. Раз сомкнувшись, они уже более не разомкнутся, пока не покончат со своей добычей. Я пытался вырвать руку, а потому акула дочиста содрала мясо с моей руки от локтя до самой кисти, где ее зубы сжались еще крепче, и моя правая рука стала для акулы возбуждающей аппетит закуской.

Но пока она грызла мою руку, я всунул палец левой руки ей в глаз и вырвал его. Однако она не унялась. Человеческое мясо раздразнило ее. Она старалась поймать окровавленную культышку моей правой руки. Несколько раз я отбивался от нее свободной левой рукой. Затем ей снова удалось схватить мою бедную правую руку, и, сжав челюсти, она содрала все мясо от плеча до локтя и проглотила. Но в ту же минуту моей здоровой

рукой я выдавил ей второй глаз.

Персиваль Дэланей вздрогнул и продолжал:

— С пироги все это видели и удивлялись мне. На острове до сих пор поют обо мне песнь и рассказывают легенду. О принцессе тоже.

Он сделал краткую, но многозначительную паузу.

— Принцесса вышла за меня замуж… О, эти дни успеха и неудач, этот круговорот судьбы и времени, превратность счастья, деревянные башмаки и лакированные ботинки, французская канонерка, завоеванное королевство Океании, до сего дня управляемое грубым, безграмотным колониальным жандармом, и…

Он оборвал свой рассказ, схватил свою жестянку из-под сгущенного молока и стал жадно пить обжигающий напиток.

После соответствующей паузы начал свой рассказ Чонсей Делярауз, он же Бородач.

— Не буду хвастаться местом своего рождения и рассказывать, как я опустился до того, что сижу здесь, у этого костра с… кем придется. Могу сказать, однако, что и я тоже был когда-то не совсем заурядным человеком. Прибавлю к этому, что лошади, а также не слишком добросердечные родители заставили меня повидать белый свет.

Я попользовался своей свободой как следует, — быстро говорил Бородач, — на меня ничто не действовало при моем железном здоровье. Мне перевалило за пятьдесят, и на пройденном длинном пути я похоронил многих более молодых, не выдержавших скитальческой жизни. Я видел горе, когда был молод. Я вижу много горя теперь, когда я стар. Но было время, увы, слишком короткое время, когда я видел много радости.

Я тоже посылаю воздушный поцелуй в честь принцессы моего сердца! Она действительно была принцесса полинезийка. Она жила на тысячу с лишком миль на восток от Острова Любви Дэланея. Туземцы, живущие в этой части южных морей, называют остров, на котором она жила, Веселым Островом. Но точный перевод названия, данного ему самими его жителями: «Остров Тихого Смеха». На карте вы найдете неправильное его название, данное старыми мореплавателями, — Манотомана. Образованные моряки, совершавшие плавание вокруг него, называют его «Эдемом, лишенным Адама», а миссионеры — «Свидетелем Божиим», так как туземцы охотно принимали христианскую веру. Для меня же он был и вечно будет «Раем».

То был мой рай, ибо там жила моя принцес-

са. Королем там был Джон Азибели Тунги. Он был природным туземцем, происходившим от старшей и самой знатной ветви вождей, которая восходила до Ману, древнего родоначальника его расы. Короля называли Джоном Вероотступником. Он прожил долгую жизнь и часто менял веру. Сперва он принял католичество, сверг своих идолов, нарушил табу, изгнал туземных жрецов, казнил наиболее упорных из них и заставил всех подданных посещать церковь. Затем его обратили в свою веру купцы-протестанты, которые обнаружили в нем большую склонность к шампанскому. Он сплавил католических жрецов в Новую Зеландию. Большая часть его подданных всегда шла за ним, не исповедуя никакой религии, и миссионеры стали называть в своих проповедях остров короля Джона Новым Вавилоном.

Но шампанское, которым купцы слишком обильно угощали короля, весьма расстроило его желудок, и он спустя несколько лет присоединился к методистам: опять послал свой народ в церковь, запретил купцам курить трубки на улице по воскресеньям и оштрафовал одного из главных купцов на сто золотых соверенов за мытье палубы на шхуне в воскресное утро.

То было время жестоких религиозных законов, которое, должно быть, показалось слишком жестоким и самому королю Джону.

В один прекрасный день он разогнал методистов, отправил несколько сот своих подданных в Самоа за приверженность методизму и, в конце концов, придумал свою собственную религию, заставив поклоняться себе, как Богу. В этом ему была оказана помощь и поддержка со стороны одного ренегата с островов Фиджи. Так продолжалось пять лет. Может быть, королю надоело быть божеством, а может быть, повлияло и то, что его фаворит скрылся с шестью тысячами из королевской казны. Но, во всяком случае, реформированное веслейанство[12] вторично завладело им, и все его царство приняло веслейанство. Миссионера веслейанства он сделал первым министром; в отношении же купцов на этот раз проявил осторожность. Но все же купцы занесли остров короля Джона на черную доску и объявили ему бойкот, что свело доходы острова к нулю. Народ обнищал, и король Джон не мог нигде занять ни одного шиллинга.

---

[12] notes: 12

Веслейанство — по имени основателя секты Джона Веслея (1703–1791); обычно этих сектантов называют методистами.

Между тем король старился, он стал философом, и в душе его пробудилась старая атавистическая терпимость. Он призвал из Самоа своих изгнанных подданных, дал свободу купцам, учредил праздник любви, провозгласил религиозную свободу и высокий тариф; сам же вернулся к почитанию предков, отрыл из земли идолов, восстановил в сане немногих восьмидесятилетних жрецов и стал соблюдать табу. Все это было очень приятно купцам; всюду царило благоденствие. Конечно, большинство его подданных пошли за ним точно так же и в восстановлении языческого культа. Однако последователи католиков, протестантов и веслейан остались верны христианству, устроив себе несколько маленьких храмов. Король Джон не обращал на это никакого внимания, как и на кутежи и веселое времяпрепровождение купцов на берегу. Все шло хорошо, пока платились налоги. Даже когда его жена, королева Мамара, решила сделаться баптисткой и позвала к себе маленького, худого, слабого, опирающегося на палку миссионера, король Джон не препятствовал этому. Он настаивал только на том, чтобы эти странствующие представители разных религий жили на свои средства и не брали денег из царских сундуков.

Теперь все нити моего рассказа сплетаются в изысканный узор, именуемый… моей принцессой.

Бородач остановился, осторожно поставил на землю свою наполовину наполненную жестянку из-под сгущенного молока, про которую забыл, увлекшись рассказом, и звонко поцеловал кончики пальцев.

— Она была дочерью королевы Мамары. Необыкновенная женщина. Тип полинезийской Дианы. Она была чиста, скромна и застенчива, как фиалка; хрупка и нежна, как лилия. Ее глаза, сияющие и нежные, были подобны золотому цветку на газоне неба. Вся она была цветок, огонь и роса. В ней была сладость горной розы, нежность голубки. Она была соткана из добра и красоты, была набожна, исповедуя веру своей матери, принявшей веру Эбенезара Найсмита, баптистского миссионера. Но она была не только кроткой душой, кроткой небесной девой. Нет, она была женщиной, женщиной во всем, до последнего трепетного атома своего существа.

А я был выброшенным на берег обломком. Самый дикий не был так дик, как я. Я был самым развращенным из всей дикой и отпетой торговой банды. Я не знал удержу в картежной игре.

Я лучше всех играл в покер. Я был единственным из смертных — белых, смуглых и черных, осмелившимся ночью переплыть через проход Купи-Купи. Я проплыл через него ночью во время бури. Но все же у меня была скверная репутация. Я был беспокоен и опасен. Капитаны торговых судов привозили самые ужасные напитки в замечательных фляжках из самых диких стран Тихого океана, чтобы испытывать их действие на мне, и поили меня до зеленого змия. Я помню одного прожженного шотландца с Новогебридских островов. Это был отчаянный пьяница. Он умер от пьянства, и мы положили его в бочку из-под рома, запаковали и отправили на родину. Вот образец, прекрасный образец наших проделок на берегу Манотоманы.

Но из всего непостижимого, что я проделывал, самым непостижимым было то, что однажды я влюбился в принцессу с первого взгляда. Вот это была штука! Я был безумен, как заяц в марте. Я принял новую веру. Подумайте только! Подумайте, что может сделать эфирное создание с самым отчаянным повесой! Клянусь чертом, что это правда. Я принял новую веру. Я пошел в церковь. Я очистил свою душу перед Богом и старался держать подальше руки — у меня тогда еще были

обе руки — от подлой береговой банды, которая издевалась над моей последней проделкой и осыпала меня вопросами, в чем смысл моей затеи.

Говорю вам, что я принял новую веру и со всем пылом и искренностью отдался религиозному чувству, которое сделало меня с тех пор терпимым ко всякой религии. Я уволил моего самого лучшего капитана за безнравственность. То же я сделал с моим поваром, лучше которого не было на всей Манотомане. По той же причине я разделался с моим главным клерком. И в первый раз за все время моей торговли мои шхуны повезли на Запад Библию. Я построил на окраине города небольшое бунгало, на улице, усаженной манговыми деревьями, недалеко от маленького домика, занимаемого Эбенезаром Найсмитом. Я сделал его своим другом и товарищем, найдя в нем сосуд, переполненный сладостью мудрости и добра. И вместе с тем он был мужчиной, настоящим мужчиной. Он долго жил, и я рассказал бы вам о нем, если бы только история эта не была так длинна. Но ответственность за то, что я свое благочестие претворял в дела, падала больше на принцессу, а не на миссионера. И построил новую церковь — церковь королевы-матери.

«Наша бедная церковь, — сказала мне прин-

цесса как-то вечером, после одного собрания верующих (я тогда исповедовал новую веру всего каких-нибудь две недели), — так мала, что число прихожан не может расти. И крыша протекает. А король, мой жестокосердый отец, не дает нам ни одного пенни, хотя дела его казны поправляются. Манотомана не бедна. Много денег купцы безумно расточают. Я знаю это. Ходят слухи о безобразиях на берегу. Не прошло еще месяца с тех пор, как вы проиграли в одну ночь в карты больше, чем мы тратим на содержание нашей бедной церкви в год».

Я сказал ей, что это правда, но что это случилось раньше, чем я прозрел; сказал, что теперь я уже не пью вина и не играю в карты, сказал, что она может сейчас же приказать плотникам-христианам нашей общины починить крышу. Но принцесса была полна мыслью о торжественном богослужении в большом храме, где Эбенезар Найсмит мог бы проповедовать.

«Вы богаты, — обратилась она ко мне, — у вас много шхун, ваши купцы торгуют на далеких островах, и я слышала, что вы заключили договор на большие подряды для немецких плантаций в Уполю. Говорят, что после Швейцера вы здесь самый богатый купец. Я желала бы, чтобы вы

употребили часть ваших денег во славу Бога. Это было бы благое дело, и я гордилась бы знакомством с человеком, который сделал бы это».

«Хорошо, — сказал я, — мы построим большую церковь».

«Такую же большую, как католическая церковь?» — спросила она.

Это был большой разрушенный собор, построенный в то время, когда все население было обращено в католичество, и принцесса требовала от меня очень многого, но я, охваченный любовью, заявил, что церковь, которую я построю, будет больше собора.

«Но она будет стоить дорого, — объяснил я, — и нужно много времени, чтобы собрать, деньги».

«У вас их так много, — возразила она, — говорят, что у вас денег больше, чем у моего отца, короля».

«И я могу еще занять, — прибавил я. — Но вы не знаете, что такое деньги. Чтобы иметь кредит, нужно иметь деньги. Я буду работать, чтобы добыть деньги, и церковь будет построена».

Работать! Я не узнавал себя! Удивительно, как много времени остается в распоряжении человека, когда он отказывается от кутежей, игр и развлечений. Я не тратил ни секунды даром,

начав новую жизнь; работал сверх меры, работал за десятерых. Мои суда, совершая рейсы быстрее, чем прежде, давали мне большую прибыль. Дела мои шли хорошо. Но мне было нелегко. Работать! Я возделывал сахарный тростник — и первый раз на Манотомане я насадил сахарные плантации с коммерческой целью. Я плавал с грузом лохматых туземцев с острова Малаиты (одного из Соломоновых островов), пока на моих плантациях не оказалось более тысячи черных. Затем я послал шхуну на Сандвичевы острова за разобранными машинами и техником-немцем, умевшим, по его словам, очищать сахар из сахарного тростника. По приезде он назначил себе жалованье триста долларов в месяц. Я собрал машины и поставил завод сам, с помощью нескольких механиков, которых я привез с собой из Квинсленда.

Конечно, у меня нашелся соперник. Его звали Мотомо. Это был человек очень высокого происхождения, родственник короля Джона, очень красивый мужчина, который умел ярко выражать свои чувства. Само собой разумеется, он не очень дружелюбно смотрел на меня, когда я стал бродить вокруг дворца. Он занялся моим прошлым и стал распускать обо мне самые гнусные слухи. К несчастью для меня, в этих слухах было

много правды. Мотомо съездил даже в Апию, чтобы и там разузнать обо мне, словно мало ему было сплетен на побережье Манотоманы. Он злился на меня за мою религию и за хождения на собрания верующих, а главное — за сахарные плантации. Он вызвал меня драться, но я отказался. Я узнал, что он замышляет проломить мне голову. Вы понимаете, что и он тоже хотел получить принцессу, но я хотел этого более пылко.

Она умела играть на фортепьяно. Я тоже играл когда-то. Но я никогда не говорил ей об этом, после того как услышал ее игру в первый раз. А она-то воображала, что играет превосходно, — милая, ослепленная девушка! Знаете, это ученическое бренчание, раз-два-три, тум-тум-тум. Но я расскажу вам сейчас нечто еще более забавное. Ее игра казалась мне чудесной. Врата небесные открывались, когда она играла. Я и теперь вижу себя, как я, усталый и измученный, точно собака, после длинного рабочего дня, лежу на циновках на веранде дворца, созерцая ее у фортепьяно. Я был в состоянии совершенного идиотизма и верил тому, во что она верила. Да, только это ее заблуждение — уверенность, что она играет прекрасно, было единственной чертой, нарушавшей ее совершенство, и я любил ее за это. Она становилась

для меня доступнее, ближе. И когда она играла свое раз-два-три, тум-тум-тум, я был на седьмом небе. Моя усталость пропадала. Я любил ее, и моя любовь к ней была чиста, как пламя, чиста, как моя любовь к творцу. И знаете, в моем безумном воображении постоянно возникала мысль, что Бог во всех путях своих подобен ей.

…Это правда, Брюс Кадоган Кавэндиш, смейтесь, сколько хотите. Но я скажу вам, что моя любовь была именно такой любовью, как я ее изображаю. Истинная любовь всегда чиста. Я испытывал такую любовь…

Бородач сверкал своим крошечным, беличьим глазом из-под изуродованной брови — глазом, похожим на раскаленный уголек бивуачного костра. Он прервал рассказ, чтобы опорожнить свою жестянку из-под сгущенного молока и приготовить новую порцию смеси.

— Сахарный тростник, — продолжал он, вытирая ладонью густые слипшиеся усы, — в том климате созревает раз в шестнадцать месяцев, и я устроил завод для выработки сахара.

Вначале у меня было много хлопот. Работа на заводе не ладилась. На четвертый день Фергюссон, мой инженер, исправил все недочеты. Меня беспокоил мельничный привод. После

того как негры, подававшие в машину сахарный тростник, очистили вальцы, я отослал их на плантацию и остался один. В тот момент, когда я возился с вальцами, вошел Мотомо.

Он остановился возле меня — на нем была норфолкская куртка, башмаки из свиной кожи, словом, полный щегольской костюм. Он с усмешкой оглядел меня, сплошь покрытого грязью и жиром, подобно чернорабочему. Осматривая вальцы, я заметил, в чем заключалась неправильность: одна сторона брала тростник хорошо, другая же была немного согнута. Я засунул пальцы с этой стороны. Большие зубчатые колеса на вальцах не касались моих пальцев. Но вдруг они опустились. Точно десять тысяч дьяволов схватили мои пальцы, втянули внутрь и превратили их… в какое-то месиво. Я подвергся участи тростникового стебля. Меня начало втягивать в машину. Кисть, рука, плечо, голова, грудь, все тело должно было попасть в машину.

Мне не было больно. Боль была так велика, что я не чувствовал ее. Я видел, как колесо медленно, но верно втягивало мою руку, — сначала суставы пальцев, потом кисть, потом самую руку. О инженер, взорванный собственной петардой! О плантатор, раздавленный колесом своей соб-

ственной мельницы!

Мотомо невольно прыгнул вперед, и злорадная улыбка на его лице сменилась выражением беспокойства. Но затем при виде столь приятной картины он весь просиял и оскалил зубы. Нет, мне нечего было ждать от него. Разве он не хотел проломить мне голову? Да и как он мог помочь мне? Он ведь понятия не имел о машинах.

Я закричал изо всех сил Фергюссону, чтобы тот остановил машину, но шум колес заглушил мой голос. Машина уже забрала мою руку по локоть. Боль была нестерпимая. Но я помню, что был очень удивлен тем, что боль не становилась сильнее.

Мотомо сделал движение, которое привлекло мое внимание. В то же самое время он проговорил громким голосом, как бы злясь на самого себя: «Какой я дурак!» Он схватил нож, которым срезают сахарный тростник — особый, понимаете ли, нож, большой, тяжелый, как палаш. Я уже благодарил его за то, что он решил освободить меня от мук. Бессмысленно было ждать, когда машина медленно втянет меня и раздавит мне голову, — моя рука была измята от локтя до плеча, а машина все продолжала тянуть меня. И потому я с благодарностью склонил голову для удара.

«Подними голову, идиот!» — закричал он на меня.

Я понял и повиновался. Ему пришлось сделать два удара ножом, чтобы отсечь мне руку: он отсек ее как раз у самого плеча, оттащил меня прочь и уложил на тростник.

Да, большую плату заплатил я… за сахар. Я построил принцессе церковь для ее святых мечтаний, и… она вышла за меня замуж.

Он выпил несколько глотков и закончил свою речь.

— Боже мой! Такая жизнь, такие злоключения, и в конце концов такая несокрушимость, такой луженый желудок, для которого приятен только алкоголь. Но я еще живу. Целую руку в честь дорогого праха моей принцессы, которая давно уже спит в большом мавзолее короля Джона, глядящем через долину Манотоманы на бунгало британского правительства с развевающимся флагом.

Толстяк предложил тост за здоровье Бородача и выпил все содержимое своей жестянки. Брюс Кадоган Кавэндиш свирепо смотрел на огонь. Он предпочитал пить без всяких тостов. Толстяк уловил на его тонких губах, имевших вид шрама, что-то похожее на усмешку. Убедившись, что

камень близко, Толстяк спросил вызывающе:

— Ну, а как вы, Брюс Кадоган Кавэндиш? Теперь ваша очередь!

Тот поднял свои жуткие белые глаза на Толстяка и смотрел на него до тех пор, пока тот не почувствовал неловкости.

— Я прожил тяжелую жизнь, — сказал Тощий хриплым, скрипучим голосом. — Что я могу знать о любовных историях?

— Не может быть, чтобы их не было у мужчины такой наружности и такого сложения, — польстил Толстяк.

— А что из того? — проворчал Тощий. — Хвастаться любовными победами не подобает джентльмену.

— А все-таки расскажи, будь другом, — настаивал Толстяк. — До зари еще далеко. У нас есть еще что выпить. Мы с Делярузом отдадим тебе свою долю. Судьба не так-то часто сводит трех таких людей и дает им возможность побеседовать. Во всяком случае, хоть одна любовная история у тебя имеется, и ты не стыдись ее рассказать…

Брюс Кадоган Кавэндиш вытащил свой железный кистень и, казалось, задумался, не стукнуть ли кого-нибудь из этих двух. Он вздохнул и спрятал кистень.

— Что ж, расскажу, если хотите, — согласился он с явной неохотой. — Так же, как и у вас, у меня было замечательное здоровье. И даже теперь, раз уж речь зашла о луженом желудке, я скажу, что по части выпивки я мог бы заткнуть вас за пояс и тогда, когда вы были в самом расцвете сил. То, что я отмечен печатью благородства, об этом не может быть ни малейшего спора; если же вы захотите возразить…

Он засунул руку в карман и ощупал кистень. Ни один из его слушателей не усомнился в искренности его угрозы.

— Это было в тысячах милях от Манотоманы, на острове Тагалаги, — продолжал он отрывисто, с видом мрачного разочарования в том, что не возникло никакого спора. — Но сначала я должен рассказать вам, как я попал на этот остров. По некоторым соображениям, я не буду говорить о своей юности, а начну с того момента, когда стал хозяином шхуны, которая до сих пор так памятна всем, что не стоит называть ее. Я забирал чернокожих рабочих в западной части Южного Тихого океана и Кораллового моря и перевозил их на плантации Сандвичевых островов и на селитряные рудники Чили…

— Так это вы очистили население!.. — восклик-

нул Толстяк.

Брюс Кадоган Кавэндиш мгновенно опустил руку в карман, вытащил кистень и приготовился пустить его в ход.

— Рассказывай, — вздохнул Толстяк. — Я… я совсем забыл, что я хотел сказать.

— Чертовски забавная история… — совсем спокойно начал рассказчик. — Вы читали о Морском Волке… который…

— Так ведь не ты Морской Волк, — прервал его Бородач.

— Нет, сэр, — был злобный ответ. — Морской Волк умер недавно, не так ли? А я пока еще жив, да?

— Конечно, конечно, — согласился Бородач. — Года два назад он захлебнулся в грязи где-то в Виктории, работая на верфях.

— Когда я говорю… я не люблю, чтобы меня перебивали, — продолжал Брюс Кадоган Кавэндиш. — Дьявольски забавно в тех краях. Я был на Таки-Тики, низменном острове, который принадлежит к Соломоновым островам политически, но не геологически, так как Соломоновы острова — высокие. Этнографически же он принадлежит к Полинезии, Меланезии, Микронезии, потому что все племена Тихого океана тяготели к нему,

переправлялись на него на лодках и, смешиваясь, вырождались, — и вся эта накипь, поднятая из глубины человеческой бездны, выражаясь биологически, осела на Таки-Тики. Я знаю дно, о котором говорю.

Было страшно веселое время, когда я добывал раковины и трепанга, продавал железные крючки и топоры в обмен на копру и каменные орехи. Да, тогда даже на Фиджи было трудно жить: туземные вожди все еще ели человечину. На западе, на Соломоновых островах, маленькие черные люди с мохнатыми головами все до последнего были людоедами.

Все они охотились за головами. Головы, особенно белых, были в цене. За голову давали горшок с золотом и драгоценностями. Каждая деревня хранила такой горшок. Кто приносил голову белого человека, получал горшок. Если никто не приносил голов долгое время, то содержимое горшка увеличивалось до ужасающих размеров. Дьявольски забавно, не правда ли? Я сам получил такой горшок. У меня на шхуне умер от болотной лихорадки голландец штурман. Это случилось таким образом. Мы находились тогда на Ланго-Луи. Устроил дело не я сам, а Джонни, мой рулевой, дикарь из Мересби. Джонни отрубил

голову умершему штурману и снес ее ночью на берег, между тем как я стрелял в него из ружья, словно хотел убить. Джонни получил горшок за голову штурмана. Конечно, я послал за ним на берег людей под прикрытием двух лодок и взял его на борт вместе с добычей.

— А как велик был этот горшок? — спросил Бородач. — Я слышал, что на Ории попался горшок, в котором было восемьдесят соверенов.

— Прежде всего, — ответил Тощий, — там было сорок жирных свиней. Каждая из них оценивалась в сажень туземной монеты из ракушек, а сажень таких ракушек-монет стоит соверен. Вот вам уже двести долларов. Потом еще девяносто восемь сажен туземных монет-ракушек, что равняется почти пятистам долларам. Да еще двадцать два золотых соверена. Я разделил добычу на четыре части. Четверть дал Джонни, четверть судовой команде, четверть взял себе как собственник судна и четверть как шкипер. Джонни не возражал. У него никогда в жизни не было таких денег сразу. Кроме того, я дал ему две старых рубашки штурмана. А голова штурмана, должно быть, и до сих пор красуется в сарае для пирог.

— Не совсем христианские похороны для христианина, — заметил Бородач.

— Зато доходные похороны, — сострил Тощий. — Мне пришлось уступить акулам задаром его обезглавленное тело. Подумайте только — отдать акулам голову, стоящую восемьсот долларов! Это было бы безумием, преступлением.

Да, дьявольски забавно в тех краях! Я не стану рассказывать историю, в которую попал я в Таки-Тики. Отплыл я оттуда с двумя сотнями чернокожих для работы в Квинсленде. За тот способ, каким я их вербовал, два британских судна гонялись за мной по Тихому океану, так что я переменил свой курс и поплыл к западу, рассчитывая сдать всю партию на испанских плантациях на Бангаре.

Начался период бурь. Мы попали в тайфун. Шхуна наша носила название «Веселая Мгла». Пока она не попала в тайфун, мне казалось, что она несокрушима. Никогда не видел я таких волн. Они стерли это несокрушимое судно в порошок, буквально в порошок. Они выворачивали бревна, разбили в щепки шканцы, сорвали железные перила и, что самое худшее, разрушили обшивку. Нам едва удалось кое-как починить одну уцелевшую лодку и удержать на воде шхуну до тех пор, пока море немного успокоилось. Я быстро снарядил лодку, и мы с плотником последние

спрыгнули в нее. Шхуна пошла ко дну. Нас было четверо…

— А негры? — спросил Бородач.

— Кое-кто из них плыл некоторое время, — ответил Тощий. — Но вряд ли они достигли берега. Мы добрались до него через десять дней. Почти все время дул сильный ветер. А как вы думаете, что было у нас в лодке? Ящики с джином и ящики с динамитом. Смешно, не правда ли? Потом было еще забавнее. С нами был небольшой бочонок пресной воды, немного солонины и сухарей — всего этого могло хватить до Тагалаги.

Тагалаги — самый унылый остров, который я когда-либо видел. Вулканический конус, выброшенный из морской глубины, с глубоким кратером. В этот кратер есть доступ с моря. Получилась прекрасно защищенная гавань. Вот и все. Жизни там нет никакой. Стороны кратера — как внешняя, так и внутренняя — слишком круты. В одном месте на берегу растет около тысячи кокосовых пальм. Кроме двух-трех пород насекомых, ничего нет. Ни одного четвероногого, даже крысы. И как это смешно, что столько кокосовых пальм, и ни одного краба. Единственной живностью гавани были головли, плавающие стайками, — самые жирные, самые большие,

самые красивые, каких я когда-либо видел.

И вот мы четверо высаживаемся на таком берегу и раскладываем среди кокосовых пальм свое хозяйство, состоящее из ящиков с динамитом и джином. Неужто это не смешно? Смешно, говорю вам! Голландский джин и кокосовые орехи, и ничего больше. С того времени я не могу смотреть без отвращения на сласти, выставленные в витринах кондитерских. Я не так хорошо знаком с религиозными вопросами, как Чонсей Деляруз, но все же имею о них кое-какие примитивные представления. И когда думаю об аде, то он всегда представляется мне безграничной плантацией кокосовых пальм с разбросанными по ней ящиками с джином, населенной моряками, потерпевшими кораблекрушение. Смешно? Сам дьявол взвыл бы при виде этого!

Вы знаете, что чистый кокосовый орех земледельцы называют пищей, которая не дает равновесия, и действительно — он вывел из равновесия наши желудки. А потому, когда голод особенно сильно впускал в нас свои зубы, мы принимались за джин. Недели через две нашего матроса Олафа осенила некая мысль. Она пришла ему в голову, когда он был переполнен джином, и мы, будучи в том же состоянии, только наблю-

дали за тем, как он приготовил короткий фитиль и динамит, а затем зашагал к лодке.

Мне стало ясно, что он пошел бить рыбу. Солнце жгло нестерпимо, и я разлегся отдохнуть в надежде, что Олафа ждет удача.

Час спустя после его ухода мы услышали взрыв. Но Олаф не возвращался. Мы подождали до наступления вечерней прохлады, и тогда нашли на берегу то, что от него осталось. Лодка была цела, ветер ее прибил к берегу, но Олафа в ней не было. Ему уже не придется лакомиться кокосовыми орехами! Мы вернулись еще более удрученными и снова хватили джину.

На следующий день повар заявил нам, что он предпочитает попытать счастья с динамитом, чем поддерживать свое существование кокосовыми орехами. Мы дали ему патрон, вложили фитиль, нашли хорошую головешку, и он хватил на дорогу добрую порцию джина…

Программа была та же, что и вчера. Через некоторое время мы услышали взрыв, а в сумерки спустились на берег и вытащили из лодки останки повара, чтобы похоронить.

Мы с плотником крепились два дня. Затем бросили жребий: очередь была за ним. Расстались мы не очень-то по-доброму: он хотел взять с

собою джина, но я восстал против такого неумеренного расходования спиртного. Кроме того, он уже выпил гораздо больше того, чем следовало, и, уходя, выписывал вензеля и шатался из стороны в сторону.

Случилось то же самое. Только на этот раз мне пришлось похоронить целое тело, потому что повар пустил в дело половину динамитного патрона. Я терпел до следующего дня. А затем, подбодрив себя надлежащим образом, приготовил динамит для взрыва. Взял я только треть палочки — понимаете, короткую палочку с расщепленным концом, в который можно было вставить безопасную спичку. Таким образом, я усовершенствовал метод моих предшественников — они не употребляли спички, им приходилось иметь дело с большим фитилем. Следовательно, когда они замечали стайку головлей и зажигали фитиль, им надо было держать динамитную палочку в руках до тех пор, пока фитиль не доходил до самого динамита. Если они бросали палочку слишком рано, то она не взрывалась в тот момент, когда ударялась об воду, и плеск распугивал головлей. Забавная штука динамит! Во всяком случае, я настаиваю на том, что мой метод безопаснее.

Не проплыв и пяти минут, я выследил стайку

головлей. Рыба была большая, жирная, я уже чувствовал, какой у нее будет запах, когда я поджарю ее на огне. Когда я встал, держа спичку в одной руке, а динамитную палочку в другой, у меня затряслись колени. Может быть, это произошло от джина, а может быть, от волнения, слабости или голода, но во всяком случае я весь дрожал. Я дважды хотел зажечь спичку и не мог. Затем я зажег спичку головней.

Я не знаю, что случилось с другими, но знаю, что было со мной. Я растерялся. Случалось ли вам когда-либо, сорвав стебелек земляники, бросить ягоду, а стебелек машинально сунуть в рот? То же самое произошло со мной. Головешку я бросил в воду, палочку же динамита продолжал держать в руке. И моя рука отлетела вместе с палочкой, когда та…

Тощий поглядел, есть ли в жестянке от томатов вода для составления смеси, но воды в ней не оказалось. Он встал.

— Так-то, — зевнул он и пошел к речке.

Спустя несколько минут он вернулся, смешал должное количество грязной воды со спиртом и, медленно выпив смесь, стал мрачно и презрительно смотреть на огонь.

— Да… Но… — сказал Толстяк. — А что же было

дальше?

— Гм! — сказал Тощий. — Принцесса, конечно, вышла за меня замуж.

— Но ведь ты остался один и никакой принцессы не было… — отрывисто воскликнул Бородач, но, спохватившись, погрузился в неловкое молчание.

Тощий пристально, немигающим взором смотрел на огонь. Персиваль Дэланей и Чонсей Деларауз переглянулись. В торжественном молчании каждый своей единственной рукой свернул и завязал свой узелок. И молча, подняв узелки на плечи, оба они вышли из освещенного круга костра. Они молчали, пока не взобрались на железнодорожную насыпь.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — сказал Бородач.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — согласился Толстяк.

Красное божество

Чу! Опять густой звенящий звук! Проверяя по часам промежутки, через которые повторялся этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Стены городов, думал он, могли бы рухнуть от этого мощного, властного призыва. В тысячный раз он тщетно пытался определить природу и происхождение этого чудовищного раската, наполнявшего окрестности деревушки дикарей. Горное ущелье, из которого исходил грохот, звенело от громоподобных ударов; звуки росли, пока не заполонили собою все, не затопили землю, небо, воздух… Расстроенному, больному воображению Бэссета эти звуки казались могучим криком какого-то титана первозданного мира, воплем ярости и скорби. Выше и выше поднимался звук, повелительный, молящий, с такой силой и глубиной, что, казалось, он предназначался для чьего-то слуха за тесными пределами Солнечной системы. Слышался в нем и вопль протеста, и жалоба на то, что не было такого существа, чье ухо могло бы внимать этому призыву и понимать его.

Так казалось воображению больного человека, анализировавшего это явление. Звук был грозен,

как гром, нежен, как золотой колокол, сладостен и чист, как туго натянутая серебряная нить… Нет! Все не то! На языке Бэссета не было таких сравнений, таких слов, какими можно было бы передать характер этого звука.

Время шло. Минуты сливались в часы, а звуки не прекращались: они только меняли свою силу. Но вот, не получив нового толчка, звуки стали замирать — так же величественно, как возникали. Медленно, рыдание за рыданием, угасали они в огромной груди, которая породила их, — умирали с глухими стонами, точно пытаясь рассказать какую-то космическую тайну, сообщить что-то бесконечно важное и ценное. Они упали до намека на звук, утратили свой грозный характер и наконец прекратились. Но что-то трепетало в сознании больного человека, точно бился какой-то пульс в течение нескольких минут. Когда Бэссет уже ничего больше не слышал, он снова взглянул на часы.

Значит, тогда вдали была его темная башня, размышлял Бэссет, вспоминая свои скитания и глядя на свои изможденные лихорадкой руки. Месяцы или годы, спросил он себя, прошли с тех пор, как он услышал этот таинственный зов на берегу Рингману? Каким образом Бэссет спасся,

он сам не мог бы сказать теперь. Болезнь терзала его давно. Он знал, что прошло много месяцев, но не мог определить точно, как долго были периоды бреда и оцепенения. А что же случилось с Бэтменом, капитаном негритянского судна «Мари»? И умер ли, наконец, пьяный помощник капитана от белой горячки?

От этих бесплодных размышлений Бэссет перешел к восстановлению в своей памяти всего, что случилось с того дня, когда он впервые услышал звук и пошел по направлению к нему в джунгли. Сагава не пускал его. Он как сейчас видит перед собой это странное обезьянье личико, выражающее ужас, спину мальчика, обремененную различными вещами, свой сачок для ловли бабочек в его руке и охотничье ружье. Помнит, как Сагава бормотал на ужасном английском языке: «Там мой боится, там лес. Там много сидит плохой человек».

Бэссет грустно улыбнулся при этом воспоминании. Мальчик из Нового Ганновера боялся, но проявил большую преданность своему хозяину: без всякого колебания последовал за ним в чащу в поисках причины удивительного звука. Нет, это не выжженный древесный ствол, в который трубят при объявлении войны в глубине

джунглей, подумал тогда Бэссет. Однако его предположение, что источник или причина звука находятся не дальше часа ходьбы и что можно будет без труда вернуться к полудню, чтобы сесть на китобойную шхуну «Мари», оказалось ошибочным. «Этот большой шум нехорошо; там все черный, там будет плохо», — прибавил Сагава. И он был прав. Разве не отсекли ему головы в тот же день, содрогнулся Бэссет. Сагава, конечно, был съеден… Бэссет представил себе Сагаву таким, как видел его в последний раз, — без ружья и без всех припасов его хозяина. Сагава лежал на узкой дорожке, где он только что был обезглавлен. Да, все случилось в одно мгновение. За минуту перед тем, оглянувшись, Бэссет видел его терпеливо шагающим под своей ношей. Но и самому Бэссету пришлось плохо: он взглянул на безобразно залеченные обрубки первого и второго пальцев левой руки, а затем потер осторожно шрам на затылке. Так же стремительно, как был стремителен взмах томагавка с длинной ручкой, Бэссет отдернул тогда голову и отклонил удар поднятой вверх рукой. Два отрубленных пальца и глубокая рана на черепе были той ценой, которой он купил свою жизнь. Одним зарядом он убил дикаря, который чуть было не схватил его; затем

выстрелил в дикарей, наклонившихся над телом Сагавы, и увидел с радостью, что большая часть заряда попала в того, который отскочил с головой мальчика. Все разбежались; остались только он, Бэссет, убитый дикарь да останки Сагавы на узкой кабаньей тропе. Из темных джунглей не доносилось ни шороха, ни звука. Бэссет испытывал мучительное волнение: первый раз в жизни он убил человека; его мутило, когда он смотрел на свою жертву.

Затем началась охота. Бэссет отступал по кабаньей тропе, преследуемый охотящимися на него дикарями, не пропускавшими его к берегу. Сколько было преследователей, он не знал. Может быть, трое-четверо, а может быть — сто. Некоторые из них взобрались на деревья и шли по их вершинам, в этом он был уверен. Но он ничего не видел, кроме мелькания каких-то теней; не слышно было жужжания тетивы лука, а между тем каждую минуту, неведомо откуда, мимо него летели со свистом стрелы, ударялись в стволы деревьев, вонзались возле него в землю. Они были снабжены костяными наконечниками, оперены перышками колибри, переливавшимися, как драгоценные камни.

Однажды — даже теперь, после долгих дней,

минувших с тех пор, он засмеялся от радости при этом воспоминании — он заметил у себя над головой чью-то тень, которая мгновенно притаилась, как только он обратил на нее свой взгляд. Он ничего не мог разобрать, но, решив попытать счастья, выстрелил наугад крупной дробью. Мяукая, как разъяренная кошка, тень заметалась на ветвях деревьев, переплетенных вьющимися растениями, и грохнулась на землю у ног Бэссета, продолжая визжать от боли и ярости. Тень, оказавшаяся человеком, вонзила свои зубы в кожу крепкого дорожного сапога Бэссета. Но и он, в свою очередь, не стал выжидать и сделал другой ногой то, что прекратило мяуканье. С тех пор Бэссет так привык к жестокости, что снова засмеялся, вспомнив это.

Какая ужасная ночь последовала за этим страшным днем! Не удивительно, что он схватил такую злокачественную лихорадку, думал Бэссет, вспоминая бессонную мучительную ночь, когда боль от множества ран казалась пустяком по сравнению с укусами москитов, тучами носившихся над ним. Скрыться от них было некуда, зажечь огонь он боялся. Москиты напоили его тело ядом до такой степени, что при наступлении утра, когда он, спотыкаясь, побрел, как слепой (глаза

его почти закрылись от опухоли), он равнодушно соображал, скоро ли ему отрубят голову и, как Сагаву, зажарят. Двадцать четыре часа превратили его в развалину — развалину духом и телом. Он почти терял сознание от чудовищной дозы яда, которую он получил, но все же несколько раз метко стрелял из ружья в тени, преследовавшие его. Днем комары и другие насекомые увеличивали муки; его кровоточащие раны привлекали тучи отвратительных мух, они липли к телу, и он давил их десятками.

Однажды, когда Бэссет снова услышал дивный звук, он показался Бэссету более далеким, хотя и заглушал раздававшийся вблизи в кустах бой военных барабанов дикарей. Здесь-то Бэссет и допустил ошибку. Думая, что он сделал круг и что, следовательно, источник звука находится между ним и берегом Рингману, Бэссет пошел назад, по направлению к звуку, полагая, что он приближается к берегу. В действительности он все глубже и глубже забирался в таинственные дебри неведомого острова. В ту же ночь, приютившись среди переплетенных корней банана, он заснул от истощения, отдав себя в полное распоряжение москитов.

Следующие дни и ночи смутно мелькали в

его сознании как кошмар. Одна картина ярко запечатлелась в памяти. Он вспомнил ее теперь. Он внезапно очнулся в лесной деревне и увидал убегавших в джунгли стариков и детей, испуганных его появлением. Убежали все, кроме одного. Чей-то стон, похожий на стон раненого или испуганного зверя, послышавшийся вблизи, поразил его. Взглянув вверх, он увидел ее… девушку или юную женщину, висевшую на дереве под палящим солнцем. Женщина была привязана к ветке за одну руку. Может быть, она висела так уже несколько дней. Ее высунутый, распухший язык был доказательством, что так, вероятно, и было на самом деле. Она смотрела на него глазами, полными ужаса. Помощь невозможна, подумал он, когда заметил опухоли на ее ногах: очевидно, ноги были переломаны в нескольких местах. Он решил застрелить ее… и на этом видение обрывалось. Он не мог вспомнить, выстрелил ли он в девушку или нет, так же как не мог вспомнить, каким образом попал он в ту деревню и как из нее выбрался.

Много картин возникало и исчезало в сознании Бэссета, когда он вспоминал этот период ужасных странствований. Вспомнил он «захваченную» им другую деревню, состоявшую из двенадцати

домов. Все жители деревни убежали от его выстрела, кроме одного старика, ноги которого уже не могли двигаться. Старик плевал на Бэссета, хныкал и рычал, когда Бэссет разрывал земляную печь и вытаскивал оттуда жареного поросенка, завернутого в зеленые листья, от которых шел пленительный запах. Именно здесь, в этой деревушке, его охватила необузданная жестокость. Окончив пир и готовясь уйти с поросячьим окороком в руке, он поджег камышовую крышу дома зажигательным стеклом.

Но ярче всего запечатлелись в памяти Бэссета зловещие и мрачные джунгли. Они были точно насыщены каким-то злом. Там всегда царил сумрак. Солнечный луч редко проникал сквозь ветви деревьев в густую зелень лиан, переплетавших ветви; все это — ветви, лианы, другие вьющиеся растения — образовывало крышу, находившуюся на высоте ста футов над головой. А над этой крышей была еще воздушная пелена растительности, чудовищная бахрома из растений-паразитов, питающихся соками деревьев. И он шел среди этого зеленого сумрака все дальше и дальше, вечно преследуемый мелькающими тенями людоедов, духов зла, которые не смели вступить с ним в открытый бой, но хорошо знали,

что рано или поздно они съедят его. Бэссет помнил, что по временам, в минуты просветления, он сравнивал себя с раненым быком, которого преследуют степные волки, слишком хитрые, чтобы вступать с ним в открытую борьбу, и вместе с тем уверенные в его неизбежном конце, когда они смогут спокойно насытиться его мясом. Как рога и твердые копыта быка страшили волков, так и его ружье не позволяло мрачным дикарям острова Гвадалканара (одного из Соломоновых островов) приблизиться к нему.

Наступил день, когда Бэссет достиг равнин, покрытых травой. Джунгли резко обрывались, точно отсеченные мечом какого-то божества. Отвесная черная стена джунглей поднималась ввысь на сто футов. И тотчас же за этой стеной, у самой опушки, росла трава, — мягкая, нежная трава, которая усладила бы глаз землепашца и его стад, расстилалась зеленым бархатным ковром на много-много миль вдаль, до самого горного кряжа, вскинутого вверх какой-то древней катаклизмой. Но что это была за трава! Бэссет прополз по ней шагов двенадцать, спрятал в нее лицо, вдыхал ее аромат и, наконец, разразился рыданиями. И в то время как он плакал, дивный гром загремел опять, если только словом «гром»

можно дать понятие о таком огромном и вместе с тем мягком, тающем звуке. Он был нежен, как ни один звук из когда-либо слышанных Бэссетом, и был так силен, звучен и могуч, что можно было подумать, будто он исходит из бронзовой груди какого-то чудовища. И все же он через пространство безбрежных саванн приносил благословение страждущей, измученной душе Бэссета.

Бэссет вспоминал теперь, как он лежал в траве с мокрым от слез лицом, прислушивался к странному звуку и удивлялся тому, что он мог услышать его на берегу Рингману. Какая-то прихоть воздушных давлений и течений, рассуждал он, сделала возможным то, что звук залетал так далеко. Такие благоприятные условия могли не повториться в течение тысячи или даже десяти тысяч дней. И как раз в тот день, когда он вышел на берег с негритянской шхуны «Мари», звук был слышен в течение нескольких часов сряду. Бэссет был занят поисками знаменитой гигантской тропической бабочки, распростертые крылья которой равнялись одному футу, бархатной и сумрачной, как сами джунгли. Бабочка имела обыкновение садиться на вершинах деревьев, и ее можно было достать, только выстрелив в нее дробью. Для этого Сагава и нес за Бэссетом

ружье.

Два дня и две ночи Бэссет полз через равнину, покрытую травой. Он испытывал большие страдания, хотя преследование кончилось на границе джунглей. Он умер бы от жажды, если бы проливной дождь не напоил его на второй день.

А потом явилась Баллата. В первом тенистом месте, там, где саванна переходит в густые нагорные джунгли, он упал, чтобы умереть. Сначала Баллата завизжала от радости при виде его беспомощности и приготовилась размозжить ему череп крепким суком. Но, может быть, эта же беспомощность тронула ее, а может быть, ее руку задержало человеческое любопытство. Во всяком случае, открыв глаза в ожидании неизбежного удара, Бэссет увидел, что женщина пристально его рассматривает. Особенно поразили ее его голубые глаза и белая кожа. Она спокойно села, поджав под себя ноги, плюнула ему на ладонь и стала соскребать с его руки ногтями грязь — грязь джунглей, от которой почернела его кожа.

Все в этой женщине поражало Бэссета. Он тихо засмеялся при воспоминании о ней — по части одежды она была так же невинна, как Ева перед тем, как закрылась фиговым листом. Худая и в то же время коренастая, с непропорционально

развитыми членами, с мускулами, похожими на канаты, с детства измазанная грязью, которая смывалась только случайными ливнями, она была самым безобразным прообразом женщины, какую он когда-либо видел как ученый, изучавший различные дикие племена. Ее грудь свидетельствовала о ее зрелости; единственным ее украшением — это была дань ее полу — был свиной хвостик, продетый в мочку уха. Хвостик был отрублен недавно и еще не успел засохнуть, из него сочилась кровь, которая, капая, застывала на плече женщины, как капли стеарина, падающие со свечки. А ее лицо! Увядшие, обезьяньи черты, приплюснутый, монгольский нос, рот, точно спрятанный под огромной верхней губой, срезанный подбородок, злые косые глаза, мигающие, как у обезьяны в клетке!

Даже вода, которую она принесла ему в древесном листе, даже кусок испорченной свинины не могли смягчить ее обезьянье безобразие. Выпив воду и проглотив несколько кусков мяса, Бэссет закрыл глаза, чтобы не видеть ее, хотя она насильно раздвигала ему веки и любовалась его синими глазами. Затем опять послышался звук. Бэссет понял, что теперь источник звука ближе, гораздо ближе, чем был раньше; но вместе с тем

он хорошо знал, что до него нужно было идти еще много часов. На Баллату звук произвел большое впечатление. Она вся съежилась и застонала; зубы ее стучали от страха. После того как звук затих, прозвучав полным тоном целый час, Бэссет закрыл глаза и заснул, а Баллата отгоняла от него мух.

Когда он проснулся, была ночь, и Баллаты не было. Чувствуя в себе прилив новых сил — он был искусан москитами так сильно, что уже перестал воспринимать их яд, — он закрыл глаза и проспал крепким сном до восхода солнца. Вскоре после его пробуждения явилась Баллата с несколькими женщинами, которые, хотя и были некрасивы, все же были красивее ее. По всему поведению Баллаты было видно, что она считает Бэссета своим найденышем, своей собственностью, и та гордость, с которой она показывала его своим подругам, была бы забавна, если бы положение Бэссета не было так отчаянно.

Позднее, когда он после перехода, показавшегося ему чрезвычайно тяжелым и продолжительным, упал перед священной хижиной, под сенью хлебного дерева, Баллата проявила много изобретательности, настаивая на своем праве распоряжаться своей находкой. Нгурн, которо-

го Бэссет должен был узнать впоследствии как хозяина священной хижины, знахаря и жреца, требовал его головы. Прочие же обезьяны-люди, скалящие зубы, все такие же голые и звероподобные, как Баллата, требовали себе Бэссета, чтобы зажарить его на очаге. В то время Бэссет не понимал еще их языка, если можно назвать языком те однообразные звуки, которые издавали дикари, чтобы выразить свои мысли. Но Бэссет отлично понял суть их спора, особенно тогда, когда эти люди стали тыкать в него палками и щупать его, точно он был товаром на прилавке мясника.

Баллата, видимо, не могла отстоять свою добычу, но вдруг случилось следующее происшествие. Один из дикарей, с любопытством разглядывая ружье Бэссета, взвел курок и дернул собачку. Ружье отдало, и дикарь получил удар в живот, но это было не все: заряд дроби попал в голову одного из крикунов, стоящего на расстоянии ярда от хижины.

Даже Баллата обратилась в бегство вместе с прочими, а прежде чем дикари вернулись, Бэссет схватил свое ружье, хотя сознание его уже мутилось от начинавшегося приступа лихорадки. Когда дикари снова собрались около Бэссета, он, несмотря на то что зубы его стучали от озноба,

глаза застилались слезами, усилием воли сохранил сознание, пока ему не удалось навести страх на дикарей простыми чарами своего компаса, часов, зажигательного стекла и спичек. Наконец, убив выстрелом из ружья поросенка, Бэссет потерял сознание.

Бэссет напряг мускулы руки, желая узнать, сохранилась ли в них хоть крупица силы, и медленно и вяло поднялся на ноги. Он был до ужаса худ и истощен. Но все же за эти долгие месяцы болезни, с короткими промежутками, похожими на выздоровление, ни разу в нем не было такого подъема сил, как сейчас. Он боялся, как бы за этим не последовал полный упадок, такой, какие он уже не раз испытывал. Без всяких лекарств, даже без хины, он все же еще боролся с жестокими приступами злокачественной болотной лихорадки. Но хватит ли у него сил бороться с ними дальше? Таков был его вечный вопрос. Ему, как истинному ученому, тяжело было бы умереть, не открыв тайны странных звуков. Опираясь на палку, он сделал несколько шагов к священной хижине, где царствовали во мраке смерть и Нгурн. По мнению Бэссета, хижина Нгурна была почти так же темна, зловеща и зловонна, как сами джунгли. Но в ней всегда можно было найти приветливого,

словоохотливого старого друга Нгурна, готового поболтать и поспорить, сидя среди пепла смерти и умело поворачивая в дыму человеческие головы, висевшие на балках. В краткие промежутки между приступами болезни, когда сознание возвращалось к нему, Бэссет преодолел трудности языка дикарей и постиг несложную душу племени Нгурна, Баллаты и Вгнгна, молодого вождя с яйцевидной головой, который находился в подчинении у Нгурна и который — так гласила молва — был сыном Нгурна.

— Будет ли Красный говорить сегодня? — спросил Бэссет, настолько привыкший к ужасному занятию старика, что не проявлял уже ни малейшего интереса к копчению голов.

Глазами знатока Нгурн рассматривал голову, над которой работал.

— Десять дней пройдет, пока я смогу сказать «кончено», — пробормотал он. — Никогда ни один человек не коптил еще таких голов.

Бэссет усмехнулся про себя, видя нежелание старика говорить с ним о Красном. Так было всегда. Никогда, ни при каких обстоятельствах ни сам Нгурн, ни какой-либо дикарь из этого племени не давали ответов на вопросы о физических свойствах Красного божества. Чтобы

издавать свои удивительные звуки, божество это должно было обладать физическими свойствами. Хотя его все называли «Красным», Бэссет не был вполне уверен, что словом «Красный» обозначался именно его цвет. Но кроваво-красными были деяния, о которых Бэссета уже хорошо осведомили. Как сообщил ему Нгурн, Красный был не только более жесток, чем боги соседних племен, и вечно жаждал красной крови живых человеческих жертв, но даже и сами эти боги подвергались мукам и приносились ему в жертву. Он был богом двенадцати союзных деревень, а деревня, где жил Нгурн, являлась центром и местопребыванием главной власти всех племен. По воле Красного божества много чужих деревень было опустошено и стерто с лица земли, а пленники принесены Красному божеству в жертву. Таковы были деяния Красного в наши дни, но то же было и раньше; рассказы о прежних жестокостях передавались изустно от поколения к поколению. Нгурн был совсем молодым, когда племена, жившие за лугами, внезапно напали на его деревню. В ответном нападении Нгурн и его воины захватили много пленных. Одних детей истекло кровью перед Красным более ста, мужчин же и женщин много-много больше.

«Гремящий» было другое имя, которым Нгурн называл таинственное божество. Иногда же его называли — Громко-Кричащий, Поющий-как-птица, Колибри, Поющий-как-солнце, Рожденный Звездами.

Почему — Рожденный Звездами? Напрасно Бэссет расспрашивал об этом Нгурна. По словам страшного старого знахаря, Красный всегда был там, где он находится теперь, вечно выражая пением и громом свою власть над людьми. Но отец Нгурна, еще и сейчас висящий на закопченной балке священной хижины, завернутый в циновку из сухой травы, думал в свое время иначе. Этот мудрец полагал, что Красный родился от звездной ночи, иначе зачем бы — таково было его доказательство — жившие прежде, забытые люди стали называть его Рожденным Звездами? Бэссет не мог не признать известной убедительности за таким доказательством. Но Нгурн утверждал, что за свою долгую жизнь он наблюдал немало звездных ночей, но никогда не находил он звезды — ни в степях, ни в джунглях, — похожей на Красного, хотя и искал такую. Правда, он видел падающие звезды, — это он сказал на возражение Бэссета, — но в темные ночи он замечал также свечение гнилых пней и тухлого мяса, яркий

блеск светлячков и пламя костров. Куда же исчезал огонь, блеск и сияние, после того как они потухали? Ответ: о них оставалось воспоминание как о вещах, переставших существовать, подобно воспоминаниям о бывших любовных наслаждениях, о прежних пирах, о желаниях, ставших отзвуками прежних желаний, но не воплощенных в предметы.

Нет, Красное божество не было звездой, упавшей с неба, говорил Нгурн. За всю долгую жизнь Нгурна ночное звездное небо не изменилось, ни разу он не заметил, чтобы хоть одна звезда исчезла со своего места; кроме того, звезды были огнем. Красный же не был огнем. Эта последняя невольная обмолвка, однако, ничего не разъяснила Бэссету.

— Красный будет говорить завтра? — допытывался Бэссет.

Нгурн пожал плечами.

— А послезавтра?.. А после послезавтра? — настаивал Бэссет.

— Мне хотелось бы прокоптить твою голову, — переменил предмет разговора Нгурн. — Она не похожа на другие головы. Ни один знахарь еще не коптил такой головы. Я прокоптил бы ее как можно лучше. Я употребил бы на это мно-

го месяцев. Луны приходили бы и уходили бы, дым поднимался бы медленно-медленно; я сам собирал бы травы для обкуривания. На коже не появилось бы ни одной морщинки. Она осталась бы такой же гладкой, как и теперь.

Он встал и снял с одной из темных балок, почерневших от дыма, обкуривавшего бесчисленные головы, мешок из циновки и открыл его.

— Вот голова, похожая на твою, — сказал он, — но она плохо прокопчена.

Бэссет насторожился при этих словах: быть может, голова принадлежала белому человеку. Он давно пришел к заключению, что обитатели джунглей, живущие в середине большого острова, никогда не вступали в сношения с белыми. Они понятия не имели даже о том исковерканном английском языке, на котором говорят жители Юго-Западного Тихого океана. Они не знали, что такое табак и порох. Их немногочисленные ножи, которыми они очень дорожили, сделанные из железного обруча, и еще более ценные для них томагавки, отточенные дешевые топоры, по его догадкам, были отняты дикарями во время войны у бушменов, живущих в джунглях за лугами, а те в свою очередь получили их тем же путем от жителей кораллового побережья, имевших

изредка сношения с белыми.

— Люди, которые живут далеко-далеко, не умеют коптить головы, — объяснил старый Нгурн, вынимая из грязной циновки и подавая Бэссету то, что, безусловно, было головой белого. Об этом свидетельствовали, прежде всего, русые волосы. Бэссет готов был поклясться, что голова принадлежала англичанину, и притом англичанину прошлого столетия: доказательство — серьги из тяжелого золота, все еще висевшие на мочках высохших ушей.

— А вот твоя голова… — начал знахарь разговор на излюбленную тему.

— Вот что, — перебил Бэссет, пораженный новой мыслью. — Когда я умру, возьми себе на сохранение мою голову, но зато дай мне прежде посмотреть на Красного.

— Когда ты умрешь, я все равно возьму твою голову, — сказал Нгурн. Затем прибавил с жестокой откровенностью дикаря:

— Ты не проживешь долго. Ты уже и сейчас почти мертвец. Ты скоро совсем ослабеешь. Немного месяцев пройдет, и твоя голова будет вертеться здесь, в этом дыму. Я буду ее поворачивать и поворачивать. Приятно в долгие дни сидеть и перевертывать в дыму голову того, кого хорошо

знал, как я знаю тебя. И тогда я буду беседовать с тобой, поведаю тебе много тайн, о которых ты меня расспрашивал. Тогда это не будет опасно — ты будешь мертв.

— Нгурн, — угрожающе сказал Бэссет, охваченный внезапным гневом. — Тебе известен громобойный младенец (так называли дикари страшное охотничье ружье Бэссета)? Я могу убить тебя в любую минуту — и тогда ты не получишь моей головы!

— Все равно, ее получит тогда Вгнгн или кто-нибудь другой из моего племени, — невозмутимо ответил Нгурн. — Все равно она будет поворачиваться здесь, в этой хижине, в дыму; чем скорее ты убьешь меня твоим громобойным младенцем, тем скорее голова твоя будет вертеться здесь в дыму.

И Бэссет понял, что в этом споре он побежден.

Но что же такое это Красное божество, в тысячный раз спрашивал себя Бэссет в течение следующей недели, когда он, как ему казалось, продолжал поправляться. И откуда рождались эти звуки? Кем и чем было оно, таинственное божество, это Поющее Солнце, которому поклонялись чернокожие, жестковолосые, звероподобные люди и чей нежно-серебристый голос

Бэссет так часто слышал почти рядом с хижиной Нгурна?

Ему не удалось подкупить Нгурна: тот уверен, что все равно получит его голову, как только он умрет. На Вгнгна рассчитывать нечего — он глуп, совершенно бессилен и находится в полном подчинении у Нгурна. Оставалась Баллата; с того времени, как она нашла Бэссета и увидела его голубые глаза, она всячески выказывала ему свое обожание. Она была женщиной, и Бэссет знал, что единственный способ проникнуть в тайну Красного божества — это подействовать на сердце женщины: тогда женщина изменит своему племени. Но Бэссет был брезглив. Он не мог отделаться от чувства отвращения, вызванного в нем безобразием Баллаты при первом же взгляде на нее. Даже в Англии он никогда не подпадал под власть женских чар. Но теперь с решимостью, на какую способен только мужчина, готовый на всякие муки, ради научного открытия подавляя в себе свое отвращение, Бэссет стал покорно выносить внимание отвратительной дикарки.

Пересиливая тошноту, он обнимал заскорузлые от грязи плечи Баллаты, но когда он почувствовал однажды прикосновение к своему лицу ее толстых, как веревки, маслянисто-курчавых волос,

то чуть не вскрикнул от гадливости. Баллата при малейшей ласке его гримасничала, бормотала что-то невнятное, издавала странные звуки, похожие на хрюканье, выражающие блаженство. Это было невыносимо! И следующее, что он решил сделать в виде особого расположения к ней, — это повести ее в ручей и как следует выкупать.

С этого дня он посвятил себя ей. Точно верный возлюбленный, он подолгу оставался с ней, пока хватало силы воли превозмочь чувство отвращения. Но от бракосочетания, которое она желала совершить по всем обрядам своего племени, он все-таки уклонялся.

К счастью, обычай табу твердо соблюдался этим племенем. Нгурн не должен был прикасаться к костям, мясу или коже крокодила. Это было ему запрещено при самом рождении. Вгнгну — было запрещено прикасаться к женщине. Если бы такое осквернение случилось, оно могло бы быть смыто лишь смертью женщины, осквернившей вождя своим прикосновением. Однажды — это было уже при Бэссете — девятилетняя девочка, играя, поскользнулась и упала на священного вождя. Никто не видел с тех пор этой девочки. Баллата шепотом рассказывала Бэссету, что три дня и три ночи девочка умирала перед Красным

божеством. Для Баллаты под запретом были плоды хлебного дерева, чему Бэссет искренно был рад. Что, если бы ей была запрещена вода!

Бэссет выдумал запрет и для себя: он сказал, что может жениться только тогда, когда созвездие Южного Креста достигнет высшей точки на небе. Зная астрономию, он высчитал, что таким образом получал отсрочку почти на девять месяцев. Бэссет был уверен, что за это время он или умрет или сумеет убежать из плена, узнав все о Красном божестве и о его удивительном голосе.

Сперва Бэссет думал, что Красный — это гигантская статуя, вроде колосса Мемнона, издающая звуки при известном состоянии атмосферы и при солнечном свете. Но он отказался от этой гипотезы, когда, после одного военного набега под предводительством Вгнгна, была приведена партия пленных в дождливую ночь и немедленно принесена в жертву Красному божеству, пение которого слышалось громче обычного.

В обществе Баллаты, а иногда и с другими мужчинами и женщинами, ему дозволялось свободно бродить по джунглям. Но та часть леса, где находилось жилище Красного божества, была для него запретной. Он все больше и больше ухаживал за Баллатой, следя за тем, чтобы она как можно

чаще купалась. Она была истинной женщиной, готовой на все ради любви. И хотя вид ее вызывал в нем чувство омерзения, а прикосновение ее приводило в отчаяние, хотя ее безобразный образ преследовал его в кошмарных сновидениях, он все же чувствовал в ней ту вечную женственность, ту силу, которая воодушевляла ее и делала для нее собственную ее жизнь менее ценной, чем счастье ее возлюбленного, с которым она надеялась соединиться. Джульетта и Баллата? Была ли, в сущности, разница между ними? Нежный, утонченный продукт западной цивилизации и грубый прототип Джульетты, живший за сто тысяч лет до нее? Различия между ними не было.

Бэссет был прежде всего ученым и для науки мог забыть о гуманности. В самом сердце джунглей, на острове Гвадалканаре, он наблюдал Баллату так, точно производил какой-нибудь химический опыт в своей лаборатории. Он усиливал проявления своей притворной страсти к дикарке и этим все больше и больше подчинял ее себе. Наконец он потребовал, чтобы она исполнила его желание: показала бы ему путь к Красному божеству. Это старая история, рассуждал он, расплачиваться всегда должна женщина. Требование было высказано, когда они ловили в

реке какую-то безымянную мелкую черную рыбку с золотисто-оранжевой икрой (рыбка эта редко заплывала в пресные воды и считалась тонким кушаньем). Баллата, бросившись на грязную землю, обняла его ноги и стала целовать их, издавая мурлыкающие звуки, от которых у Бэссета стыла кровь в жилах, — Баллата просила убить ее, но не требовать от нее такой большой платы за любовь. Она рассказала ему, что того, кто нарушит запрет и увидит Красное божество, ждет страшная кара — неделя пыток, подробности о которых она, плача, рассказывала ему, уткнув лицо в грязь. Он понял, что является новичком в науке о том, как страшно может человек истязать человека.

Однако Бэссет настоял, чтобы его воля — воля мужчины — была выполнена, несмотря на всю опасность этого выполнения для женщины. Баллата должна помочь ему узнать тайну Красного божества, хотя бы ей грозила медленная, страшная, мучительная смерть. И Баллата, будучи только женщиной, уступила. Она повела его в запретную область.

Крутая гора уступами спускалась с севера навстречу другой такой же горе; между горами лежало глубокое, мрачное ущелье. Дорога около мили шла по ущелью, а затем круто поднималась

в гору. Они подошли к отложению известняка, привлекшего к себе внимание Бэссета как геолога. Карабкаясь дальше, с частыми остановками из-за слабости Бэссета, они взобрались на лесистую вершину, затем вышли на голое плоскогорье. Бэссет увидал, что оно покрыто черным вулканическим песком; он знал, что пластинкой магнита, лежавшей у него в кармане, можно притянуть несколько зерен песку, по которому он шел.

Взяв Баллату за руку, он повел ее вперед — к той страшной бездне, очевидно созданной искусственно, которая находилась посередине плоскогорья. Древняя история плавания по южным морям, десятки дат и событий быстро пронеслись у него в голове. Мэндана, открывший эти острова и назвавший их «Соломоновыми», полагал, что именно здесь находились знаменитые копи царя Соломона. Над детской доверчивостью старого мореплавателя смеялись. И вот теперь он сам, Бэссет, стоит здесь на краю пропасти, которая очень похожа на алмазные копи Южной Африки.

Но то, что он увидел там, в этой пропасти, не было алмазом, скорее это была жемчужина с радужным отливом. Однако жемчужины всего

мира и всех времен, слитые в одну, не могли бы сравниться с этой по величине. Да и цвет ее не вполне был похож на цвет жемчуга или какого-либо драгоценного камня — это был совершенно особый цвет, цвет Красного божества. Бэссет понял, что пред ним само Красное божество. Он увидел шар футов двухсот в диаметре; верхний полюс его находился футов на сто ниже края обрыва. Бэссету поверхность шара напомнила полировку. Он даже решил, что шар покрыт лаком, наведенным человеческой рукой, но лаком столь чудесно-сложным, что, конечно, не бушмены изготовили его. Это был красный лак, ярчайший, вишнево-красного оттенка; казалось, будто один красный слой наложен на другой. Шар горел и переливался на солнце всеми цветами радуги, точно из-под бесчисленных красных покровов исходило сияние…

Напрасно Баллата упрашивала Бэссета не спускаться в пропасть. Она падала ниц в грязь, умоляя его остановиться. Но когда он все же пошел вниз по дорожке, извивавшейся по стенам огромного оврага, она последовала за ним, рыдая и дрожа всем телом.

Красный шар был вырыт из земли, как драгоценность, — это было очевидно. Принимая во

внимание малочисленность жителей, составлявших союз деревень, и примитивность их орудий, Бэссет понимал, что только трудом бесчисленных поколений могла быть вырыта эта глубокая яма, в которой лежал шар.

Он увидел, что дно ее устлано человеческими костями; тут же валялись каменные и деревянные идолы, обезображенные и изуродованные. Некоторые из них были вырезаны из стволов деревьев сорока и пятидесяти футов длиной и покрыты непристойными рисунками. Он заметил отсутствие изображений акулы и черепахи, весьма часто встречающихся на различных предметах у жителей прибрежных деревень этого острова, и был крайне изумлен, увидя изображение шлема. Откуда могли знать о шлемах эти дикари? Здесь, в мрачных недрах Гвадалканара… Носили ли шлемы воины Мэнданы, проникшие сюда столетие назад? И если нет, то откуда дикие племена заимствовали изображение шлема?

Идя по разбитым и изуродованным идолам и костям, Баллата рыдала, следуя за Бэссетом по пятам. Бэссет вошел в тень Красного божества и приблизился к нему настолько, что мог дотронуться до его поверхности кончиками пальцев. Нет, это не был лак. Поверхность не была такой

гладкой, какой была бы, будь она отполирована. Наоборот, она была морщиниста, на ней были борозды и углубления; там и сям виднелись пятна, свидетельствовавшие о плавке. Значит, шар был сделан из металла, не похожего ни на один металл или сплав металлов, известных Бэссету. Что касается до его окраски, то, по мнению Бэссета, она не была искусственной — это был цвет, присущий самому металлу.

Бэссет провел кончиками пальцев по поверхности шара и почувствовал, что громадный шар вдруг зазвучал, затрясся, задрожал, как живой. Невероятно! От легчайшего прикосновения звучит такая огромная масса! Шар трепетал под лаской его пальцев ритмическими вибрациями, и вибрации эти превращались в шепот, вздохи, тихие звуки. Этот звук совсем не походил на прежние — он был так тонок, что казался мерцающим; так нежен и головокружительно сладостен, как будто прозвучал отдаленный рожок лесных эльфов; он был подобен, решил Бэссет, звону небесных колоколов, который достиг земли, пронесясь через межпланетное пространство.

Бэссет вопросительно взглянул на Баллату; голос Красного божества заставил ее упасть со стенанием среди костей. Бэссет снова погрузился

в созерцание чуда. Шар пуст внутри и сделан из неизвестного нам металла, заключил он. В старые времена шар справедливо называли Рожденным Звездами. Только от звезд мог он сойти сюда. Он был созданием высокого искусства и знания. Такое совершенство формы не могло быть результатом простой случайности. Несомненно, он был детищем каких-то умов, работавших над металлами. Бэссет, потрясенный, смотрел на шар и готов был принять его за чудесное светило, блуждавшее сначала среди звезд, зарывшееся затем в недра земли и открытое благодаря труду людоедов. Не произошел ли его цвет от действия огня на какой-нибудь металл? Бэссет тронул поверхность шара кончиком своего перочинного ножа, чтобы узнать состав материала. Мгновенно весь шар зазвучал могучим ропотом, полным глубокого протеста, зазвенел почти золотым звоном, — если только ропот можно уподобить звону, — который, поднимаясь и опускаясь двумя волнами звуков, грозил сомкнуть круг и слиться в оглушительный гром, так часто слышанный Бэссетом. Забывая о том, что он рискует жизнью, охваченный чувством удивления перед непонятным и непостижимым, Бэссет поднял нож, чтобы ударить по поверхности шара изо всей силы, но

Баллата помешала ему. Она бросилась на колени, умоляя его не делать этого, и в порыве безумия, желая как-нибудь подействовать на него, схватила свою руку зубами и прокусила ее до кости.

Он почти не обратил внимания на ее поступок, но все-таки отодвинулся от шара и спрятал нож. Перед этим знаменем высшей жизни из далеких звездных миров человеческая жизнь казалась ему ничтожной. Толчком ноги, точно это была собака, он заставил безобразную маленькую дикарку встать и идти с ним дальше вокруг шара. Пройдя часть пути, он увидел нечто страшное. Среди многих человеческих останков он узнал высохший на солнце труп девятилетней девочки, случайно нарушившей табу вождя Вгнгна.

Продолжая идти вокруг шара по костям и изображениям богов и людей, Бэссет наткнулся на сооружение, посредством которого Красное божество посылало свой громкий клич через джунгли и равнины к отдаленным берегам Рингману. Это сооружение было настолько же просто и первобытно, насколько сложно и совершенно было строение Красного божества. Огромная балка, длиной футов в полтораста, в течение веков охраняемая суеверным культом, украшенная изображениями богов в шлемах, висела на

веревках, сплетенных из вьющихся растений, спускающихся от верхушки треножника. Этот треножник был сделан из трех огромных древесных стволов, которые тоже были украшены скалящими зубы изображениями божков. По сторонам балки-тарана свисали веревки, посредством которых таран можно было раскачивать и ударять им огромный, отливающий цветами радуги шар.

Здесь Нгурн совершал богослужение для двенадцати деревень. Бэссет вдруг засмеялся почти безумным смехом при мысли, что этот чудесный глашатай других миров попал в селение дикарей и что его обожали обезьяноподобные существа, употреблявшие в пищу человеческое мясо и охотившиеся за человеческими головами…

Медленно текли недели. Ночи Бэссет проводил в доме жреца, на усыпанном пеплом полу, под вечно качающимися в дыму головами. Бэссет выбрал это место для ночевок потому, что на доме жреца лежало табу для женщин, а следовательно, дом этот являлся для Бэссета убежищем от Баллаты — она становилась все настойчивее и опаснее по мере того, как Южный Крест поднимался на небе, а значит, приближался день свадьбы. Днем же Бэссет качался в гамаке, под тенью большого

хлебного дерева перед хижиной жреца.

Такой порядок жизни Бэссета соблюдался не всегда, так как во время изнурительных приступов лихорадки он дни и ночи лежал в доме жреца. Он пытался превозмочь лихорадку, хотел жить, набраться сил к тому дню, когда ему придется совершить переход через равнину и через джунгли, чтобы достигнуть берега и поступить рабочим на какое-нибудь невольничье судно и вернуться в цивилизованный мир. Он расскажет там о вестнике иных миров, который лежит в самом сердце черного Гвадалканара, у звероподобных людей.

Иногда Бэссет проводил ночи, лежа под хлебным деревом и наблюдая, как медленно опускаются западные звезды за черную стену джунглей, в том месте, где была поляна, расчищенная для деревни. Он когда-то изучал астрономию и любил теперь давать волю своей болезненной фантазии, размышляя о жителях неведомых миров, о далеких, невероятно далеких солнцах… Он не мог представить себе границ для времени и для пространства. Никакие теории о радиоактивности не поколебали его твердого убеждения в том, что энергия неисчерпаема, а материя — неразрушима. Вечно были и вечно будут звезды на небе.

И несомненно, в этом космическом брожении все должно быть относительно однородно, иметь приблизительно одну субстанцию или субстанции. Все должно подчиняться одним и тем же законам, которые проходят ненарушимо сквозь весь опыт человека. Следовательно, — приводил он доводы и соглашался с ними, — жизнь должна быть достоянием всех Солнечных систем.

Он пытливо смотрел на звезды, лежа под хлебным деревом, и, очевидно, так же смотрели на звезды рассеянные по всей вселенной бесчисленные глаза, подобные его глазам. И так же, как его ум, другие бесчисленные умы искали объяснения строению вселенной. Размышляя так, он чувствовал, что его душа вступает в родство с безграничной, величественной вселенной, с тем множеством живых существ, глаза которых вечно смотрят на одну и ту же картину бесконечности.

Кто эти далекие высшие существа, которые послали с неба радужно-красного гиганта-вестника с его громоподобным голосом? Конечно, много времени прошло с тех пор, когда и они — эти высшие существа — проходили по той же тропе, на которую человек, живший на земле, — по календарю мироздания, — вступил так недавно.

И для того, чтобы быть в состоянии послать через бездны пространства своего вестника, они должны были уже достигнуть тех высот, к которым человек, в слезах и кровавом поту, во мраке заблуждений, медленно поднимается. И каковы эти существа на своих высотах? Достигли ли они блаженного братства? Или они признали, что закон любви только налагает проклятие слабости? Был ли беспощадный закон естественного подбора законом всего мира? И что было прежде всего и важнее всего? Не была ли их издревле приобретенная мудрость заключена в огромном металлическом сердце Красного божества, и сумеет ли человек на земле разгадать эту мудрость? В одном был уверен Бэссет: звучащий шар не был каплей красной росы, случайно упавшей с львиной гривы какого-нибудь далекого солнца. Этим чудесным шаром желали достигнуть какой-то цели: в нем был язык и мудрость звезд. Какие там, на звездах, таятся укрощенные стихии, какая мудрость, какие тайны? Этот таинственный огромный шар должен содержать в себе обширную историю глубоких исследований, выходящих за пределы самых смелых человеческих догадок. Если будут разгаданы таящиеся в нем законы и формулы, то, может быть, жизнь человеческая

на земле — индивидуальная и коллективная — вознесется на непостижимую высоту. Красное божество — это величайший дар времени слепому, неудовлетворенному, жаждущему неба человечеству. И для него, Бэссета, был уготован высокий удел — быть первым человеком, разгадавшим эту весть, прилетевшую от межзвездных его братьев.

Ни один белый, ни один туземец, не принадлежавший к племени Нгурна, никогда не видел Красного божества. Таков был закон, о котором Нгурн рассказывал Бэссету. Только человек, родившийся в их племени, мог увидеть Красное божество и остаться жить. А Бэссет видел…

Тайна Бэссета была известна только Баллате. Но она, разумеется, не выдаст его из страха, что и ее принесут в жертву Красному божеству. Бэссету нужно было только одно: избавиться от ужасной лихорадки, которая изнуряла его и мешала ему бежать из плена. Если бы он мог добраться до цивилизованных людей, он привел бы сюда экспедицию, и, хотя бы пришлось истребить все население Гвадалканара, он вырвал бы из сердца Красного божества весть других миров.

Но силы Бэссета таяли: все чаще и чаще повторялись изнуряющие пароксизмы лихорадки,

периоды спячки становились все продолжительнее, и он пришел к убеждению, несмотря на оптимизм, присущий его бурной натуре, что он никогда уже не проберется через равнины, не пройдет через джунгли и не достигнет моря. Он угасал по мере того, как поднимался Южный Крест; даже Баллата знала теперь, что он умрет до наступления дня свадьбы. Нгурн самолично собирал травы для предстоящего копчения головы Бэссета и с гордостью показал ему высокое совершенство своего нового изобретения, которое будет применено к Бэссету, когда он умрет. Бэссет относился равнодушно к мысли о смерти. Жизнь так долго и так медленно угасала в нем, что он уже не чувствовал страха перед неизбежным исчезновением. Но жизнь в нем все еще теплилась. Периоды беспамятства чередовались с периодами полусознания, и он спрашивал себя тогда, действительно ли он видел Красное божество или оно пригрезилось ему во время кошмара.

Но наступил день, когда мрак и туман рассеялись в голове Бэссета, и он почувствовал, что ум его ясен, как звон колокола, а тело необычайно слабо — он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он почти не ощущал своего тела: оно едва цеплялось за его дух, а дух в краткие мгновения проясне-

ния сознавал, что мрак небытия близок. Бэссет понял, что конец неизбежен; он достоверно знал теперь, что видел Красное божество наяву, — видел этого вестника других миров, — и сознавал, что он умрет и не принесет миру вести — вести о Красном божестве, которое, может быть, ждало тысячи лет в недрах Гвадалканара, чтобы о нем узнали все люди на земле… Бэссет позвал к себе Нгурна и стал обсуждать со старым жрецом условия и способы выполнения его последнего желания, его последнего приключения на земле.

— Я знаю закон, Нгурн, — закончил Бэссет. — Тот, кто не принадлежит к племени, не может увидеть Красное божество и остаться жить. Но я и не останусь жить. Пусть твои юноши отнесут меня к Красному; я взгляну на него, услышу его голос и потом умру под твоей рукой, Нгурн. Тогда будет удовлетворено и мое желание, и закон, и твоя жажда как можно скорее получить мою голову, для копчения которой ты уже все подготовил.

На это Нгурн согласился:

— Да, так будет лучше. Неразумно больному человеку, который не может выздороветь, стараться продлить жизнь на какие-нибудь минуты. И для живущих лучше без такого больного. Ты в последнее время всем мешаешь. Конечно, мне

было приятно говорить с таким мудрецом, как ты. Но вот уже много лун, как мы мало говорим. А между тем ты в хижине голов занимаешь место, хрипишь, как издыхающая свинья, или говоришь много и громко на своем языке, которого я не понимаю. Этим ты меня смущаешь, а я люблю думать в тишине о великих вещах света и тьмы, когда поворачиваю головы в дыму. Ты нарушаешь мои размышления и мешаешь мне достигнуть последней мудрости, которую я должен понять, прежде чем умру. А тебе, на которого уже спустился мрак, лучше умереть скорее. Я обещал тебе, что в те долгие дни, когда я буду поворачивать твою голову в дыму, ни один человек из племени не придет мешать нам. И я поведаю тебе много тайн, ибо я стар и очень мудр, и я буду прибавлять мудрость к мудрости, когда буду поворачивать твою голову в дыму.

Были сделаны носилки, и Бэссета понесли шесть дикарей к его последнему маленькому приключению, которое должно было завершить собой большое приключение, именуемое жизнью. Он почти не ощущал своего тела, и даже боль прекратилась. Его ум стал ясным, мысль была остра, и его охватило состояние тихого экстаза. Он лежал на носилках и прощался с землей: в

последний раз он увидел хлебное дерево перед домом жреца, сумрачный день под густой крышей джунглей, мрачное ущелье среди горных теснин, плоскогорье, покрытое черным вулканическим песком. Его несли вниз по спиральной тропе, туда, где находилось Красное божество. Огромный шар, блестя и сияя, казалось, готов был каждую минуту претворить в звуки свой цвет и блеск. По костям истлевших жертв, по обрубкам идолов, мимо страшных останков людей, недавно принесенных в жертву Красному божеству, его несли к треножнику и огромному висячему тарану.

Здесь Бэссет, с помощью Нгурна и Баллаты, с трудом сел, слабо покачиваясь на носилках, и ясным, твердым, все отмечающим взором пристально посмотрел на Красное божество.

— Только раз, о Нгурн, — сказал он, не отводя глаз от сияющей, колеблющейся поверхности, на которой непрестанно играли вишнево-красные тени: они переходили в звук, порождали шелковистый шелест, серебристый шепот, золотистый звон струн, бархатистый свист эльфа, тающий отдаленный гром.

— Я жду, — проговорил Нгурн после долгой паузы, незаметно взяв томагавк с длинной рукояткой.

— Только раз, о Нгурн, — повторил Бэссет, — пусть Красное божество заговорит, чтобы я мог видеть, каким образом оно говорит. А когда я подниму руку и наклоню голову, ты ударишь меня томагавком по шее. Но, о Нгурн, уходя навеки в ночь, я хотел бы, чтобы дивный голос Красного усладил мой слух.

— Обещаю тебе, что никогда ничья голова не будет так хорошо прокопчена, как твоя, — заявил Нгурн, подав знак стоящим у столба людям взяться за веревки и раскачивать бревно. — Твоя голова будет самой большой платой за мой труд по копчению голов.

Бэссет улыбнулся в ответ на слова старика. В эту минуту огромный таран, отодвинутый назад на сорок футов, был вытолкнут вперед. В следующий момент Бэссета охватил восторг от грома, пронесшегося над ним. Но что это был за гром! Он был нежен, как звон драгоценнейшего металла; голоса ангелов слышались в нем; он был прекраснее всех звуков — это была весть с других планет, других Солнечных систем, это был голос Бога, пленительный и повелительный. И… О чудо межзвездного металла! Бэссет своими собственными глазами видел, как цвет и краска превращаются в звуки, как вся видимая поверх-

ность огромного шара содрогается, вспыхивает и струится не то красками, не то звуками… Он познал в этот момент слияние силы и материи.

Время шло. Наконец Бэссет был выведен из своего восторга нетерпеливым движением Нгурна. Он совсем забыл о старом жреце. Неожиданно у него мелькнула мысль, и он усмехнулся. Ружье лежало возле него на носилках. Достаточно было спустить курок, и Нгурн был бы мертв… Но зачем обманывать, — была следующая мысль Бэссета. Нгурн был людоедом, звероподобным, похожим на обезьяну существом, но старый Нгурн по-своему был честен; Нгурн был предтечей морали и гуманности. «Нет, — решил Бэссет, — было бы подло обмануть старика в последнюю минуту; моя голова принадлежит Нгурну, и Нгурн должен ее получить».

И Бэссет, подняв руку, наклонил голову вперед, как было условлено. Он совсем забыл Баллату, которая была только женщиной, и притом не желанной. Он, не глядя, почувствовал, как взвился остро наточенный топор позади него. На Бэссета легла тень неведомого… И пока падал топор, пока не впилась еще сталь в нервы и мышцы, ему показалось, что он видит чистый лик Медузы — Истины. А когда сталь коснулась, мрак затопил его, и в мгновенной вспышке сознания увидел он свою голову, которая медленно вращалась в черном дыму, в священной хижине под хлебным деревом.

Ванкики, Гонолулу

Как аргонавты в старину

Было это летом 1897 года, когда в семье Таруотеров снова стало неладно. После мирного десятилетия приличной и тихой жизни дедушку Таруотера вдруг снова понесло. Заболел он на этот раз «клондайкской горячкой». Первым и неизменным признаком болезни было пение. И всегда он пел одну и ту же песню, хотя помнил только один куплет, да и из него только четыре строчки. Вся семья уже знала, что ноги у него зудят, а в мозгу бушует старое безумие, как только в доме раздавался его разбитый, некогда густой, а ныне перешедший в фальцет голос:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

Десять лет назад он распевал эту же песенку, когда его обуяла золотая горячка, увлекшая его в Патагонию. Многочисленному семейству удалось в тот раз укротить его, но не без труда. После того как все средства пошатнуть его решение

потерпели неудачу, родные пригрозили ему, что они обратятся к адвокату, учредят над ним опеку, а затем засадят в дом умалишенных. Это было вполне возможно, когда вопрос шел о человеке, расточившем четверть века назад в спекуляциях родовое имущество в Калифорнии, за исключением жалких десяти акров, и не проявившем с тех пор никаких способностей в делах.

Адвокаты для Джона Таруотера были вроде горчичника. Им он приписывал потерю своих обширных поместий. Вот почему в дни патагонской горячки одного упоминания о них оказалось достаточным, чтобы излечить его. Он быстро доказал, что не сумасшедший: справился со своей горячкой и отказался от поездки в Патагонию.

Но вскоре, однако, все убедились, что он действительно помешался. Он добровольно отдал своей семье в полную собственность и десять акров на Таруотерской равнине, и дом, и сарай, и службы, и воду. Кроме того, перевел на имя детей хранившиеся в банке восемьсот долларов, остаток погибшего состояния. Впрочем, домашние не говорили при этом о заключении старика в лечебницу, так как его распоряжения оказались бы тогда недействительными.

— Дедушка, конечно, рехнулся, — объявила его

старшая дочь Мэри, сама уже бабушка, когда отец ее отдал все детям и для сокращения расходов бросил курить.

Старик оставил себе только упряжку старых лошадей, горную тележку и единственную комнату в большом доме. Мало того, он объявил, что ничем и никому не хочет быть обязанным и договорился возить два раза в неделю почту Соединенных Штатов из Кельтервила через Таруотерскую гору в Старый Альмаден — ртутный рудник в горной местности. Его старые клячи с трудом делали две поездки в неделю.

За десять лет он не пропустил ни одного рейса ни зимой, ни летом. Ни разу также не запоздал уплатить Мэри за стол, аккуратно внося деньги по субботам. На этой плате он сам настоял в те дни, когда оправлялся от патагонской горячки, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

— Ладно! — делился он своими мыслями с изломанным колесом старой Таруотерской мельницы, которую когда-то сам выстроил и которая молола пшеницу для первых колонистов. — Ладно! Пока я сам себя содержу, меня не смогут отправить в богадельню. А раз в банке на мое имя не положено ни единого гроша, то и пройдохам адвокатам незачем ко мне соваться.

Между тем именно за эти вполне разумные поступки Джон Таруотер и прослыл страдающим тихим помешательством.

Первый раз он запел свою песню «Как аргонавты в старину» в 1849 году, когда, двадцати лет от роду, в остром припадке калифорнийской горячки, обменял двести сорок акров в Мичигане — из них сорок уже расчищенных — на четыре пары быков и один фургон и пустился в путь через прерии.

— И повернули мы у Форта Холл, откуда орегонские эмигранты пошли на север, а мы на юг в Калифорнию, — обычно заключал он свое повествование об этом тягостном пути. — Я и Билл Пинг ловили арканом медведей в зарослях в долине Сакраменто.

Затем последовали годы упорного труда в копях, на Мерседских приисках, и Джон Таруотер смог, наконец, удовлетворить свою страсть к земле, свойственную его расе и его поколению, и пустил корни в Сономском округе.

Десять лет старик возил почту через Таруотерскую городскую землю (вверх по Таруотерской долине и через Таруотерскую гору, по земле, большая часть которой была когда-то его собственностью), и все это время мечтал о том, как

бы вернуть себе эту землю перед смертью. И вот теперь огромная худощавая фигура его выпрямилась, как не выпрямлялась уже много лет, и в небольших впалых глазах сверкали синие искры, когда он пел свою старинную песню.

— Начинается. Слышите? — заметил Уильям Таруотер.

— Не все дома, — усмехнулся Хэррис Топпинг, женатый на Энни Таруотер, отец ее девятерых детей.

Дверь кухни отворилась, и вошел старик, уходивший кормить лошадей. Пение умолкло, но Мэри была раздражена тем, что обожгла себе руку, и тем, что желудок одного из ее внуков отказывался переваривать разбавленное по всем правилам коровье молоко.

— Нечего, отец, заводить старую погудку, — сварливо сказала она. — Прошла пора шататься в такие места, как Клондайк, а на свои песни ты ничего себе не купишь.

— А я готов биться об заклад, — возразил старик невозмутимо, — что я мог бы еще пробраться в этот самый Клондайк и набрать достаточно золота, чтобы выкупить таруотерскую землю.

— Старый дурак! — пробормотала Энни.

— Выкупить ее можно не меньше как за триста

тысяч, да еще нужно дать кое-что в придачу, — произнес Уильям, внося свою лепту в общую попытку образумить отца.

— Ну, что же, я и набрал бы триста тысяч, да еще кое-что в придачу, если бы попал туда, — спокойно ответил старик.

— Хорошо, что туда не дойти пешком, не то только бы мы тебя и видели, — крикнула Мэри. — А на переезд морем нужна уйма денег.

— Когда-то были у меня деньги, — смиренно заметил ее отец.

— Ну, а раз у тебя их больше нет, то позабудь о них, — посоветовал Уильям. — Прошли те времена, когда ты ловил медведей с Биллом Пингом. Медведей больше нет.

— А все-таки…

Но Мэри перебила его. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед носом престарелого родителя…

— Ну, что пишут сами клондайкцы? Тут вот черным по белому написано: только молодые да сильные переносят Клондайк. Там хуже, чем на Северном полюсе. Да и молодых немало там погибло. Посмотри на их портреты. Ведь ты на сорок лет старше самого старого из них.

Джон Таруотер посмотрел, но взгляд его оста-

новился на других фотографиях, помещенных на первой странице.

— А посмотри-ка на снимки самородков, которые они привезли, — сказал он. — Я толк в золоте знаю. Недаром выгреб двадцать тысяч из Мерседских приисков.

— Совсем рехнулся, — поделился своим мнением Уильям с остальными весьма явственным презрительным шепотом.

— Похвально ли так говорить об отце, — мягко упрекнул его старик Таруотер. — Мой отец выбил бы из меня дурь тележным вальком, вздумай я этак поговорить с ним.

— Но ведь ты же вправду рехнулся, отец… — начал Уильям.

— Сдается мне, что ты прав, сынок. Ну, а мой отец был в полном рассудке, и он бы так и сделал…

— Начитался дедушка журнальной дребедени о тех, кто разбогател после сорока лет, — продолжала насмехаться Энни.

— А почему бы и нет, дочка? — спросил он. — И почему бы человеку не добиться счастья даже после семидесяти лет? Мне только в этом году исполнилось семьдесят. Пожалуй, и мне бы повезло, только бы добраться до Клондайка…

— Никогда ты туда не доберешься, — отрезала Мэри.

— Ну, коли так, — вздохнул он, — пойду-ка я лучше в постель.

Старик встал с места, высокий, сухопарый, костистый и корявый — прекрасная развалина когда-то могучего мужчины. Косматые волосы и усы были не седы, а белы как снег; пучки белых волос торчали на костлявых пальцах. Он двинулся к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, глядя через плечо на детей.

— А все-таки, — жалобно пробормотал он, — до чего зудят у меня пятки, сил моих нет!

На следующее утро, задолго до того как проснулись его домашние, старик Таруотер при свете фонаря накормил и запряг лошадей, приготовил и съел свой завтрак и был уже далеко в Таруотерской долине по пути к Кельтервил, когда в доме началась жизнь. Были две необычные особенности в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу и сорок раз с тех пор, как заключил договор с почтой. Во-первых, он не продолжал пути на Кельтервил, а свернул по большой дороге на юг, к Санта-Роза. Во-вторых, еще замечательнее было то, что в ногах у него лежало что-то, завернутое в бумагу. Это была его

единственная приличная черная пара, которую, по намекам Мэри, он давно должен был бы перестать носить, — не потому, что она поношена, а потому — как он догадывался, — что в ней вполне прилично будет похоронить его.

В Санта-Роза он тотчас же продал эту пару в лавке подержанного платья за два с половиной доллара. От того же обходительного лавочника он получил четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади с фургоном пошли за семьдесят пять долларов, хотя наличными он получил всего двадцать пять. Случайно повстречавшись на улице с Алтоном Грэнджером, которому он никогда не напоминал о десяти долларах, данных тому в долг в семьдесят четвертом году, теперь намекнул ему о долге, и тот мигом заплатил. Оказалось также, что местный пьяница, которого Таруотер много раз угощал в лучшие дни, каким-то невероятным чудом оказался при деньгах и дал ему взаймы доллар. И старик отбыл с вечерним поездом в Сан-Франциско.

Дней двенадцать спустя с парусиновым мешком с одеялами и старым платьем он высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. Берег был похож на сумасшедший дом. Грудами был навален багаж, около десяти тысяч

тонн, и тысяч двадцать человек растаскивали его и спорили из-за него. Доставка багажа индейцами-носильщиками через Чилкут к озеру Линдерман поднялась с шестнадцати центов до тридцати за фунт, что равнялось шестистам долларам за тонну. Суровая зима была не за горами. Все это знали, и все знали, что из двадцати тысяч человек очень немногие проберутся через ущелье; большинство останется зимовать и дожидаться весенней оттепели.

Таков был берег, к которому причалил старый Джон Таруотер. Через отмель и вверх по дороге пустился он к Чилкуту, мурлыкая свою старую песенку, как старый дедушка Эзоп. Никаких забот о багаже он не знал, так как никакого багажа у него не было. Ночь он провел на равнине, в пяти милях выше Дайи, в том месте, откуда начинается переправа на челноках. Река Дайя — бурный горный поток — вырывалась из темного ущелья.

И здесь-то рано утром случилось Таруотеру увидеть маленького человека, весом фунтов в сто, ковыляющего по бревенчатым мосткам с привязанным к спине мешком муки фунтов в сто, а может быть, и больше. Таруотер увидел, как этот человек сорвался с бревна и упал вниз головой в маленький водоворот глубиной фута

в два, где преспокойно принялся тонуть. Не то чтобы ему была охота умирать, но мука на спине весила столько же, сколько он сам, и не давала ему подняться.

— Спасибо, старик, — сказал он Таруотеру, когда тот вытащил его из воды на берег.

В то время как человек расшнуровывал обувь и выливал воду, они разговорились. А потом малыш вытащил золотой в десять долларов и предложил своему спасителю.

Старик Таруотер отрицательно покачал головой и повел плечами от холода, так как промок, стоя по колено в ледяной воде.

— Но я не отказался бы перекусить с вами по-приятельски.

— Не завтракали? — спросил с любопытством человек, который сказал, что его зовут Энсоном и что ему сорок лет.

— Ничего еще во рту не было, — ответил Джон Таруотер.

— А снаряжение где? Послали вперед?

— Нет снаряжения.

— Думаете закупить провизию на той стороне?

— У меня нет ни одного доллара на покупку, дружище. Да это не важно, а вот выпить бы чего-нибудь горячего!

В Энсоновском лагере, в четверти мили дальше, Таруотер увидел стройного рыжего малого лет тридцати, изрыгавшего проклятия над костром из сырого ивняка. Его представили Таруотеру под именем Чарльза, и он тотчас же перенес всю свою злобу и хмурые взгляды на старика; но тот добродушно стал разводить огонь, воспользовавшись резким утренним ветерком, чтобы усилить тягу, и вскоре вместо густого дыма запылал огонь. Тут подоспел третий член компании, Билл Уильсон, или, как они его звали, Большой Билл, с грузом в сто сорок фунтов, и Чарльз подал товарищам весьма жалкий, по мнению Таруотера, завтрак. Маисовая каша оказалась наполовину сырой и подгоревшей, сало превратилось в уголь, а кофе похож был на что угодно, но не на кофе.

Наскоро покончив с завтраком, трое компаньонов взяли пустые мешки и отправились вниз по тропе за остатками своего багажа, на место последней стоянки, за милю отсюда. А старику Таруотеру нашлась работа. Он перемыл посуду, натаскал сухого хворосту, починил разорванный мешок, отточил кухонный нож и топор, упаковал кирки и лопаты в удобный для пути сверток.

Во время завтрака он был поражен тем особенным уважением, которое Энсон и Большой Билл

оказывали Чарльзу. Воспользовавшись удобной минутой, когда Энсон отдыхал, притащив еще сотню фунтов, Таруотер осторожно спросил о причине такого отношения.

— Видите ли, в чем дело, — пояснил Энсон. — Мы разделили обязанности. У каждого из нас своя специальность. Я, например, плотник. Когда мы дойдем до озера Линдерман, срубим деревья и распилим их на доски, я буду заведовать постройкой лодки. Большой Билл — дровосек и рудокоп, — стало быть, ему придется распоряжаться рубкой леса и работами на приисках. Большая часть нашего багажа впереди. Мы совсем было разорились на индейцев-носильщиков, чтобы доставить багаж на вершину Чилкута. Наш товарищ уже там. Он переправляет багаж вниз на ту сторону. Его зовут Ливерпул. Он моряк. Когда лодка будет готова, он будет управлять ею во время переправы через озеро и через пороги до самого Клондайка.

— А Чарльз? Какая у него специализация? — осведомился Таруотер.

— Он по деловой части. Когда дойдет до организации и всего прочего, то хозяином будет он.

— Гм, — размышлял Таруотер. — Хорошо, что у вас так подобрались специалисты!

— Больше чем хорошо, — поддакнул Энсон. — Кроме того, все вышло случайно. Мы все отправились поодиночке. Встретились на пароходе по пути в Сан-Франциско и составили артель. Ну, пора мне отправляться. Чарльз сердится, что я ношу меньше других. Но нельзя же требовать, чтобы стофунтовый человек осилил столько же, сколько детина весом в сто шестьдесят фунтов.

— Побудьте здесь и приготовьте нам что-нибудь к обеду, — сказал Чарльз, когда пришел со следующей частью груза и заметил результаты распорядительности старика.

И Таруотер приготовил обед, и это был настоящий обед. Потом вымыл посуду. К ужину подал свинину с бобами и хлеб, поджаренный на сковородке. Настолько было все вкусно, что трое компаньонов чуть не объелись. Перемыв тарелки после ужина, старик наколол лучин для быстрой растопки огня утром, научил Энсона одному ухищрению, очень ценному при его работе, спел свое «Как аргонавты в старину» и рассказал им о великом переселении через равнины в сорок девятом году.

— Надо правду сказать, ни разу не было у нас такой веселой, уютной стоянки, — заметил Большой Билл, выколачивая трубку и стаскивая

сапоги на ночь.

— Не подсобить ли вам немного, ребята? — добродушно спросил Таруотер.

Все кивнули в знак согласия.

— Тогда у меня к вам предложение. Можете согласиться или отказать, только выслушайте меня. Вам надо поскорее добраться на место до морозов. Один из вас тратит на кухню половину того времени, что пошло бы на переноску багажа. Если я буду для вас готовить, вы сбережете время. И стряпня будет вкуснее, и работа пойдет лучше при хорошей пище. Кроме того, я и сам могу кое-что перетащить между делом — немного, самую чуточку.

Большой Билл и Энсон одобрительно закивали головой, но Чарльз остановил их.

— Чего вы хотите от нас взамен? — спросил он у старика.

— Пускай ребята сами решают.

— Так дела не делаются, — резко заметил Чарльз. — Вы внесли предложение. Договаривайте до конца.

— Я бы так думал…

— Вы рассчитываете на то, что мы прокормим вас всю зиму? — перебил Чарльз.

— Ни в коем случае. Если вы меня доставите

на своей лодке в Клондайк, больше мне от вас ничего и не надо.

— У вас нет харчей, старина, вы там помрете с голоду.

— Кормился же до сих пор, — возразил с веселой искоркой в глазах старик Таруотер. — Мне семьдесят лет, и я еще не умер с голоду.

— Согласны вы подписать бумагу, что перейдете на свое иждивение, как только мы прибудем в Доусон? — деловито продолжал Чарльз.

— Ну, конечно, — был ответ.

Снова Чарльз прервал двух компаньонов, выражавших удовлетворение по поводу достигнутого соглашения.

— Еще одно, старина. У нас компания из четырех человек, и все мы имеем право голоса. Молодой Ливерпул ушел вперед с главным багажом. Мы не знаем, что он скажет.

— А что он за птица? — осведомился Таруотер.

— Грубый матрос, и нрав у него дрянной, запальчивый.

— Немножко буйный, — добавил Энсон.

— А уж как сквернословит! Прямо жутко становится, — подтвердил Большой Билл. — Зато малый справедливый, — добавил он, и Энсон с готовностью закивал, подтверждая похвалу.

— Вот что, ребята, — заключил Таруотер, — когда-то давно я решил отправиться в Калифорнию и добрался до нее. А теперь попаду и в Клондайк. Нет! Ничто не остановит меня! Да вдобавок мне надо там выколотить из земли триста тысяч. И выколочу, ничто не помешает мне. Нужны мне эти деньги, и все тут. Буйный нрав еще не беда, раз малый справедливый. Была не была, иду с вами, пока не догоним его. Если же он скажет «нет», ну что же, — стало быть, я проиграл. Но мне почему-то сдается, что он не скажет «нет». Уж очень близко будет к морозам, как же он бросит меня. А главное, надо мне попасть в Клондайк во что бы то ни стало; думаю, не откажет он мне.

Старый Джон Таруотер сделался заметной фигурой среди толпы, идущей в Клондайк, вообще-то богатой колоритными личностями. Эти тысячи людей, таскавшие по полтонны багажа на спине и проделывавшие каждую милю пути раз по двадцати, мало-помалу перезнакомились со стариком и стали называть его «Дедушкой Морозом». И все время, пока дедушка работал, раздавался его дребезжащий фальцет, распевающий старинную песенку. Ни один из его компаньонов не мог на него пожаловаться. Правда, суставы его были недостаточно гибки — он не отрицал, что слегка

подвержен ревматизму, — двигался он медленно и как бы поскрипывал, похрустывал, однако не переставал двигаться. Последним забирался он вечером под одеяло, а утром был первым на ногах, чтобы напоить трех товарищей горячим кофе перед первой партией багажа, которую они обычно приносили до завтрака. Между завтраком и обедом, а затем между обедом и ужином он ухитрялся и сам перетащить несколько мешков. Впрочем, шестьдесят фунтов были крайним пределом для его сил. Он мог поднять и семьдесят пять, но не выдерживал до конца. Раз как-то ему вздумалось нагрузить на себя девяносто — тут он совсем надорвался и два дня был сам не свой.

Труд! На этой дороге, где люди труда впервые узнали, что такое настоящая работа, ни один не трудился усерднее старика Таруотера. Подгоняемые угрозой близкой зимы и безумной мечтой о золоте, иные расходовали свои силы до последней крупицы и падали в пути. Другие, когда неудача становилась несомненной, пускали себе пулю в лоб. Третьи сходили с ума, а четвертые, под гнетом непосильного напряжения, расторгали всякие соглашения и порывали дружеские узы с людьми, которые были ничуть не хуже их самих и так же, как и они, страдали от безумной

усталости и от страсти к золоту.

Труд! Старик Таруотер мог всех их заткнуть за пояс, несмотря на свой скрип и хруст и привязавшийся к нему скверный лающий кашель. Утром и вечером, на дороге или в лагере он вечно был на виду, вечно чем-нибудь занят, вечно готов откликнуться на зов «Дедушка Мороз». Иной раз усталые носильщики опускали свою поклажу на бревно или камень рядом с его поклажей и говорили ему: «А ну-ка, папаша, спойте свою песенку о сорок девятом годе». После того как он хрипло исполнял свою песенку, они вставали со своими тюками и снова пускались в путь, приговаривая, что «стало как будто легче на душе».

— Если кто вполне отработал свою дорогу и заслужил ее, так это наш старик, — говорил Большой Билл двум своим компаньонам.

— Нечего там! — перебил Чарльз Крейтон. — Как только доберемся до Доусона, все дела с ним будут окончены. Если мы оставим его, нам же придется и хоронить его. Кроме того, неминуем голод, и каждая унция еды будет на счету. Помните, что мы всю дорогу кормим его. И если в будущем году нам нечего будет есть, пеняйте на себя. Пароходы не могут доставить продукты в Доусон раньше июня, а до июня еще девять

месяцев.

— Что ж, ты вложил денег и продуктов столько же, сколько каждый из нас, — согласился Большой Билл, — поэтому имеешь право сказать свое слово.

— И скажу, — продолжал Чарльз с возрастающей раздражительностью. — Ваше счастье, что при вашей дурацкой чувствительности еще есть кому раскинуть за вас мозгами, не то все вы поколели бы с голоду. Говорю вам — надвигается голод. Я по всему это вижу. Мука будет по два доллара фунт, если не по десять, и не у кого будет ее покупать. Попомните мое слово.

На плоскогорьях, среди темных ущелий, среди нависших грозных ледников, на крутых склонах, покрытых ледяным настом, где приходилось ползти на четвереньках, старик Таруотер неизменно стряпал, таскал поклажу и пел. При первой осенней метели перевалил он через Чилкутский перевал выше линии леса. Те, кто сидел внизу без топлива на бесплодном берегу озера, услыхали из надвигавшейся темноты странный голос, распевавший:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,

И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

Из снежного вихря выступила сухопарая фигура, белая борода развевалась по ветру, а спина согнулась под тюком, содержавшим шестьдесят фунтов топлива.

— Дедушка Мороз! — пронесся клич. — Трижды ура Дедушке Морозу!

В двух милях от озера находился Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь начиналась линия леса, люди могли развести огонь и отогреться. Едва ли, впрочем, можно было назвать это лесом, так как вся растительность состояла из карликовых горных сосен, верхние побеги которых никогда не возвышались более одного фута над мхом, а корни извивались под мшистым покровом. На тропе, ведущей к Счастливому Лагерю, в солнечных лучах, озаривших его впервые за последние несколько дней, старик Таруотер прислонил свою поклажу к камню и перевел дыхание. Тропа огибала этот камень, и мимо шли люди, медленно плетясь вперед с тяжелым грузом и проворно шагая обратно с пустыми мешками. Дважды старик Таруотер пытался встать и продолжать свой путь, и каждый раз

слабость заставляла его опускаться на камень. Из-за камня слышались приветственные голоса. Он узнал голос Чарльза Крейтона и понял, что компаньоны, наконец, встретились с молодым Ливерпулом. Чарльз, не теряя времени, заговорил о деле, и Таруотер отчетливо слышал каждое слово весьма нелестной своей характеристики и того предложения, на основании которого взялись доставить его в Доусон.

— Глупее ничего нельзя было придумать! — таков был приговор Ливерпула, когда Чарльз кончил свой рассказ. — Старый семидесятилетний дед! Если он едва таскает ноги, то на кой же черт вы с ним связались? Случись голод — а к тому идет — нам дорога будет каждая крупинка хлеба! Мы запасались на четверых, а не на пятерых!

— Все это наладится, — доносилось до Таруотера увещание Чарльза, — не выходи из себя. Старичина обещал подчиниться твоему решению. Стоит тебе только заявить свое право и сказать «нет».

— Ты хочешь сказать, что я должен вышвырнуть старика, после того как вы подали ему надежду и пользовались его трудом от самой Дайи?

— Дорога тяжелая, и только самый крепкий ее осилит, — оправдывался Чарльз.

— И на меня взвалили решать это грязное дело? — упрекал Ливерпул. Сердце у Таруотера упало, когда он услышал эти слова.

— Да, похоже на это, — согласился Чарльз. — Ты должен решить.

Но тут старик Таруотер повеселел. Воздух огласился сквернословием, в котором выделялись отдельные фразы вроде следующих: «Негодяи!.. Да провались вы все в тартарары!.. Черт вас побери!.. Хоть бы вы все в огне сгорели! Старик идет с нами на Юкон, так и знайте, милые мои!.. Тяжело? Подождите, я вам покажу, что значит тяжело… Попробуйте только выжить его, я все ваши пожитки отправлю к черту, и следов не найдете!.. Только попробуйте его коснуться! Вам покажется, что настал день Страшного Суда и что все проклятия Неба свалились на вашу голову!»

Ободряющее действие красноречия Ливерпула было так сильно, что старик легко поднялся со своей ношей и двинулся к Счастливому Лагерю.

На всем пути от Счастливого Лагеря до Долгого озера вверх через горный хребет и вниз к озеру Линдерман убийственная борьба человека со стужей не прекращалась. Люди надрывали свои

силы, плакали на краю дороги от изнеможения. Под неистовым ветром, под проливными дождями, под все чаще налетавшими метелями Таруотер и принявшая его компания свалили, наконец, последнюю партию своего багажа на берегу.

Отдыха не было. По ту сторону озера, на милю выше ревущего потока, они разыскали сосновую поросль и вырыли яму для пилки досок. Плохонькой ручной пилой они распиливали деревья на доски. Трижды во время ночной смены внизу в яме старик Таруотер падал в обморок. Днем он по-прежнему готовил еду, а в промежутках помогал Энсону строить лодку на берегу потока, по мере того как успевали приготовлять свежие доски.

Дни становились короче. Ветер задул с севера. По утрам усталые товарищи выползали из-под одеял и, сидя в носках, согревали промерзшую обувь у огня, непрерывно поддерживаемого Таруотером. Толки о голоде росли. Последние продовольственные пароходы из Берингова моря задержались из-за мелководья на сотни миль к северу от Доусона. Говоря точнее, они стояли у старого поста Компании Гудзонова залива, у Форта Юкон, по ту сторону Полярного круга. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но

никто не продавал ее. Богачи в Бонанзе и Эльдорадо, с карманами, полными денег, уезжали, потому что не могли купить продуктов. Приисковые комитеты конфисковали все съестные припасы и перевели население на пайки. Если кто-нибудь пытался продавать что-либо съестное, его расстреливали. Человек двадцать было уже расстреляно.

И под напором напряжения, сломившего немало молодых и сильных людей, старик Таруотер начал подаваться. Кашель его принял угрожающий характер, и если бы его измученные товарищи не спали как убитые, он не давал бы им покоя и по ночам. Кроме того, его знобило, и он стал тепло одеваться на ночь. По окончании ночного туалета в его дорожном мешке не оставалось ни единого лоскута. Все было обмотано вокруг его худого старого тела.

— Эге! — говорил Большой Билл. — Если он уже навьючивает на себя все пожитки теперь, когда не бывает больше двадцати градусов выше нуля[13], то что он будет делать, когда дойдет до пятидесяти и шестидесяти ниже нуля?

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз

---

[13] notes: 13
По Фаренгейту.

по горному потоку, едва не потеряв ее при этом, и переправились на веслах через южный конец озера Линдерман в самый разгар осенней непогоды. Решено было на следующее утро двинуться прямо в пасть северному ветру; нужно было совершить опасный пятисотмильный переезд по озерам, порогам, тесным ущельям. Но перед тем, как лечь спать, молодой Ливерпул прошелся по лагерю. Возвратившись, он застал всех спящими. Ливерпул разбудил старика Таруотера и начал толковать с ним вполголоса.

— Послушайте, папаша, — сказал он. — За вами место в нашей лодке; уж если кто заработал право на переправу, так это вы. Но вы сами хорошо знаете, что годы ваши уже не те, что были, а здоровье не из блестящих. Если вы отправитесь с нами дальше, то протянете ноги как пить дать. Нет, вы сперва выслушайте, папаша! Плата за переправу подскочила до пятисот долларов. Я поразведал там и сям и выудил пассажира. Он чиновник коммерческого банка из Аляски, и ему до зарезу нужно вернуться туда. Он готов заплатить шестьсот долларов, лишь бы попасть в нашу лодку. Вот вы и продайте ему ваше место, шесть сотен в карман, и марш на юг, в Калифорнию, пока еще возможно проехать. Через два дня будете в Дайе,

а недельку спустя и в Калифорнии. Что скажете?

Таруотер долгое время кашлял, прежде чем ему удалось перевести дыхание для ответа.

— Сыночек, — начал он, — скажу я тебе только одно. Гнал я свои четыре упряжки быков через равнины в сорок девятом году и ни единой не потерял. Прогнал я их до Калифорнии. А теперь я иду в Клондайк. И ничто не остановит меня. Я поеду на лодке вместе с тобой прямо до Клондайка и вытрясу там триста тысяч из-под мхов. А раз я хочу этого, глупо было бы продавать мое место. Но все же благодарю тебя, сынок, сердечно благодарю.

Ливерпул порывисто и крепко стиснул руку старика.

— Клянусь честью, папаша, — крикнул он, — быть тебе там, коли так! Ты, старик, молодец. — Он с нескрываемым презрением поглядел на то место, где храпел Чарльз Крейтон. — Таких, как ты, больше не родится, папаша.

Компаньоны отвоевывали дорогу на север шаг за шагом, хотя обратные путники, старожилы, качали головой и пророчили, что их затрет льдами на озерах. То, что реки могут стать в любой день, было очевидно, и об осторожности никто не думал. Ливерпул решил спуститься с полным

грузом по быстрой речонке, соединяющей Линдерман с озером Беннет. Обычно здесь лодки шли порожняком, а груз переправляя волоком. Но и при этом многие лодки все же терпели крушение.

— Вылезай, папаша, — скомандовал Ливерпул, готовясь отчалить от берега и пустить лодку по быстринам.

Старик Таруотер тряхнул седой головой.

— Я состою при грузе, — объявил он. — Иначе не дойдешь до места. Видишь ли, сынок, мне надо попасть в Клондайк. Если я не буду расставаться с лодкой, я доберусь до Клондайка. А если вылезу, может случиться — пропадет и лодка.

— Однако нечего и перегружать ее, — объявил Чарльз, выскакивая на берег в момент отплытия.

— В другой раз дожидаться команды! — крикнул ему Ливерпул, в то время как течение подхватило лодку. — Что за прогулки вокруг порогов! А потом придется подбирать тебя по пути.

Чарльзу потребовалось полчаса, чтобы пройти тот путь, который они совершили в десять минут по реке. Дожидаясь его на берегу озера Беннет, они выслушали различные вести от многочисленных неудачников, отправлявшихся в обратный путь. Слухи о голоде были грознее, чем когда-либо.

Северо-западная конная полиция дежурила у озера Марш, там, где золотоискатели вступают на территорию Канады, и не пропускала никого, у кого было меньше семидесяти фунтов продуктов. В городе Доусоне тысячи человек с собачьими упряжками ожидали морозов, чтобы двинуться обратно по льду. Торговые общества не могли выполнить договоры по снабжению съестными припасами, а члены товариществ метали жребий, чтобы решить, кому возвращаться и кому оставаться разрабатывать участки.

— Ну, теперь все ясно, — объявил Чарльз, услыхав о действиях пограничной конной полиции. — Старик, лучше тебе тотчас же отправиться восвояси.

— Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул. — Мы едем в Клондайк, и старый папаша едет с нами.

Ветер, подув к югу, стал попутным. Через озеро Беннет они переправились под большим парусом, сшитым Ливерпулом. Он вел лодку, как подобает смелому матросу, когда дорога каждая минута. Новая перемена ветра на юго-запад подоспела как раз кстати, когда они выплыли к реке Северного Оленя и домчались до озер Тагиш и Марш. Опасная переправа через Большой рукав

ветров была выполнена во время бури, в сумерки, причем на их глазах опрокинулись и потонули две лодки золотоискателей с грузом.

Чарльз хотел причалить к берегу, но Ливерпул продолжал плыть по течению, отыскивая верный путь по шуму прибоя на отмелях и случайным береговым кострам, разведенных потерпевшими крушение или нерешительными золотоискателями. В четыре часа утра он разбудил Чарльза. Старик Таруотер, дрожавший рядом без сна, услышал, как Ливерпул приказал Крейтону сесть рядом с ним у руля, и слышал весь их разговор.

— Слушай, друг Чарльз, и держи язык за зубами, — говорил Ливерпул. — Я хочу, чтобы одно попало тебе в башку и там осталось: дед пройдет мимо полиции. Понимаешь? Пройдет. Когда будут осматривать наши запасы, пятая доля принадлежит деду. Понимаешь? Правда, выйдет у нас немного меньше, чем полагается, — ну да смелость города берет. Смотри же, помни это!

— Если ты думаешь, что я способен донести на старика… — с негодованием начал Чарльз.

— Ты об этом подумал, — перебил Ливерпул, — а я и не заикнулся. Пойми меня и пойми как следует: мне дела нет до того, что ты думал раньше. Важно то, что ты теперь будешь думать. В

течение сегодняшнего дня, рано или поздно, мы наткнемся на полицейский пост, и нам надо одурачить его, — надо, чтобы прошло все без задоринки. Понятно? Умному ведь свистни, а он уже смыслит!

— Если ты думаешь, что у меня на уме было… — снова затянул Чарльз.

— Слушай-ка, — перебил его Ливерпул. — Я не знаю, что у тебя на уме было. Пусть только случится что-нибудь, пусть только полиция вернет деда обратно, тогда мы с тобой выберем первый подходящий уголок мирного пейзажа и высадимся на берег. Тут я отделаю тебя за первый сорт. Исколочу не как-нибудь, но как полагается здоровому мужчине о двух ногах и двух кулаках. Убить тебя едва ли убью, но, черт возьми, изобью до полусмерти.

— Что ж я могу сделать? — чуть не захныкал Чарльз.

— Только одно, — было заключительное слово Ливерпула, — молись, чтобы старик проскочил мимо полиции. Вот и все. А теперь полезай под одеяло.

Когда они приблизились к озеру Ле-Барж, земля покрылась снегом, и надолго, не меньше чем на полгода. Причалить к берегу было невозможно,

так как у кромки уже образовался лед. В устье реки, при впадении в озеро Ле-Барж, они застали сотню лодок таких же золотоискателей, как они, задержанных ветром. С севера через все большое озеро неслась снежная вьюга. Три утра искатели снимались с места и боролись с ветром и вздымающимися валами, которые захлестывали лодку и покрывали ее льдом. В то время как остальные надрывались над веслами, старик Таруотер поддерживал необходимое для жизни кровообращение тем, что скалывал лед и выбрасывал его за борт.

Каждый раз, в течение трех суток, выбившись из сил, они поворачивали назад и бежали с поля битвы под прикрытие реки. К четвертому дню сто лодок успели превратиться в триста и две тысячи золотоискателей знали, что великая вьюга является предвестником ледостава на озере Ле-Барж. По ту сторону его быстрые реки будут продолжать свой бег еще много дней, но как перебраться туда? Если им это не удастся, то придется прожить среди льдов шесть месяцев.

— Сегодня переправимся, — объявил Ливерпул. — Что бы ни случилось, возвращаться не станем. А если кто умрет на веслах, придется ему воскреснуть и снова взяться за весла.

Сказано — сделано. Половину пути осилили к сумеркам; всю ночь гребцы продолжали работать при затихающем ветре, временами засыпая на веслах и просыпаясь от толчка Ливерпула; ночь тянулась, точно вечный кошмар; звезды заблестели на небе, и поверхность озера оделась тонким покровом льда, который разбивался под ударами весел, звеня, как стекло.

Вставала заря, холодная и ясная, в то время как они входили в реку, подгоняемые льдами. Ливерпул осмотрел престарелого пассажира и убедился, что он совсем обессилел и чуть не умирает. Когда он подвел лодку к берегу с целью развести костер и отогреть Таруотера, Чарльз запротестовал против подобной траты времени.

— Не твоего ума дело, не суйся, — возразил Ливерпул. — В плавании я командир. А ты, не долго думая, полезай на берег и собери топлива, да побольше. Я присмотрю за папашей. Ты, Энсон, разведи костер на берегу. А ты, Билл, пристрой юконскую печку на лодке. Дедушка не так молод, как мы, и надо сделать так, чтобы ему было где погреться на борту.

Все это было в точности исполнено; и, словно речной пароход с двумя дымящими трубами, лодка то неслась по течению, то садилась на

мель; то замирала на скрещении двух противных течений, то переползала через пороги, врезаясь все глубже в полуночную страну. Большой и Малый Лосось выбрасывали по пути массу льда в реку, а со дна поднимались мелкие льдинки. День и ночь полоса берегового льда росла и росла, доходя до сотни ярдов в тихих местах. А старик Таруотер, закутавшись во все свои тряпки, сидел у печки и поддерживал огонь. Днем и ночью, боясь остановиться, чтобы не быть затертыми льдами, они плыли дальше, а вокруг все ближе надвигались льды.

— Эй, старый приятель! — время от времени окликал старика Ливерпул.

— Здесь, — научился отвечать старик Таруотер. — Чем я могу отплатить тебе, сынок? — говорил он иногда, мешая в печке уголья, в то время как Ливерпул стучал по борту лодки то одной, то другой рукой, так как руки замерзали на обледеневшем руле.

— Подавай нам свою песенку, — была неизменная просьба.

И Таруотер пел свою песенку. Запел он ее и тогда, когда лодка, пробираясь среди теснящихся льдин, причалила наконец к берегу в Доусоне и все бывшие на берегу насторожили уши, прислу-

шиваясь к ликующему гимну:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

А Чарльз все же донес, но сделал он это так осторожно, что никто из его спутников не догадался, даже Ливерпул. Чарльз увидел две больших открытых баржи, полных народа, и ему сказали, что это комитет спасения ловит тех, у кого нет продуктов, и отправляет их вниз по Юкону. Баржи пойдут на буксире с последним уцелевшим в Доусоне пароходиком, и вся надежда была на то, что им удастся достигнуть Форта Юкон, где задержались прочие пароходы, раньше чем станет река. Во всяком случае, какая бы судьба ни постигла этих людей, Доусон избавится от их присутствия и спасет часть продуктов. Чарльз отправился в комитет спасения и шепнул там кому следует о безденежье и отсутствии продуктов у старого Таруотера. Старик был забран одним из последних, и молодой Ливерпул, возвращаясь к своей лодке, успел только увидеть с берега, как баржи исчезают на повороте за Лосиной Горой.

Продвигаясь среди льдин и много раз рискуя

быть затертыми, баржи прокладывали свой путь к северу на сотни миль и стали наконец бок о бок с продовольственным флотом. Здесь, внутри Полярного круга, старик Таруотер устроился на зимовку. Он принялся колоть дрова для пароходов и за несколько часов работы зарабатывал себе на пропитание. Остальное время приходилось коротать без дела в бревенчатой хижине.

Тепло, покой, обильная пища излечили его от утомительного кашля и настолько восстановили его физические силы, насколько это возможно в его годы. Между тем еще до Рождества от недостатка овощей разразилась цинга, и искатели приключений один за другим укладывались на койку, униженно слагая оружие перед этим несчастьем. Но Таруотер не был в их числе. Не дожидаясь первых симптомов болезни, он пустил в ход лучшее свое лечение — моцион. На посту оказалось множество ржавых капканов, которые он отчистил и починил, а у одного из пароходных капитанов он взял на время винтовку.

Снарядившись таким образом, он принялся теперь зарабатывать не только на одно пропитание. Даже когда цинга добралась и до него, он не пал духом, а продолжал расставлять капканы и распевать свою песенку. И никакие убеждения

пессимистов не могли пошатнуть его уверенность, что он выкопает на триста тысяч золота из-под мхов у корней деревьев.

— Но здесь ведь земля без золота! — твердили ему.

— Золото там, где его находишь, сынок; мне ли этого не знать, когда я искал золото до вашего рождения. Это было в сорок девятом году, — был ответ. — Чем была Бонанза, как не пастбищем для лосей? Ни один золотоискатель и смотреть на нее не хотел; а там намывали золота потом на пятьсот долларов за один раз и взяли оттуда пятьдесят миллионов. То же было и на Эльдорадо. Почем знать, может быть, под этой самой хижиной или по ту сторону вон того холма притаились миллионы, которые только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливец вроде меня вытащил их на свет.

Однако в конце января с Таруотером стряслась беда. Какой-то крупный зверь, — как он полагал, рысь, — попался в один из небольших капканов и ухитрился убежать. Старик бросился за ним. Внезапно выпавший густой снег положил конец погоне, засыпав след. Старик сбился с пути. Короткий дневной свет перед наступлением двадцатичасовой темноты угасал; пытаясь разыс-

кать дорогу среди серых сумерек и беспрерывно сыпавшегося снега, старик окончательно заблудился. К счастью, на севере, когда выпадает снег, температура повышается — вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля она держится на пятнадцати. Старик был тепло одет, и с ним была полная коробка спичек. На пятый день он застрелил раненого лося в полтонны весом. Расположившись рядом с убитым лосем на сосновом пне, старик приготовился перезимовать здесь, если только до тех пор его не разыщут.

Прошло две недели, но никаких признаков, чтобы кто-либо его разыскивал, не было. Цинга же несомненно усилилась; устроив изгородь из сосновых сучьев, он проводил долгие часы, прикорнув у костра, — долгие часы сна и долгие часы бодрствования. Но часы бодрствования сокращались, превращаясь в зимнюю спячку. Медленно гасла искра сознания, и личность, именуемая Джоном Таруотером, погружалась все глубже и глубже в полусознательное бытие, в кошмары, наполненные чудовищами его собственных подавленных желаний.

Подобно тому как больной горячкой временами приходит в себя, так и старик Таруотер

просыпался, жарил лосиное мясо и подкидывал топлива в огонь; но все больше и больше времени он проводил в состоянии оцепенения, уже не отличая дневных грез от сонных видений.

И здесь, в тайниках ненаписанной истории человека, поднимались, точно видения кошмаров или призраки безумия, чудовища, созданные первобытной нравственностью и вечно с тех пор принуждавшие человека изощрять фантазию, чтобы избегать их или воевать с ними.

Короче говоря, старик Таруотер, под гнетом своих семидесяти лет и безмолвного одиночества Севера, подобно человеку под влиянием наркоза или одуряющего зелья, возвратился к ребяческому мировоззрению первобытного человека. Та изгородь, под которой Таруотер сидел, прикорнув у костра, была крыльями смерти, и здесь он, уподобляясь своему дальнему предку, человеку-ребенку, создавал мифы и обоготворял солнце, сам являясь одновременно и творцом героев, и самим героем, вышедшим на поиски трудно достигаемого сокровища. Одно из двух: или он добудет это сокровище, — говорила его мысль, борясь с туманом забытья, — или же он погрузится во всепоглощающее море, во мрак — истребитель света, проглатывающий каждый

вечер солнце… то солнце, которое постоянно возрождалось на следующее утро на востоке и сделалось для человека первым символом его собственного бессмертия путем возрождения. Все это в недрах его существа (туманной стране заходящего солнца) близилось к сумеркам смерти, в которые он медленно погружался.

Но как спастись от чудовища тьмы? Он чересчур уже глубоко погрузился в его владения, чтобы мечтать о спасении или чувствовать побуждение вырваться на волю. Действительность для него перестала существовать. Слишком тяжелым гнетом лежало на нем бремя лет; чересчур глубоко было оцепенение от холода и безмолвия. Только извне могла воздействовать на него действительность и разбудить в нем сознание. Он погружался все больше и глубже, сквозь туманы бессознательного, в последний мрак уничтожения.

И вот пришел, наконец, голос действительности из внешнего мира. Точно взрывом был потрясен слух старика громким фырканьем. В продолжение двадцати дней воздух был неподвижен: не было ни малейшего ветерка, и ни один звук не нарушал молчания. Подобно тому как курильщик опиума, лежа на своем ложе, приходя в сознание, силится сузить свой кругозор

до жалких пределов своей тесной каморки, так и старик Таруотер бессмысленно уставился поверх гаснущего костра на огромного лося, который, в свою очередь, в изумлении глядел на него. Лось волочил раненую ногу; крайне изнуренный, он тоже слепо бродил в царстве теней и пробудился к действительности, когда чуть не наступил на костер Таруотера. Старик с трудом стащил с правой руки рукавицу. Палец одеревенел и не мог спустить курка. Медленно, в продолжение долгих минут старик просовывал голую руку под одеяло, потом под меховую куртку, потом под рубашку в тепловатую левую подмышку. Прошло много минут, прежде чем палец получил возможность двигаться… Тогда с той же осторожной медлительностью старик поднял винтовку и выстрелил поверх костра в большого зверя.

Когда выстрел грянул, один из двух скитальцев туманного царства ринулся вниз в темноту, а другой выбрался вверх к свету, пошатываясь, как пьяный, на изъеденных цингою ногах, дрожа от холода, протирая затуманенные глаза дрожащими пальцами и глядя с удивлением на окружавший его внешний мир, вновь обретенный им с мучительной внезапностью. Он отряхнулся и понял, что в продолжение долгого

времени — как долго, он и сам не знал — его баюкали объятия смерти. Он плюнул и, услыхав, как звякнула замерзшая слюна, определил, что, должно быть, теперь больше шестидесяти градусов. И точно, в этот день спиртовой термометр Форта Юкон отметил семьдесят пять градусов ниже нуля, а так как точка замерзания в термометре Фаренгейта на тридцать два градуса выше нуля, то, следовательно, было сто семь градусов холода.

Медленно мозг Таруотера возвращался к жизни. Здесь, в широкой пустыне, обитает смерть. Сюда явились два раненых лося. Поскольку небо прояснилось при наступлении больших морозов, он сообразил, что оба лося прибрели к нему с востока. Стало быть, на востоке есть люди — белые или индейцы, неизвестно, — но так или иначе способные помочь ему. Он двигался медленно, но все же побеждал слабость и сон. Нагрузил на себя винтовку, одеяла и фунтов двадцать лосиного мяса. Затем, как возрожденный Язон, хотя и спотыкающийся, он двинулся туда, где восходит солнце, к возрождающему востоку…

Через много дней, — через сколько именно, ему не узнать никогда, — все еще созерцая видения и мурлыкая свою песенку сорок девятого года о зо-

лоте, подобно тому как утопающий напрягает все силы и сознание, чтобы удержаться над поглощающей бездной, он вышел наконец на снежный склон над ущельем и увидел внизу дым и людей, бросивших работу, чтобы посмотреть на него. Шатаясь, он спустился с холма, не переставая петь; и когда умолк от недостатка дыхания, люди приветствовали его на все лады: Санта Клаус, Усач, Последний из могикан и Дедушка Мороз. А он стоял перед ними очень тихо, без слов, и крупные слезы выступили у него на глазах. Он плакал долго, а потом, как бы спохватившись, сел на снег, но, не сохранив равновесия, покачнулся, упал на бок и лишился чувств.

Не прошло недели, как старик Таруотер оправился и хлопотал по хозяйству, стряпая для пятерых обитателей ущелья. То были подлинные старые пионеры, закаленные и стойкие; они так далеко зашли на север за Полярный круг, что ничего не знали о клондайкском лагере. Впервые они услыхали о нем от старика. Питались они лосиной, олениной и копченой лососиной, с приправой из диких кореньев, запасенных с лета. Они забыли вкус кофе, разводили огонь посредством зажигательного стекла, носили с собой горящие факелы при передвижении и

курили сухие листья, от которых щипало язык и жгло в ноздрях.

Три года назад они вели разведку с верховьев Коюкука к северу, к устью Маккензи на Северном Ледовитом океане. Здесь на китобойных судах они в последний раз видели белых людей и запаслись солью и табаком. Двигаясь затем на юго-запад по длинному пути к месту слияния Юкона и Поркюпайна у Форта Юкон, они напали на золото в речонке и остались здесь. Золотоискатели приветствовали Таруотера с восторгом, без скуки слушали его рассказы о сорок девятом годе и называли его Старым Героем. Мало того, с помощью настойки из хвои и ивового лыка с горькими и кислыми кореньями и клубнями они вылечили его от цинги. Он перестал хромать, его кости стали обрастать плотью. А главное, они не видели никакой причины, почему бы ему не извлечь золотого клада из земли.

— Как будет насчет трехсот тысяч, неизвестно, — сказали они ему однажды за завтраком перед уходом на работу, — ну а что скажешь о сотне тысяч, Старый Герой? Мы подсчитали, что каждый участок даст около этого, так как золотоносных жил в почве много, и твой участок уже отмечен кольями.

— Покорно благодарю, ребята, — отозвался старый Таруотер, — могу только сказать, что сто тысяч весьма приличная сумма для начинающего. А все же я не успокоюсь, пока не получу полностью своих трехсот тысяч. Я ведь за этим приехал.

Товарищи смеялись и одобряли его честолюбивые надежды, но полагали, что им придется разыскать для него более богатый прииск. А Старый Герой говорил, что с наступлением весны, когда он станет бодрее, придется ему самому приняться за дело и пойти на разведку.

— Почем знать, — заметил он, указывая на склон холма, — может быть, там, под снегом, корни мха сплошь в золотых самородках.

Больше он ничего не добавил; но по мере того как солнце поднималось выше, а дни становились длиннее и теплее, старик все чаще поглядывал через ручей на уступ, отчетливо выделявшийся на середине склона. И в один прекрасный день, когда оттепель была в полном разгаре, старик перебрался через ручей и поднялся на противоположный берег. На открытых местах земля кое-где уже оттаяла на дюйм. В одном таком месте старик остановился, захватил пучок мха корявыми руками и вытащил его с

корнем. Солнце вспыхнуло на тусклом отблеске золота. Он тряхнул мох, и грубые самородки посыпались на землю. То было золотое руно, ожидавшее, чтобы кто-нибудь нашел его.

В летописях Аляски еще не забыта летняя тяга 1898 года из Форта Юкон на прииски Таруотерского холма. А после того как Таруотер продал свою долю компании Боуди за полмиллиона долларов, он выехал отсюда на муле по новой дороге с приличными постоялыми дворами по сторонам прямо до парохода, высадившего его у Форта Юкон.

Первый раз, когда он сел за стол на океанском пароходе по отбытии из Сент-Майкла, ему подавал седой официант с измученным лицом и согнувшимся от цинги туловищем. Старику Таруотеру пришлось раза два оглядеть его, прежде чем он узнал Чарльза Крейтона.

— Плохо пришлось, сынок? — спросил Таруотер.

— Не повезло мне, и все тут, — начал сетовать Чарльз, после того как они оба узнали друг друга и обменялись приветствиями. — Ни к кому из всей компании не привязалась цинга, только ко мне. Я пережил сущий ад. Остальные трое здоровы и при деле, налаживают снаряжение для

изысканий вверх по Белой реке будущей зимой. Энсон зарабатывает двадцать пять долларов в день плотничной работой, Ливерпул — двадцать как дровосек при лесопильне, а Большой Билл — сорок, он старший пильщик. Я делал, что мог, и если бы не цинга…

— Верно, сынок, ты делал, что мог, а это, по правде сказать, немного; ты черств и раздражителен от чрезмерных деловых способностей. А теперь вот что я тебе скажу. Куда тебе, убогому, работать? Я уплачу капитану за твой проезд в память того, что вы когда-то меня провезли; отлеживайся и отдыхай. А что ты думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

— Вот что я скажу тебе, — продолжал Таруотер, — найдется для тебя дело у меня на ранчо; поправишься и вернешься к своим занятиям.

— Я мог бы управлять вашими делами… — с готовностью начал Чарльз.

— Нет, мой друг, — решительно отрезал Таруотер. — Но ты сможешь копать ямы или дрова пилить, а климат у нас славный.

Таруотер вернулся домой как настоящий блудный дедушка: родные его закололи и приготовили упитанного тельца. Однако прежде

чем сесть за стол, он пожелал прогуляться по окрестностям. Сыновья и дочери, невестки и зятья повалили за ним, униженно глядя на корявые старые руки, распоряжающиеся полумиллионным состоянием. Старик выступал впереди всех и не без лукавства высказывал мнение, одно другого нелепее и бессмысленнее, но ни одно из них не вызвало возражения со стороны его свиты. Остановившись у разоренной мельницы, построенной им когда-то, он оглядел с сияющим лицом всю простирающуюся перед ним Таруотерскую долину и дальние высоты, вплоть до вершины Таруотерской горы, — все это теперь снова становилось его собственностью.

Вдруг у него блеснула мысль, заставившая его отвернуться и высморкаться, чтобы скрыть сверкнувшую в глазах искорку. Все еще в сопровождении всего своего семейства он направился к обветшалому сараю. Здесь он поднял с земли старый валек.

— Уильям, — начал он. — Помнишь наш разговор перед тем, как я уехал в Клондайк? Неужели не помнишь? Ты мне сказал, что я сошел с ума, а я говорил, что мой отец выбил бы из меня дурь вальком, если бы я посмел так разговаривать с ним.

— Ну, это были шутки, — оправдывался Уильям.

Уильям был мужчиной сорока пяти лет, уже с сединой. Жена его и взрослые сыновья стояли тут же и с любопытством наблюдали, как дедушка Таруотер снял с себя куртку и подал ее Мэри подержать.

— Уильям, пойди сюда, — властно приказал он.

Волей-неволей пришлось Уильяму подойти.

— Хоть чуточку отведай, сыночек Уильям, того, что частенько мне приходилось получать от отца, — ворчал старик Таруотер, работая вальком по спине и плечам сына. — Заметь, я не бью по голове. А у отца плохой был нрав, — он не разбирал, голова это или спина… Да не дергай локтями. Чего доброго, еще подставишь невзначай. И скажи мне, сыночек Уильям, как тебе кажется, сошел я с ума или нет?

— Да нет же! — взвизгнул Уильям, корчась от боли. — Не сошел, отец, разумеется, нет! Нисколько!

— А раньше говорил, — поучительно произнес старик Таруотер, откинув валек и надевая куртку. — Ну, теперь идемте обедать.

Золотой самородок

Бывают истории, которым сразу веришь, настолько они естественны. И есть люди, с первого слова внушающие доверие. Таким человеком был Джулиан Джонс. И все же я сомневаюсь, поверит ли читатель этой истории, которую рассказал мне Джулиан Джонс. Но я верю ему. Я даже настолько убежден в правдивости его рассказа, что хочу, нет, жажду истратить все свои деньги и отплыть на пароходе в ту далекую страну.

Я встретился с Джонсом в австралийском павильоне на Панамской Тихоокеанской выставке. Я стоял перед изображениями самородков, найденных на золотоносных полях. Трудно было поверить, что эти бесформенные и массивные самородки не настоящее золото, и еще труднее верилось в истинность приложенных к ним статистических данных об их весе и ценности.

— Так вот что эти охотники на кенгуру называют самородком! — громко сказал кто-то возле моего плеча.

Я обернулся и посмотрел в мутно-голубые глаза Джулиана Джонса. Я посмотрел вверх, потому что стоявший возле меня человек был ростом

шести футов и четырех дюймов. Его волнистые волосы песочно-желтого цвета казались такими же мутными и бесцветными, как и его глаза. Может быть, его обесцветило солнце — по крайней мере, лицо его носило следы сильного давнего загара. Когда Джулиан Джонс отвел глаза от самородка и посмотрел на меня, я заметил в них странное выражение — как будто он тщетно силился вспомнить какое-то событие величайшей важности.

— Что же вас не удовлетворяет в этом самородке? — спросил я. Какое-то затаенное чувство мелькнуло в его глазах, когда он сказал:

— Величина!

— Он кажется очень большим, — сказал я. — Но, несомненно, он подлинный. Австралийское правительство вряд ли решилось бы…

— Большим!.. — прервал он меня, осклабясь и фыркнув.

— Самый большой из когда-либо найденных, — продолжал я.

— Самый большой! — Его тусклые глаза загорелись, как угли. — Вы полагаете, что каждый найденный кусок золота попадает в газеты и энциклопедии?

— Да, — ответил я рассудительно, — о тех,

которые не попали, мы не можем судить. Если какой-либо большой самородок или искатель самородков предпочитает скромно краснеть в тени…

— Не в этом дело, — быстро прервал он меня. — Я видел его своими собственными глазами. А покраснеть я не могу, — я слишком загорел, чтобы краска была заметна на моем лице… Я железнодорожник, мне часто приходилось бывать под тропиками. У меня и так цвет лица, как красное дерево… самое настоящее красное дерево, и меня не раз принимали за синеглазого испанца…

Наступила моя очередь перебить его.

— Тот самородок, который вы видели, был больше этих, мистер… мис…

— Джонс. Меня зовут Джулианом Джонсом.

Он порылся у себя в кармане и достал оттуда конверт, адресованный Джулиану Джонсу, до востребования, Сан-Франциско. Я, в свою очередь, дал ему визитную карточку.

— Очень приятно познакомиться, — сказал он, протягивая мне руку. Голос его гудел при этом так, что я решил: очевидно, ему приходилось кричать при сильном шуме.

— Конечно, я слышал про вас, видел ваш портрет в газетах, и хотя мне не нужно было бы

говорить это, все же я скажу — мне совсем не нравятся ваши статьи о Мексике. Вы не правы, совсем не правы. Вы делаете ошибку всех англичан, считая, что мексиканец — белый. Это не так: ни испанцы, ни итальянцы, ни вся остальная сволочь — не белые. Да, сэр, они совсем не так чувствуют, как мы с вами, не так мыслят, не так действуют. Даже таблица умножения у них другая. Вы думаете, что семью семь — сорок девять, а у них получается не то. Они пользуются ею по-своему. И белое для них не белое. Позвольте мне привести вам один пример. Допустим, вы покупаете кофе для хозяйства пакетами в один или десять фунтов…

— А как же велик был тот самородок, о котором вы говорили? — твердо спросил я. — Так же велик, как самый большой из этих?

— Больше, — сказал он спокойно. — Больше, чем все другие самородки вместе взятые. — Он остановился и посмотрел на меня упрямым взглядом. — Я не вижу причины, почему бы мне не рассказать вам все это дело. У вас репутация, на которую можно положиться, вы видали виды в заморских странах… Я все глаза просмотрел, ища человека, который принял бы мое предложение.

— Мне вы можете вполне довериться, — сказал

я. И вот я описываю здесь подробно всю историю, которую он тогда рассказал мне на скамье перед Дворцом Изящных Искусств, под крики чаек, носящихся над лагуной. А затем мы условились с ним встретиться в назначенном месте. Почему он не сдержал своего слова?.. Но я забегаю вперед.

Когда мы собирались покинуть павильон, чтобы поискать скамью, где можно было бы сесть, какая-то маленькая женщина, лет тридцати, с поблёклым лицом фермерши, подбежала к нему и схватила его за руку быстро и решительно.

— Ты уже уходишь! — воскликнула она. — Так скоро и даже не предупреждаешь меня.

Я был ей представлен: было ясно, что она никогда не слыхала обо мне. Она искоса взглянула на меня своими черными, острыми, близко поставленными глазками, беспокойными и маленькими, как у птички.

— Не собираешься ли ты рассказать ему об этой шлюхе? — спросила она.

— Полно, Сара, ведь это нужно для дела, ты же знаешь, — жалобно пробормотал Джонс. — Я давно ищу такого человека и теперь имею право рассказать ему все, как было.

Маленькая женщина не ответила, плотно сжав свои тонкие губы. Она стала пристально смот-

реть перед собой на Башню Драгоценных Камней с таким суровым выражением, точно никакой солнечный луч не мог ее развлечь. Мы медленно дошли до лагуны, сели на скамью и, освободив измученные ноги от тяжести наших тел, облегченно вздохнули.

— Смертельно устала, — сказала женщина почти вызывающе.

Два лебедя подплыли к нам по зеркальной воде и смотрели на нас. Когда они убедились в нашей скупости и в том, что у нас нет гороха, они поплыли дальше, а Джонс, повернувшись спиной к супруге, рассказал мне свою историю.

— Вы бывали в Эквадоре? Так послушайтесь меня — не ездите туда. Впрочем, беру свои слова назад, потому что, может быть, мы с вами отправимся туда вместе, если вы поверите мне и найдете в себе достаточно силы для подобного предприятия. Да, не очень много времени прошло с тех пор, как я прикатил туда из Австралии на грязном, старом, ржавом, дырявом угольщике, пробыв в плавании сорок три дня. Угольщик делал семь узлов в час при самой благоприятной погоде. Мне пришлось выдержать двухнедельный шторм к северу от Новой Зеландии и чинить машину в течение двух дней на острове Пиктерн.

Я не был моряком, я машинист. Но в Ньюкестле я подружился со шкипером судна и в качестве гостя шкипера доплыл до самого Гваякиля. Видите ли, я слышал о больших окладах, которые платят на американской железной дороге, идущей от Анди до Квито. Теперь Гваякиль…

— Заразная дыра, — вставил я.

Джулиан Джонс кивнул.

— Томас Нэст умер от лихорадки через месяц по приезде туда. Он был лучшим американским карикатуристом, — прибавил я.

— Я его не знал, — кратко сказал Джулиан Джонс. — Но я знаю, что он не первый и не последний из тех, кто погибает там. Теперь вы послушайте, что я нашел в Гваякиле. Лоцманская зона тянется на протяжении шестидесяти миль вниз по течению реки. «А как лихорадка?» — спросил я у лоцмана, который рано утром явился к нам на пароход. — «Видите эту гамбургскую лодку, — сказал он, указывая на довольно большое судно, стоящее на якоре. — Капитан и четырнадцать матросов уже умерли, а повар и двое матросов умирают. Они последние, больше там никого нет».

И, клянусь вам, он сказал правду. Действительно, тогда умирало по сорок человек в день в Гвая-

киле от Желтого Джека[14]. Но потом я узнал, что были болезни и пострашнее. Там свирепствовали бубонная чума и оспа, а дизентерия и воспаление легких быстро сокращали численность населения. Но больше всего свирепствовала железная дорога. Для тех, кому непременно нужно было ехать по ней, она была более опасна, чем все болезни вместе взятые.

Когда мы бросили якорь у Гваякиля, полдюжины шкиперов с других пароходов явились к нам на борт предупредить нашего шкипера, чтобы он не пускал никого на берег, кроме тех, кому надо было там остаться. Из Дюрана, крошечной железнодорожной станции, за мной прислали шлюпку. Дюран — конечный пункт железной дороги. Из шлюпки выскочил человек и в три прыжка поднялся по трапу. Как только он очутился на палубе, он, не сказав никому ни слова, перегнулся через борт и погрозил кулаком в направлении Дюрана.

«Будь ты проклята! Будь ты проклята!» — закричал он.

«Кого ты проклинаешь, дружище?» — спросил я.

«Железную дорогу, — ответил он, расстегнув

---

[14] notes: 14
Желтая лихорадка.

ремень и вынув большой револьвер, висевший у него на поясе. — Я ждал три месяца, как было условлено, и не получил ни одного гроша. Я был кондуктором».

И это была железная дорога, на которой я должен был работать. Но все это было пустяками по сравнению с тем, что он рассказал мне в следующую минуту. Дорога от Дюрана поднималась вверх на двенадцать тысяч футов на Чимборазо и оттуда шла вниз на десять тысяч футов в Квито, который находится на другой стороне горы. Дорога здесь так опасна, что поезда не ходят ночью. Дальние пассажиры выходили вечером из вагонов и ночевали в городе.

Каждый поезд сопровождала охрана из эквадорских солдат, которые были опаснее всяких бандитов. Их назначение заключалось в том, чтобы охранять состав, но всякий раз, как начиналась какая-нибудь тревога, они, схватив ружья, присоединялись к толпе. Понимаете, как только с поездом случалось какое-нибудь несчастье, первый крик испанцев был: «Бей англичан!». Они всегда поступали так и прежде всего убивали команду поезда, а затем и пассажиров-англичан, если тем не удавалось спастись бегством. Вот какие были там порядки. Черт бы их побрал!

В тот же день я убедился, что экс-кондуктор не лгал. Это случилось в Дюране. Мне нужно было ехать в Квито, и я должен был отправиться туда на следующее утро с единственным прямым поездом, отходящим раз в сутки. В день моего приезда около четырех часов произошел взрыв котлов на пароходе «Командир Ганкок» и он затонул на шестидесяти футах глубины возле доков. Это было большое судно, которое перевозило железнодорожных пассажиров через реку Гваякиль. Это несчастье повлекло за собой ряд несчастий гораздо худших. К половине пятого начали прибывать перегруженные пассажирами поезда. День был праздничный, была устроена экскурсия из Гваякиля в горы, и публика теперь возвращалась.

Толпа тысяч в пять требовала, чтобы ее переправили на ту сторону реки, а пароход был на дне, в чем мы нисколько не были виноваты. Но, по логике испанцев, выходило, что виноваты мы. «Бей англичан!» — крикнул один из них. И заварилась каша. Большинство из нас еле-еле унесли ноги. Я бежал за главным механиком, неся на руках одного из его детей, к локомотиву, который был под парами. Понимаете, когда подобная история случается в таких захолустьях, первым

делом стараются спасти паровозы, потому что без них какая же железная дорога! Полдюжины американок и столько же детей взобрались на платформу вместе с нами, и мы тронулись. А эквадорские солдаты, обязанные охранять нашу жизнь и наше имущество, принялись по нас же стрелять и выпустили до тысячи зарядов, прежде чем мы очутились за линией обстрела.

Мы переночевали в лесу и вернулись на следующий день, чтобы все привести в порядок. Ну и было же у нас работы! Толпа все разгромила. Дрезины и вагоны были сброшены в воду, на затонувший пароход «Командир Ганкок», паровозное депо, ремонтные мастерские и угольные склады сожжены. Троих из наших товарищей убили.

Джулиан Джонс остановился и посмотрел через плечо на злое лицо жены.

— Я не забыл о самородке, — сказал он.

— Ты не забыл о шлюхе, — колко вставила маленькая женщина, видимо, обращаясь к болотным курочкам, плавающим на поверхности лагуны.

— Я начинаю теперь о самородке…

— Тебе не было никакой нужды оставаться в этой опасной стране, — сказала жена.

— Но, Сара, — воскликнул он. — Я все время

работал для тебя.

И он пояснил мне:

— Риск был велик, но и жалованье было велико. Иногда я зарабатывал в месяц до пятисот золотых долларов. А Сара ждала меня в Небраске…

— И нам, обрученным уже два года… — жаловалась она Башне Драгоценных Камней.

— Что ж поделаешь, когда была забастовка, и я попал в черный список, потом заболел тифом, — продолжал он. — Но счастье сопутствовало мне на этой железной дороге… Да, я видел людей, приезжавших сюда и погибавших, прослужив всего неделю, или от болезней, или от крушений, или от испанцев. Но у меня была другая судьба: я съехал с паровозом с размытой насыпи в сорок футов высоты. Я потерял своего кочегара, а кондуктору и инспектору (который ехал в Дюран, чтобы встретить там свою невесту) испанцы отрезали головы и носили их на палках. Но я лежал зарывшись, как жук, в кучу каменного угля; испанцы думали, что я убежал в лес. Лежал я день и ночь, пока все не прекратилось. Да, мне посчастливилось.

— Самое худшее, что со мной тогда случилось, это, во-первых, насморк, а во-вторых — карбункул. Но другие… Они умирали, как мухи, то от

желтой лихорадки, то от воспаления легких, то от бандитов, то от железной дороги. Досадно, бывало, — не успеешь с ними подружиться, как их уже нет. Я хорошо устроился со своей работой и жил в Квито в глинобитном доме с выложенной большими испанскими черепицами крышей. Я снял его в аренду. И мне никогда не приходилось много страдать от испанцев, потому что я катал их даром на тендере. Сбрасывать их? Никогда! Это раз сделал Джек Гаррис, и я сейчас же попал к нему на похороны, muy pronto.

— Говори по-английски, — сказала маленькая женщина.

— Сара не переносит, когда я говорю по-испански! — извинился он. — Это действует ей на нервы, и я обещал не делать этого. Да, все шло как по маслу, и я откладывал деньги, чтобы ехать на север в Небраску и жениться на Саре, но вдруг встретил Вану.

— Шлюха, — прошипела жена.

— Полно, Сара, — умоляюще прошептал ее гигант-муж, — я только хотел сказать о ней два слова, иначе я не могу перейти к самородку.

Как-то раз ночью пришлось мне ехать на паровозе без вагонов вниз в Амато, который находился в тридцати милях от Квито. Кочегаром был у

меня Сэт Менерс. Я готовил его в машинисты и поэтому позволил ему управлять паровозом, а сам сидел на его месте и предавался мечтам о Саре. Я только что получил от нее письмо, в котором она, как обычно, просила меня приехать и, как обычно, намекала на опасности, которые грозят холостому человеку в стране, где всюду синьориты и фанданго. Боже! Если бы только она могла увидеть их! Эти синьориты — прямо ужас! Лица намазанные, белые, как у трупа, красные рты — как у тех несчастных, которых я вытаскивал из-под обломков вагонов при крушении.

Была дивная апрельская ночь, тихая и теплая. Огромная луна сияла над Чимборазо. Ну и гора же — Чимборазо! Железная дорога поднимается по ней на двенадцать тысяч футов над уровнем моря, а вершина ее возвышается над дорогой еще на десять тысяч футов.

Может быть, я и задремал… Управлял паровозом Сэт и так внезапно затормозил, что я чуть не вылетел из окна. «Какого черта!» — чуть не закричал я. — «Какой ужас!» — сказал Сэт, когда мы оба посмотрели на рельсы. Я согласился с ним. Там была девушка индианка… поверьте мне, индейцы совсем не испанцы, они не имеют с ними ничего общего. Сэту удалось затормозить

паровоз в двадцати футах от нее, когда мы стремглав неслись под уклон. Но индианка… она…

Я видел, как вздрогнула и выпрямилась миссис Джонс, но продолжала смотреть на птиц, нырявших в лагуне.

— Шлюха, — прошипела она.

Джонс остановился при этом слове, но тотчас продолжил.

— Девушка была, понимаете, высокая, тонкая, стройная, с длинными черными распущенными волосами; она стояла спокойно, по-видимому, ничего не боясь, и руки ее были подняты, точно она хотела остановить паровоз. Она была закутана в меха мексиканской кошки, мягкой, пестрой, шелковистой. Вот и все, что было на…

— Шлюха этакая! — прошипела миссис Джонс.

Но мистер Джонс продолжал рассказывать, точно не слышал ее замечания.

— «Чертовский способ останавливать паровоз», — проворчал я Сэту, слезая на правую сторону пути. Я обошел паровоз и подошел к девушке. Как вы думаете, что я увидел? Ее глаза были плотно закрыты. Она дрожала так сильно, что это было заметно даже при лунном свете. Ноги ее были босы…

— «Что с тобой?» — спросил я ее не очень-то

ласково.

Она вздрогнула, как бы выходя из состояния транса, и открыла глаза… Да! открыла глаза, большие, черные, красивые! Поверьте мне, она была красивее…

— Шлюха! — прошипела миссис Джонс с такой силой, что испуганные лебеди быстро отплыли от берега на несколько футов.

Но Джонс взял себя в руки и даже глазом не моргнул.

— «Зачем ты остановила поезд?» — спросил я ее по-испански. Ни звука. Она посмотрела на меня, затем на пыхтящий паровоз и вдруг расплакалась. Вы понимаете, для индианки это совсем странно.

— «Если ты думаешь, что таким образом тебе удастся прокатиться, — сказал я ей по-испански (язык, на котором говорят там, несколько отличается от настоящего испанского языка), — то должен тебя предупредить, чтобы ты в другой раз не делала этого: сетка впереди паровоза могла бы перерезать тебя, и пришлось бы Сэту счищать тебя с сетки».

Мой мексиканско-испанский язык не особенно вразумителен, однако я видел, что индианка поняла меня, хотя только покачала головой и

ничего не ответила. Клянусь пророком Моисеем, она была очень хороша!

Я испуганно взглянул на миссис Джонс, которая, вероятно, поймала мой взгляд, так как пробормотала:

— Если бы она не была хороша, разве он взял бы ее к себе в дом, как вы думаете?

— Ну, перестань же, Сара, — запротестовал муж. — Это нечестно! Ведь я рассказываю, а не ты... Затем Сэт сказал: «Что же нам стоять здесь всю ночь, что ли?»

«Едем! — сказал я девушке. — Лезь на паровоз! Но в следующий раз, когда захочешь покататься, не останавливай паровоз среди дороги».

Она пошла за мной, но когда я поднялся на ступеньки и повернулся, чтобы дать ей руку, ее уже не было. Я пошел ее искать. Нигде нет ее. Вверху и внизу отвесные скалы, и на рельсах не было никого. И вдруг я увидел ее перед паровозом, под сеткой; она лежала там скорчившись. Если бы мы пустили паровоз, то мгновенно раздавили бы ее. Все это было нелепо — я не мог понять ее поступка. Может быть, она хотела покончить самоубийством. Я схватил ее за руку и, дернув не очень-то вежливо, поднял на ноги. Она встала и пошла. Женщины знают, когда мужчина говорит

всерьез.

Взглянув на этого Голиафа, я перевел глаза на его маленькую жену с птичьими глазками и спросил себя, пробовал ли он когда-нибудь говорить с ней всерьез.

— Сэт сперва противился, но я втащил ее на паровоз и заставил сесть возле меня.

— А Сэт, должно быть, был занят в это время паровозом, — заметила миссис Джонс.

— Да ведь я же готовил его в машинисты! — воскликнул мистер Джонс. — Так мы приехали в Амато. Она ни разу не открыла рта и, как только поезд остановился, спрыгнула на землю и исчезла. И только всего. Даже не поблагодарила.

Но на другое утро, когда мы готовились отправиться в Квито с дюжиной товарных платформ, нагруженных рельсами, она уже сидела в паровозной будке, ожидая нас. Тут я увидел, что днем она была еще красивее, чем ночью.

«Смотрите! Она не хочет оставлять вас», — смеялся Сэт. И действительно, у нее был такой вид. Девушка стояла и смотрела на меня… на нас… как собака, которую приласкали, которую приманили колбасой и которая знает, что вы не поднимете на нее руки. «Пошла отсюда прочь!» — сказал я ей pronto. (Миссис Джонс передернулась при испан-

ском слове). Видишь, Сара, она мне совершенно не была нужна даже в самом начале.

Миссис Джонс сдержалась. Ее губы шевелились беззвучно, но я знал, какое слово она шептала.

— Хуже всего то, что Сэт стал издеваться надо мной. «Ты так легко от нее не отделаешься, — сказал он. — Ты спас ей жизнь». — «Я не спасал, — резко ответил я. — Это ты спас ее». — «Но она считает, что ты, а это все равно, — возразил он. — И теперь она принадлежит тебе. Таков обычай старины, как тебе известно».

— Языческий, — сказала миссис Джонс; и хотя она не спускала глаз с Башни Драгоценных Камней, я знал, что это замечание относилось не к архитектуре башни.

«Она будет вести ваше хозяйство», — потешался Сэт. Я молчал, ничего не отвечал на его насмешки, но заставил его подбрасывать уголь, и ему некогда было болтать языком. Когда мы доехали до того места, где накануне подобрали девушку, я остановил поезд, чтобы ссадить ее. Но она упала на колени передо мной, обняла мои ноги и облила слезами мои сапоги. Что мне было делать!

Едва уловимым движением, которое я все же заметил, миссис Джонс показала, как поступила бы она.

— Как только мы приехали в Квито, она соскочила с паровоза и исчезла. Сара не верит мне, когда я говорю, как легко стало у меня на душе, когда она ушла. Я думал, что отвязался от нее. Но не так-то было на самом деле. Вернулся я к себе; меня ждал великолепный обед, который приготовила для меня моя кухарка. Она была на три четверти испанка и на одну треть индианка, а звали ее Палома.

Ну, Сара, ведь я же говорил тебе, что она была старше бабушки и больше походила на коршуна, чем на голубя. Я не мог есть, когда смотрел на нее; но по хозяйству она была молодец и покупала все очень дешево.

Войдя в кухню после сиесты[15], кого я увидел там… как вы думаете, кого? Мою проклятую индианку, и сидела она там, как у себя дома. Старая Палома присела у ног девушки на корточки и растирала ее ноги и колени, точно та была больна ревматизмом (которого у девушки не было, судя по ее походке), и нараспев причитала какое-то заклинание… Я пришел в бешенство. Сара знает, что я не выношу женщин у себя в доме, — молодых, незамужних, конечно. Но я ничего не

---

[15] notes: 15
Послеобеденный отдых.

мог сделать. Старая Палома стала на сторону индианки и сказала, что если я не оставлю у себя девушки, то и она, Палома, тоже уйдет. И она называла меня дураком в самых разнообразных выражениях, каких не найдешь в английском языке. Тебе бы, Сара, понравился испанский язык в таких случаях, да и старая Палома понравилась бы. Она была добрая женщина, хотя у нее не было ни одного зуба и ее лицо могло бы отбить самый сильный аппетит у самого здорового мужчины.

Я уступил, делать было нечего. Палома так и не открыла мне, почему она заступилась за девушку; она сказала только, что нуждается в ее помощи по дому. Но это была явная выдумка. Во всяком случае Вана была тихая девушка и никогда никому не мешала. Она сидела на пороге, тихо болтая с Паломой, и помогала ей в кое-каких легких работах. Но я вскоре заметил, что она чего-то боится. Когда входил ко мне кто-нибудь из приятелей распить бутылку вина и сыграть партию в «педро», она так испуганно вздрагивала, что больно было смотреть на нее.

Я старался разузнать у Паломы, чего боялась Вана, но старуха ничего не говорила, лишь качала головой; при этом у нее появлялось такое торжественное выражение на лице, точно она

ждала посещения всех дьяволов из ада.

Однажды к индианке явился гость. Я только что возвратился из поездки и сидел с ней в комнате, — должен же я был обращаться с нею учтиво, хотя она и навязалась мне против моей воли и жила у меня в доме на моем иждивении, — как вдруг я заметил какое-то странное выражение в ее глазах. На пороге стоял индейский мальчик. Он был похож на нее, но моложе и тоньше. Она повела его в кухню, где у них, должно быть, произошел крупный разговор; мальчик ушел, когда уже совсем стемнело. Через неделю он заходил опять, но я не увидел его. Когда я пришел домой, Палома подала мне большой золотой самородок, который весил два фунта и стоил более пятисот долларов. Она объяснила мне, что Вана посылала за этим золотом и просила меня взять самородок за расходы по ее содержанию… И мне пришлось взять самородок, чтобы восстановить в доме мир и тишину.

Затем через некоторое время пришел другой гость… Мы сидели у огня.

— Он и шлюха, — вставила миссис Джонс.

— И Палома, — быстро добавил он.

— Он, его кухарка и его экономка сидели у огня, — поправилась она.

— Ну, я не отрицаю, что Вана действительно сильно любила меня, — сказал он, — сильнее, чем следовало, потому что я не был к ней расположен.

Да, повторяю, явился к ней другой гость. Это был худой, седовласый старец — индеец, с носом, похожим на орлиный клюв. Он вошел не постучав. Вана вскрикнула — ее крик был похож и на стон и на прерывистое дыхание — и упала передо мной на колени, умоляя меня и его жалобными глазами лани, которую хотят убить и которая просит, чтобы ее пощадили. Затем с минуту, которая показалась мне вечностью, она и старик смотрели друг на друга. Первая заговорила Палома на языке старика. Но как дрожали перед ним обе женщины! Старые колени Паломы тряслись, и она пресмыкалась перед ним. И все это делалось в моем доме! Я вышвырнул бы его вон, если бы он не был так стар.

А может быть, слова, которые он говорил индианке, были так же страшны, как его взгляд. Он просто шипел от злобы. Но Палома все время вмешивалась в разговор и наконец сказала ему что-то такое, от чего лицо его смягчилось. Он даже снизошел до того, что один раз окинул меня взглядом и задал Ване какой-то язвительный

вопрос. Та опустила голову, покраснела, а затем ответила одним словом, отрицательно тряхнув при этом головой. Он повернулся и вышел. Я понял, что она сказала «нет».

В течение некоторого времени после этого Вана всякий раз краснела при встрече со мной. Она старалась сидеть в кухне, избегая меня. Но спустя некоторое время начала снова заглядывать в большую комнату. Она все еще дичилась, но ее большие глаза неотступно следили за всеми моими движениями.

— Шлюха! — услышал я. Но Джулиан Джонс и я успели уже привыкнуть к этому слову.

— Не скрою от вас, что я стал интересоваться ею. О, не так, как думает Сара! Двуфунтовый самородок — вот что задело меня за живое. Если бы Вана навела меня на след, сообщила, откуда он, я мог бы сказать «прости» железной дороге и вернуться в Небраску к Саре.

Но потом все случилось так… само собой. Я получил письмо из Висконсина. Моя тетка Элиза скоропостижно умерла, оставив мне большую ферму. Я вскрикнул от радости, когда читал это письмо, но я мог бы не спешить радоваться, ибо у меня потом все отобрали и высосали все мои деньги суды и адвокаты — ни одного цента я не

получил и до сих пор расплачиваюсь с адвокатами.

Но тогда я не знал этого и собрался ехать в ту обетованную страну. Палома слегла в постель, а Вана стала плакать. «Не уезжайте, не уезжайте», — умоляла она. Но у меня засела мысль о ферме — и я написал письмо сюда Саре. Правда, Сара?

В тот же вечер, сидя у огня, печальная, как на похоронах, Вана в первый раз разоткровенничалась.

«Не уезжай, — говорила она мне, а старая Палома кивала в знак согласия. — Я покажу тебе то место, где мой брат достал самородок». — «Слишком поздно», — ответил я. И сказал ей, почему.

— Ты сказал ей, что я зову тебя в Небраску? — заметила миссис Джонс холодным, бесстрастным тоном.

— Полно, Сара! Зачем бы я стал ранить сердце индейской девушки! Конечно, я не сказал ей этого.

Да, она и Палома поговорили по-индейски, и затем Вана сказала мне: «Если ты останешься, я покажу тебе самый большой самородок, — отца всех самородков». — «А как он велик, — спросил я, — будет с меня?» — Она засмеялась. «Больше

тебя, — говорит она, — много, много больше». — «Ну, таких не бывает», — сказал я, но Вана стала уверять, что сама видела его, и Палома подтвердила ее слова. Послушать их, так выходило, что в одном этом самородке были заключены миллионы. Палома никогда не видела его сама, но слышала о нем. Это была тайна племени, недоступная ей, потому что сама она была наполовину индианка.

Джулиан Джонс остановился и вздохнул.

— И они уговаривали меня до тех пор, пока я не соблазнился…

— Шлюхой, — тотчас же прощебетала миссис Джонс.

— Нет, самородком. Правда, благодаря ферме тетки Элизы я был достаточно богат, чтобы перестать трепаться по железной дороге, но все же недостаточно богат, чтобы отказаться от больших денег… Я поверил этим двум женщинам. «Да, я могу стать вторым Вандербильтом или Морганом», — думал я. И я начал выпытывать тайну у Ваны, но она не хотела указать место. «Пойдем со мной, — говорила она. — Мы вернемся сюда через две недели и принесем столько золота, сколько сможем взять с собой». — «Мы возьмем с собой осла или нескольких ослов», — предлагал я. Но она

была против этого, да и Палома поддерживала ее. Это было опасно, индейцы могли захватить нас.

Мы пустились в путь вдвоем в лунную ночь. Шли только по ночам, а днем прятались в лесах. Вана не позволяла зажигать костер, и я ужасно тосковал по кофе. Мы взобрались на высокий хребет Андов, покрытый снегом, и снег очень затруднял ходьбу. Хотя девушка хорошо знала дорогу, нам пришлось потратить на переход целую неделю. Я знаю общее направление нашего пути, потому что у меня был карманный компас; я нашел бы и теперь дорогу туда. Мы все время шли к одной вершине, которую нельзя не узнать. Ошибиться невозможно. Другой такой вершины нет во всем мире. Если мы с вами поедем в Квито, я оттуда прямо проведу вас к ней.

Но подняться на нее было нелегко, и нет такого человека, который влез бы на нее ночью. И мы должны были взбираться днем, но не дошли до вершины, как солнце село. Я мог бы несколько часов подряд рассказывать вам об этом последнем подъеме, но не стоит. Самая вершина была плоская, как бильярдный стол, величиной в полакра, и на ней почти не было снега. Вана сказала мне, что сильные ветры сдувают снег.

Мы выбились из сил, у меня началось голово-

кружение — горная болезнь, и я вынужден был прилечь. Когда взошла луна, я обошел вершину. Нигде я не заметил и признаков золота. Когда я спросил Вану, где же золото, она засмеялась, захлопала в ладоши. А у меня опять сделался приступ горной болезни, и я сел, чтобы прийти в себя.

«Ну, пойдем, — сказал я, когда почувствовал себя лучше, — перестань дурачиться и скажи, где этот самородок». — «Он ближе к тебе, чем я сейчас, — ответила она, причем ее большие глаза стали задумчивы. — Все англичане одинаковы. Золото — твоя любовь, а не женщина».

Я ничего не ответил. Не рассказывать же про Сару. Но Вана, казалось, сбросила с себя уныние и начала смеяться и дразнить меня. «Ну, как он тебе нравится?» — спросила она. — «Кто нравится?» — «Самородок, на котором ты сидишь».

Я подпрыгнул, точно это была докрасна раскаленная плита. Вонзился взглядом: простая скала. Я почувствовал, что сердце мое упало. Или она помешалась, или устроила все это ради шутки. Она дала мне топорик и велела ударить по скале. Я начал стучать топором, и вдруг полетели желтые осколки от каждого удара. Клянусь Моисеем, это было золото!

Джонс внезапно поднялся во весь рост и протянул длинные руки к югу. Это движение вселило ужас в сердце лебедя, который подошел к нам с дружелюбными намерениями. В своем быстром отступлении он столкнулся с толстой старой дамой, которая, вскрикнув, уронила свой мешок с горохом. Джонс сел и продолжал:

— Золото, говорю вам, такое чистое и мягкое, что я мог отсекать от скалы его куски. Оно было покрыто чем-то вроде краски или лака, сделанного из асфальта или чего-то в этом роде. Не было ничего удивительного в том, что я принял его за простую скалу. Самородок равнялся десяти футам в ширину и суживался к концам, как яйцо. Вот, взгляните.

Он достал из кармана кожаный футляр и вынул из него какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. Развернув, он подал мне кусок мягкого золота величиной с монету в десять долларов. Я мог разглядеть сероватое вещество, которым он был покрыт с одной стороны.

— Я отколол это от одного конца скалы, — продолжал Джонс, завертывая кусок золота в бумагу и пряча его в кожаный футляр.

Я только что положил его в карман, как сзади меня послышался громкий голос, более похожий

на треск, чем на голос. Я обернулся и увидел того худого старика с орлиным клювом, который как-то раз приходил к Ване. С ним было около тридцати индейцев — все молодые и сильные.

Вана упала на колени и начала стонать, но я сказал ей: «Встань и помирись с ними ради меня». — «Нет! нет! — закричала она. — Это смерть. Прощай, amigo»…

Здесь миссис Джонс вздрогнула, а ее муж резко сократил свой рассказ.

— Ну, коли так, будем драться с ними, — сказал я ей.

Вана послушно встала. Она дралась, как фурия, кусая, царапая, работая и зубами, и когтями, как настоящая кошка. Я же не терял времени и работал вовсю топориком и своими длинными руками. Но индейцев было слишком много, а я не мог даже прислониться к какой-нибудь стене спиной. Когда я очнулся после удара по голове… вот пощупайте-ка это!

Сдвинув шляпу, Джулиан Джонс провел моей рукой по своим желтоватым волосам, по тому месту, где чувствовалась впадина дюймов трех в длину, уходившая в самую кость черепа.

— Когда я очнулся, то увидел Вану, распростертую на скале, и старика с орлиным клювом,

который бормотал что-то, точно совершал религиозный обряд. В руке он держал каменный нож, тонкий, острый, из какого-то похожего на агат камня, — индейцы делают из него наконечники для своих стрел. Я не мог шевельнуться — меня держали индейцы, да и слаб я был… И… словом, они убили ее этим каменным ножом, а меня не удостоили этой чести, не хотели убивать «белого» на священной вершине. Они сбросили меня ногой, как падаль.

А все же я не достался хищным птицам! Как сейчас вижу перед собой освещенные луной снежные горные цепи, когда я летел вниз. Да, сэр, лететь мне пришлось бы футов пятьдесят, но я задержался на пути, попав в снежный сугроб в расщелине горы. Когда я очнулся (спустя много часов, так как был уже день), то увидел, что нахожусь в настоящей снеговой пещере, или тоннеле, промытом водою тающих снегов. В том месте, где я упал, выдвигалась скала. Немного в ту или другую сторону — и я бы погиб. Я спасся каким-то чудом.

Но я дорого заплатил за спасение. Прошло больше двух лет, пока ко мне вернулась память. Я помнил только, что я Джулиан Джонс, что я был занесен в черный список во время большой заба-

стовки и что я должен жениться на Саре. Больше я не помнил ничего, и когда Сара пыталась расспрашивать, у меня начинала болеть голова. В голове у меня было неладно — я сознавал это сам. Но однажды, когда я сидел на крыльце домика отца Сары в Небраске, в лунный вечер, Сара вышла ко мне и подала этот кусок золота. Кажется, она только что нашла его в порванной подкладке чемодана, который я привез с собой из Эквадора… А я уже два года не помнил, что был когда-то в Эквадоре. Я смотрел на этот кусок при лунном свете, вертел его в руках и старался вспомнить, откуда он мог попасть ко мне. И вдруг точно кто стукнул меня по голове — и память вернулась ко мне… Вана, распростертая на большой золотой скале, старик с орлиным клювом, размахивающий каменным ножом, и все… все, что случилось с того времени, как я оставил Небраску, и до того момента, когда я полз по снегу, выбираясь из трещины в горе. А что было потом, не помнил совершенно. Когда Сара сказала, что я ее муж, я не хотел ее слушать. Пришлось призвать всю семью и священника, который венчал нас, чтобы убедить меня в этом.

Позднее я написал Сэту Менерсу — его тогда еще не убила железная дорога, — он заполнил

много пробелов в моей памяти. Я покажу вам его письма. Однажды, писал он, совершая свою очередную поездку, он увидел меня ползущим у линии железной дороги. Я не мог стоять, а только полз. Сначала он принял меня за теленка или большую собаку. Во мне не было ничего человеческого, писал он, я не узнал его и ничего не понимал. Насколько я могу сообразить, Сэт подобрал меня дней через десять после истории на горной вершине. Чем я питался в эти дни, я не знаю. Может быть, я не ел совсем.

В Квито я попал к докторам и Палома ухаживала за мной (это она, вероятно, положила золото в мой чемодан), пока все не убедились, что я лишился рассудка; тогда меня отправили в Небраску. Во всяком случае так Сэт пишет мне об этом. Я же ничего не знаю о себе самом. Но Сара знает. Она переписывалась с железнодорожными властями, прежде чем меня отправили на пароходе.

Миссис Джонс кивнула утвердительно. Затем она вздохнула и проявила явные признаки того, что хочет идти.

— Я не могу работать с тех пор, — продолжал ее муж. — И не могу придумать, как мне добраться до того самого самородка. У Сары есть деньги, но

она не дает мне из них ни одного пенни.

— Он никогда не поедет в ту сторону… — сказала она.

— Но, Сара, ведь Вана умерла… ты знаешь это, — воскликнул Джулиан Джонс.

— Я об этом ничего не знаю, — ответила она решительно, — знаю только, что там не место женатому человеку.

Она плотно сжала губы и пристально посмотрела невидящим взором туда, где вечернее солнце начинало пылать перед закатом. Я с минуту смотрел на ее личико — беленькое, пухленькое и упрямое — и признал ее безнадежной.

— Но как же вы объясните, что там оказалась такая масса золота? — спросил я Джулиана Джонса. — Золотой метеор, что ли, упал с неба?

— Нисколько, — покачал он головой. — Туда принесли его индейцы.

— На такую высоту? И такой огромный самородок? — возразил я.

— Совсем не огромный, — улыбнулся он. — Я сам не раз ломал голову над этим вопросом, после того как ко мне вернулась память. Когда я, наконец, догадался, я почувствовал себя безнадежным идиотом, так все это было просто.

Он подумал немного и сказал:

— Им не пришлось тащить туда самородок.

— Но ведь вы только что сказали, что его туда втащили.

— И да и нет, — ответил он загадочно. — Конечно, никогда не поднимали они на вершину этот чудовищный самородок, но они носили туда золото постепенно, по частям.

Он подождал, пока не увидел по моему лицу, что я понял.

— А потом, конечно, сплавили золото в одно целое. Вы знаете, что первые испанцы, основавшиеся в Эквадоре, были под предводительством вождя своего Пизарро шайкой разбойников и головорезов. Они прошли по чужой стране, как чума, убивали индейцев, как скотину. Вы знаете, что у индейцев было золото. Так вот то, что испанцы не отняли у них, они и спрятали в виде того огромного слитка на вершине горы, и золото ждет там меня... и вас, если только вы захотите поехать туда со мной.

Но здесь, у лагуны Дворца Изящных Искусств, так и оборвалось мое знакомство с Джулианом Джонсом. На мое согласие финансировать предприятие он обещал прийти ко мне в отель на другой день, захватив с собой письма Сэта Менерса и письма администрации той железной дороги.

Мы должны были выработать план действий. Но он не пришел. В тот же вечер я позвонил по телефону в его отель и узнал, что Джулиан Джонс и его жена уехали днем, взяв с собой свой багаж.

Может быть, миссис Джонс увезла его насильно и спрятала в Небраске? Я помню, когда мы прощались, на ее лице промелькнула улыбка, напомнившая мне хищную, лукавую улыбку Моны Лизы.

Комментарии

Сборник рассказов, посвященных Смоку Беллью, печатался в журнале «Космополитен Мэгэзин» в 1911–1912 годах и в конце 1912 вышел отдельным изданием в Нью-Йорке.

Эти годы принято считать годами духовного кризиса писателя и ослабления литературного потенциала его творчества.

Дело в том, что имидж Джека Лондона в сознании рядовых потребителей искусства неизменно связывался с Клондайком, и этого требовали у него издатели, не желавшие рисковать. Вот и приходилось в который раз возвращаться к дорогим ему Доусону, берегам Дайи или Юкона, собачьим упряжкам и северным индейцам. Но литературное творчество, как и всякий другой вид искусства, нуждается в постоянной подпитке свежими конкретно-чувственными впечатлениями. Отсюда необходимость прибегать к обкатанным ситуациям и представленным уже конфликтам, и даже — к пейзажным зарисовкам, характерным для прежних произведений.

Существенной поддержкой в этой его теме

служили писателю путевые дневники, которые он вел в своей деревянной избушке в устье реки Стюарт, в 70 милях от Доусона. Из дневников мы хорошо знаем, как четверо товарищей — Д. Лондон, Ф. Томпсон, Д. Гудман и М. Слоупер преодолевали чертовы пороги в водовороте Бокс-Каньона и на «Гриве» Белой лошади, как чудом они спаслись, а потом, взбодрившись, начали помогать и другим, рискуя собственной жизнью. Немало незадачливых авантюристов-золотоискателей сложили свои жизни и в каньонах Юкона и на озере Линдерман, сколько лодок их ушло на дно или застряло навеки в ледяных торосах… Отчаянным и молодым парням (двое из них — Гудман и Томпсон были воистину «сухопутными моряками»), никогда не державшим в руках руль, удалось-таки на своих прочных и кое-как сколоченных лодках из сырой древесины добраться до своей «земли обетованной», пусть даже изрядно простуженными и обмороженными. В дневнике это представлено как рискованное и вполне благополучное путешествие задорных парней, которое высоко оценили даже аляскинские старожилы, высыпавшие на берег наблюдать за картиной ледостава.

В цикле рассматриваемых рассказов много

обстоит и видится совершенно по-другому. Да, Кристофер (Крит) Беллью, затем получивший многозначительное прозвище Смок, двадцатисемилетний, но не знающий практической жизни молодой человек, решил, поддавшись агитации (а скорее не выдержав упреков и насмешек собственного видавшего виды дяди Джона), попробовать себя на Аляске, испытать свой характер и одновременно сбежать из хлопотной газетки, где он работал на «общественных началах», набивая карман своему приятелю. В таком повествовании явно ощутим педагогический (воспитательный) уклон.

Ко времени написания цикла Лондон уже сложившийся социолог социалистического толка, потому он обнажает (пусть и не всегда последовательно) острейшие социальные противоречия между самими старателями и проводит своего героя через более тяжелые испытания, чем тот поначалу предполагал пройти.

Следует отметить, что в цикле о Смоке Беллью впечатляет собирательный образ американской толпы. Она — то достаточно наглая и нахрапистая, то хитрая и коварная, то почти обезумевшая от несчастий, свалившихся на ее голову, — жалкая и беспомощная. «Золотая лихорадка» кажется

на фоне такого изображения соотечественников Д. Лондона еще очень мягким определением. Через изображение толпы писатель стремится дать как бы общее представление о пестром и своеобразном американском национальном характере, складывающимся как бы на глазах под влиянием не только и благополучия и просвещения, но и под воздействием нелепых слухов, стремления к наживе, животных страстей и каких-либо интуитивных, подсознательных факторов.

Индейцам здесь уделяется гораздо меньше места, хотя они присутствуют и как фон повествования, и как отдельные личности, и как голодная орава, способная на все.

Наибольшую ценность для художника, как и прежде, имеют веселые душевные люди, попадающие в самые нелепые и опасные ситуации, но не теряющие своего человеческого облика, полные задора, стремления все увидеть, все испытать, через все пройти, сохраняя в целостности и сохранности свой неисчерпаемый оптимизм и свое неизменное искрометное чувство юмора. Лондон как бы создавал новые типы смелых молодых людей, своего рода образцы для подражания в литературе XX века.

Американский образ жизни приучил граждан

присматриваться к окружающим их вещам с единственной целью — улучшить не столько систему, сколько свое материальное положение. И Смок приобрел в окрестностях Доусона завидную популярность, которая затем ему очень пригодилась. Это тоже типичная особенность американского характера…

В рассказах раскрывается психология американского воинствующего предпринимателя, а в целом так называемый пресловутый американский характер. Чтобы получить представление о таком характере, надо знать законы, по каким разрешается поступать здесь людям, по каким — нет. Это своеобразное, нередко весьма остроумное, пособие по страноведению — от Джека Лондона.

В цикле «Смок и Малыш» воссоздается страсть американского обывателя к наживе. Помешательство на деньгах захватывает и духовную часть американского общества. Обычные грешные и непритязательные люди — такие как Малыш — оказываются от природы добрее, честнее, привлекательнее, чем всяческие экзотические святоши. И религия, и медицина, и наука давно превратились в способ частного обогащения узкого круга «посвященных», делающих деньги

на наивности своих ближних и дальних.

Любопытна история жизни типичного американца, которую писатель излагает в одном из рассказов, чтобы заострить восприятие остальных событий и приключений из жизни основных героев.

Мужание самого Смока связано не только с его собственным характером, он, разбогатев на Клондайке, пытается заниматься и благотворительной деятельностью, спасая от голодной смерти целое племя индейцев. Кстати, эти голодные индейцы, напавшие на наших героев и готовые съесть живьем и их самих, и ездовых собак, изображены весьма убедительно. Эти групповые, коллективные сцены у писателя выполнены на уровне высокого мастерства. Они в форме группового, корпоративного портрета как бы раскрывают подноготную Клондайка и связаны с противоречивой поступью американской цивилизации.

Счастливая и грустная история, описанная в «Тайне женской души», история любви и самопожертвования органично вписывается в общее повествование благодаря достаточно плодотворному художественному приему, позволяющему держать читателя на крючке интереса к сюжету.

Небольшой цикл рассказов и повестей писателя под названием «Красное божество» вышел в свет в 1918 году после ухода автора из жизни. Центральным, а в других изданиях и титульным его произведением является небольшая повесть «Принцесса». Здесь речь идет о персонажах, «бывших когда-то людьми».

В повествовании эксплуатируется потребность постаревшего или опустившегося до предела человека вспомнить о своей прошлой — благополучной, цивилизованной — жизни и особенно о прекрасной женщине, любившей его до беспамятства. Неплохо, чтобы эта женщина была еще и знатной леди, а лучше всего принцессой. Принцесса в рассказах «толкучки»-воплощение всех добродетелей и символ красивой жизни. Таких рассказов писатель наслушался в полную меру, то путешествуя со своей «толкучкой» по товарным вагонам-холодильникам как хобо, то направляясь с «армией Келли» как борец за социальную справедливость на Вашингтон.

Условий для такого «толкучечного» жанра рассказа в непритязательном обществе собственно два: рассказ должен быть занимательным и в меру возможностей достоверным.

Сборник посмертных произведений Джека

Лондона, составленный уже его друзьями-издателями, вышел после ухода писателя из жизни и назывался «Красное божество». Это рассказ, насыщенный той же южной экзотикой, картиной непролазных и вечно гниющих джунглей Меланезии (часть островов Полинезийского архипелага), а также совершенно примитивными дикарями, не знающими ружья и пороха, но охотящимися за человеческими головами и живущими по законам джунглей. Однако в этом повествовании немало необычного.

Здесь представлен редкий для писателя тип ученого биолога Бэссета, который охотится за самой большой в мире бабочкой (размах ее крыльев до 33 сантиметров), бабочкой, которую можно сбить только из ружья. Но из ружья приходится отбивать нападение людоедов — охотников за головами из дикого племени…

Сборник тематически разнообразен, и в еще одном из рассказов писатель возвращается к излюбленной Клондайской эпопее. Речь идет об известном уже событии — покорении самим писателем в конце 1897 года Чилкутского перевала, порогов Белой лошади и озера Линдерман. Но событие это поднято как бы на новую художественную высоту. Основным героем его является

пионер калифорнийской еще лихорадки 1849 года семидесятилетний дедушка Джон Таруотер, нажившийся тогда в этом южном крае и основавший селение и тракт собственного имени. Но к этому времени проходимцы-крючкотворы отняли все его богатство. И старик, несмотря на все свои «ревматизмы» и другие болячки, по существу без гроша в кармане отправляется на Аляску. Никто из его родных, ни сын, ни дочь не верят в успех такого предприятия, считая его обычной старческой блажью и уж никак не субсидируя эту выходку отца семейства… Сюжет как будто читателю уже известен. Чтобы восстановить и свое состояние и доброе имя, Таруотер направляется в Доусон в 1897 году. По пути он примыкает к молодежной компании и немало ей помогает и в работе, и в устройстве быта. Развлекает всех и своей песней полувековой давности — «Как аргонавты в старину, спешим мы, бросив дом».

Но старатели здесь попроще, чем друзья Джека, никакими высокими материями они не увлечены и по своему развитию — на порядок ниже.

В целом этот цикл рассказов Джека Лондона интересен синтезом северной и южной экзотики. Писатель тут более социален и психологичен. Окружающий мир предстает у него во внут-

ренних противоречиях как бы однотипных персонажей. Хороши эти рассказы еще и тем, что здесь немало и приключений, и фантазии научно-мистического свойства. Во многих случаях Джек Лондон предлагал интереснейшие проблемы, пытался как художник разрешить многие загадки, волнующие человечество и поныне.